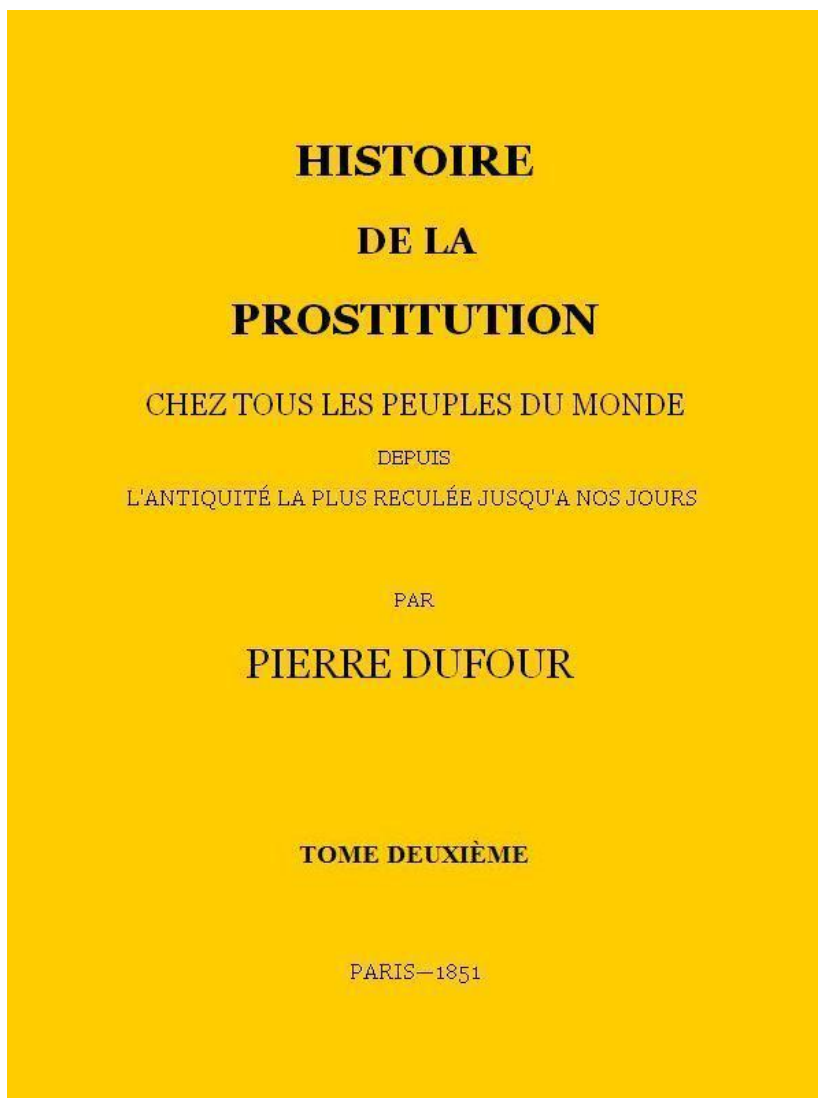


# История проституции у всех народов мира с самой отдаленной древности до наших дней, том 2/6

П. Л. Жакоб



# The Project Gutenberg eBook of Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 2/6

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в Соединенных Штатах и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или использовать повторно в соответствии с условиями Лицензии проекта "Гутенберг", прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте [www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

**Название:** Histoire de la prostitution chez tous les peuples du monde depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'à nos jours, tome 2/6

**Автор:** П. Л. Жакоб

**Дата выхода:** 13 сентября 2013 [eBook #43712]

Последнее обновление: 23 октября 2024 г.

**Язык:** Французский

**Аккредитация:** Подготовлено Лораном Вогелем, Бибимбопом, Ги де Монпелье и группой распределенной онлайн-корректур по адресу <http://www.pgdp.net> (Эта книга была подготовлена на основе отсканированных изображений материалов, находящихся в общественном достоянии, из проекта Google Print проекта Google Print).

\*\*\* НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK HISTOIRE DE LA PROSTITUTION CHEZ TOUS LES PEUPLES DU MONDE DEPUIS L'ANTIQUITÉ LA PLUS RECUÉE JUSQU'À NOS JOURS, TOME 2/6 \*\*\*

Примечание к транскрипции:

Ошибки, явно допущенные типографом, исправлены. [Более подробное примечание](#) приведено в конце книги.

Данный текст содержит некоторые греческие слова и выражения, такие как φαῦδαίνα. Если они отображаются неправильно, проверьте набор символов, используемый для отображения. В качестве альтернативы проведите мышью по тексту, и на экране появится транслитерация латинскими буквами.

Оглавление можно найти [здесь](#).

ИСТОРИЯ ПРОСТИТУЦИИ У ВСЕХ НАРОДОВ МИРА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН И ДО НАШИХ ДНЕЙ, АВТОР: ПЬЕР ДЮФУР,

Член нескольких французских и иностранных академий и научных обществ.

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

20 прекрасных гравюр на стали, выполненных самыми выдающимися художниками.

ВТОРОЙ ТОЛСТЫЙ



ПАРИЖ, 1851.

СЕРЭ, ИЗДАТЕЛЬ, 5, УЛИЦА ПОН-ДЕ-ЛОДИ;

И МАТИНОН, УЛИЦА КОК-СЕНТ-ОНОРЕ, 4.

ТИПОГРАФИЯ PLON FRÈRES,

RUE DE VAUGIRARD, 36, A PARIS.

## ИСТОРИЯ ПРОСТИТУЦИИ

ИСТОРИЯ ПРОСТИТУЦИИ У ВСЕХ НАРОДОВ МИРА С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ, АВТОР: ПЬЕР ДЮФУР,

Член нескольких французских и иностранных академий и научных обществ.

ТОМ DEUXIÈME.

---

ПАРИЖ-1851

SERÉ, ÉDITEUR, 5, RUE DU PONT-DE-LODI,

ЕТ

P. MARTINON, RUE DU COQ-SAINT-HONORÉ.

ИСТОРИЯ

САЙТА

ПРОСТИТУЦИИ.

## ГЛАВА XVII.

Резюме - Места проституции в Риме - Их различные категории - Сорок шесть лупанаров общественного пользования - Восемьдесят бань первой области - *Малый женский сенат*, основанный Гелиогабалом - Лупанары Эсквилинской области, области большого цирка и области храма Мира - Субурра - Сводчатые *камеры* большого цирка - *Сто камер* порта Мисены.-Описание лупанара.-Кельи проститутки.-Вывеска.-Оборудование комнат.-Общественные картины.-Внутреннее убранство камер.-Лупанары богачей.-Происхождение слова "блуд".-*Стабулы* или лупанары последнего порядка -*Пергулы* или балконы - *Туртуриллы* или голубятни -*Казауриум* или внемуравейный лупанар -Происхождение слова *казауриум* -*Скрупеды* или каменистые лупанары.-*Meritoria* и *Meritorii* -*Ganeæ* или подземные таверны -Происхождение слова *lustrum* -Посох лупанара -*Leno* и *lena* -*Ancillæ ornatrices* - *Aquarii* или *aquarioli* -*Bacario* -*Villicus*.*Adductores, conductores* и *admissarii* -Costume of the *meretrices* in the lupanars -Festivals held in the lupanars on the occasion of girls become prostitutes for the first time, and on the opening of a new lupanar.-Домицианский закон, касающийся кастрации; -*Кастраты*, *спадоны* и *тлибии*; -Мессалина в лупанаре; -Цена девственности Тарсии и текущая цена ее услуг; -Таблица римского лупанара, составленная Петронием; -Заработная плата лупанара; -Диссертация о знаке Тарсии; -Цена аренды камеры; -*Квадрантарии* и *диоболары*.

Места проституции в Риме были и должны были быть столь же многочисленны, как и сами проститутки; они также имели множество разновидностей, которые обычно обозначались их названиями, так же как и названия публичных девушек характеризовали различные виды их торговли. Как мы уже говорили, существовали две основные категории девушек, оседлые и бродячие, дневные и ночные; существовали также два основных типа публичных домов, предназначенных исключительно для занятия легальной проституцией, так называемые лупанарии, и те, которые под разными предлогами давали приют разврату и предлагали ему, так сказать, средства скрыться, такие как кабаре, таверны, бани и т. д. Понятно, что эти заведения, всегда находившиеся под подозрением, были наиболее распространенным типом публичных домов. Понятно, что эти заведения, всегда подозрительные и пользующиеся дурной славой, не поддерживались на одном уровне и получали от проституток, которые проскальзывали туда тайком или бесстыдно, особую внешность, местную физиономию, более или менее живую, более или менее непристойную жизнь.

Публий Виктор в своей книге "Места и районы Рима" сообщает о существовании сорока шести лупанариев, но говорит лишь о самых важных, которые можно было считать общественно полезными и которые находились под непосредственным контролем советников. Небольшое количество борделей трудно объяснить иначе, чем сравнением их с большим количеством меринок. Секст Руф в своем списке областей Рима не перечисляет лупанарии, которые там находились, но подразумевает, что они были, считая восемьдесят бань в первой области, известной как *Porta Capena*, в дополнение к баням Коммода, баням Севера и нескольким баням, которые он называет по именам их основателей или владельцев. Более того, он упоминает по имени только один лупанар, созданный Гелиогабалом в шестой области, под дерзким названием *малый женский сенат* (*senatulum mulierum*). У латинских авторов нет ни одного полного описания лупанара, но его можно легко составить, с самой скрупулезной точностью, из пяти или шести сотен отрывков поэтов, которые безоглядно ведут своих читателей в эти места, которые, несомненно, считаются им знакомыми. Следует помнить, что хотя внутреннее устройство борделей было более или менее одинаковым во всех из них, их обстановка различалась в зависимости от района, в котором они находились. Так, самыми грязными и многолюдными были, конечно, пятый район, известный как Эсквилин, и одиннадцатый район, известный как Большой цирк; самыми элегантными и наиболее подходящими - четвертый район, известный как Храм Мира, в котором находились районы Любви и Венеры. Что касается Субурры, расположенной во втором районе, известном как гора Келий, то она была окружена большим рынком (*macellum magnum*) и казармами иностранных войск (*castra peregrina*), множеством домов проституции (*lupariæ*), как называет их Секст Руф в своей номенклатуре, и еще большим количеством кабаре, трактиров, цирюлен (*tabernæ*) и пекарен. Другие районы города не были избавлены от бедствий лупариев, поскольку в них тоже были пекари, цирюльники и трактирщики; но эти дурные места всегда были редкими и редко посещаемыми: городские советники, кроме того, старались держать их как можно дальше от центра города, тем более что обычная клиентура этих заведений жила в пригородах и плебейских районах. С незапамятных времен бордели группировались вокруг театров, цирков, рынков и лагерей, чтобы собрать побольше денег со страстей и кошельков людей.

Большой цирк, похоже, был окружен сводчатыми камерами (*cellæ et fornices*), которые служили только проституции для использования низшими классами до, во время и после игр; но эти приюты разврата, аккредитованные по обычаю, не должны быть включены в категорию лупанаров, регулируемых эдильской полицией. Пруденций, рассказывая о

мученической кончине святой Агнессы, утверждает, что большие своды и портики, еще существовавшие в его время возле большого цирка, были отданы под публичные занятия развратом; а Панвиний в своем трактате о цирковых *играх* делает из этого отрывка вывод, что все цирки также имели бордели в качестве неперменных приложений. Мы знаем, что меркантильные женщины, присутствовавшие на цирковых торжествах и театральных представлениях, покидали свои места так часто, как их звали, чтобы удовлетворить желания, которые множились и разгорались вокруг них. Ученый иезуит Буленгер в своем трактате о *цирке* без колебаний заявляет, что проституция имела место в цирке, в самом театре, и цитирует строки старого латинского поэта в честь известной куртизанки в большом цирке: *Deliciæ populi, magno notissima Circo Quintilia*. На самом деле под трибунами, занятыми народом, находились своды, образующие темные укрытия, благоприятные для народной проституции, которая не нуждалась в стольких изысках. Почти оправданно было бы придать такое же назначение руинам огромного подземного сооружения, которое до сих пор можно увидеть возле древнего порта Мизен и которое до сих пор называется *Сотней камер* (*centum cameræ*). Вероятно, это необычное сооружение, назначение которого до сих пор остается неизвестным и непонятным, было не чем иным, как огромным борделем, приспособленным для нужд экипажей римского флота.

Но лупанары, отнюдь не построенные в таких гигантских масштабах, обычно содержали лишь ограниченное число очень узких камер без окон, не имевших другого выхода, кроме двери, которая часто закрывалась лишь занавеской. План одного из домов в Помпеях дает очень точное представление о том, что представлял собой лупанар, с точки зрения расположения камер, которые, несомненно, выходили на портик и внутренний двор, как в тех домах, где спальни (*cubiculi*), которые обычно были очень тесными и едва вмещали достаточно места для кровати, освещались только дверью, через которую не могли пройти два человека одновременно. В лупанарах комнаты были только многочисленнее и располагались ближе друг к другу. Днем, когда заведение было закрыто, вывеска не требовалась, и это была лишь ненужная роскошь, когда хозяин заведения рисовал на стене непристойный атрибут Приапе: фигура висела у входа в посвященную ему каморку. Вечером, начиная с девятого часа, огненный горшок или большая лампа в форме фаллоса служили маяком для развратников, которые смелым шагом направлялись туда или иногда попадали туда по воле случая. Девушки выходили на свой пост перед открытием дома; у каждой была своя обычная камера, а перед дверью этой камеры - табличка, на которой было написано вымышленное имя (*meretricium nomen*), которое куртизанка носила по привычке своего ремесла. Часто под именем указывалась стоимость входа в камеру, чтобы избежать жалоб с обеих сторон. Когда камера была занята, табличка переворачивалась и гласила: OCCUPATA. Когда в камере не было обитателя, на языке этого места говорили: "голая" (*nuda*). Плавт в своей "Асинарии" и Марциал в своих эпиграммах сохранили для нас эти подробности нравов. "Пусть пишет на своей двери", - говорит Плавт, - "я занят". Это доказывает, что при определенных обстоятельствах надпись рисовалась мелом или углем самой куртизанкой. "Нескромная Лена, - говорит Марциал, - закрывает келью, оголенную от любовников" (*obscena nudam lena fornicem clausit*). Отрывок Сенеки, неверно истолкованный, привел к убеждению, что в некоторых борделях меркантильные женщины, стоявшие за дверью, носили знак на шее и даже прикрепляли его ко лбу; но эту фразу лучше понимать так: *Nomen tuum perpendit in fronte; stetisti cum meretricibus*, видя этот знак висющим перед дверью (*in fronte*), тогда как девушки оставались сидеть рядом с ней.

Комнаты были обставлены более или менее одинаково, разница заключалась лишь в степени чистоты мебели и картин на стенах. Эти картины, выполненные темперой и яичной краской, изображали в виде рисунков или орнаментов сюжеты, наиболее соответствующие обычному использованию помещений: в лупанарах простолюдинов это были грубые сцены проституции, в лупанарах более высокого класса - эротические образы, взятые из мифологии, аллегории на культ Венеры, Купидона, Приапа и богов-маяков разврата. Фаллос снова и снова представал в самых шутовских формах; он становился то птицей, то рыбой, то насекомым; он гнезился в корзинах с фруктами; он преследовал нимф под водой и голубей в воздухе; он обвивал себя гирляндами, он заплетал себя в короны: Воображение художника, казалось, играло с непристойным знаком Проституции, как бы преувеличивая его непристойность; но примечательно то, что на этих картинах, так хорошо подходящих к месту, которое они занимали, мы никогда не видели женский орган в изоляции, как будто это было молчаливое соглашение уважать его в том самом месте, где он был наиболее презренным. Более того, те же сцены, те же образы часто встречались в расписных украшениях супружеских спален: скромность глаз больше не существовала у римлян, которые почти обожествляли наготу. Внутреннее убранство лупанарных келий не отличалось ни свежестью, ни яркостью: дым от ламп и тысячи безымянных пятен уродовали стены, на которых то тут, то там виднелись стигматы их неизвестных гостей. Что касается обстановки, то она состояла из циновки, одеяла и лампы. Циновка, обычно грубо сплетенная из камыша или тростника, часто была растрепана, всегда изношена и сплющена; в некоторых домах ее заменяли подушки и даже маленькая деревянная кровать (*pulvinar, cubiculum, pavimentum*); покрывало, ужасно испачканное, было не более чем жалким собранием кусков разных тканей, которое по этой причине называлось *cento* или *patching*. Лампа, сделанная из меди или бронзы, излучала нерешительный свет через атмосферу, наполненную вредными миазмами, которые не позволяли маслу гореть, а пламени подниматься выше дымного ореола. Эта убогая мебель была специально подобрана так, чтобы никому не пришло в голову ее присвоить: в этих местах нечего было красть.

Однако из самих названий публичных домов можно сделать вывод, что не все они посещались мерзким сбродом и, следовательно, имели заметные различия во внутреннем укладе. В самых благоустроенных борделях фонтан и бассейн украшали квадратный двор, *impluvium*, вокруг которого располагались камеры или комнаты, *cellæ*; в других местах эти комнаты назывались *sellæ*, сиденья, поскольку были слишком малы, чтобы вместить кровать. Но в лупанарах, предназначенных исключительно для плебеев и представлявших собой не что иное, как погреба или подземные туннели, каждая камера, будучи сводчатой, называлась *fornix*; именно от этого слова, которое вскоре стало синонимом *lupanar*, было отчеканено слово *fornication*, чтобы выразить то, что происходило в темноте *fornices*. Зловоние этих хранилищ было пресловутым, и те, кто входил в них, долгое время несли с собой этот тошнотворный запах, в котором ощущались не только дым и масло: *Olenti in fornice*, говорил Гораций, *redolet adhuc fuliginum fornicis*, говорил Сенека. Были и лупанары последнего порядка, которые назывались *stabula*, потому что посетителей принимали там в беспорядке на соломе, как в хлеву. *Пергулы* или балконы получили свое прозвище из-за того, как они были построены: здесь открытая галерея проходила по всей длине первого этажа и выходила на общественную улицу; девушек выставляли на этом подобии эшафота, а леноны или лены стояли у двери внизу; там, напротив, леноны или лены занимали высокое окно и смотрели вниз на свое стадо мальчиков или девочек. Иногда *пергула* была не более чем маленьким, низким домиком с навесом, под которым сидели жертвы обоих полов. Когда над *лупанаром* возвышалось нечто вроде башни или пирамиды, на вершине которой вечером зажигали фонарь, его называли *туртурильей* или голубятней, потому что там гнездились горлицы или голуби; святой Исидор Севильский, говоря об этих гнездах, позволяет себе

довольно нестандартную игру слов: *Ita dictus locus, quo corruptelæ fiebant, quod ibi turturi opera daretur, id est peni*. *Казаурум* - это внегородской бордель, простая хижина, крытая соломой или тростником, служившая пристанищем для бродячих девиц, нарушавших приказ мэра. Слово *casaurium* в устах народа, казалось бы, произошло не далее как от *casa*, соломенного домика, хижины или лачуги; но ученые нашли в этом слове греческую этимологию *касса* или *касаура*, что означало *meretrix*: *касаура* вполне естественно превратилось в *casaurium*. Именно в этих лачугах иногда укрывались *scrupedæ* (*каменистые женщины*), которых Проституция обычно прятала среди камней и обломков.

Лупанары также имели общие названия, которые относились ко всем без исключения: "*Меритория*, - говорит святой Исидор Севильский, - это тайные места, где совершаются прелюбодеяния". Особенно это касалось тех, кто занимался проституцией мужчин, детей, *meritorii*. "*Ganeæ*", - говорит Донатий, - "это подземные таверны, где совершается разврат, название которых происходит от греческого γας, земля"; "*Ganei*", - говорит иезуит Буленгер, - "это магазины проституции, названные так по аналогии с γανος, сладострастие, и γυνή, женщина". Выражение *de lustrum* часто использовалось в значении *lupanar*, и то, что сначала было не более чем игрой слов, стало обычным выражением, в котором не было никакого злого умысла. *Lustrum* означало одновременно и *изгнание*, и *дикий лес*. Первые блуждания проституток происходили в густой тени лесов, и с тех пор, как бы в искупление этих диких звериных походов, проститутки платили искупительный *люстральный* налог: отсюда и происхождение слова *lustrum* от *lupanar*. "Те, кто в уединенных и постыдных местах предаются порокам обжорства и безделья, - говорит Фест, - заслуживают обвинения в том, что живут как звери (*in lustris vitam agere*)". Поэт Луцилий дает нам еще лучшее понимание истинного смысла этого выражения в следующем стихе: "Какое дело вам просить милостыню у стен в неположенных местах? (*in lustris circum oppida lustrans*)". Название *desidiabula* справедливо применялось к лупанарам, чтобы обозначить безделье их несчастных обитателей. Если в проститутском заведении были одни женщины, его называли *женским сенатом*, *примирительным сенатом*, *судом меркантильных женщин* (*senatus mulierum, conciliabulum, meretricia curia*, etc.); и в зависимости от того, в хорошем или плохом свете воспринимались эти названия, добавляемые к ним эпитеты дополняли их смысл; Плавтус также называет одно из этих позорных мест *примирительным сенатом несчастья*. Когда какая-нибудь Венера, если использовать наиболее приличный латинский термин, находила удовлетворение в этих притонах, их высокопарно называли *собранием всех удовольствий* (*libidinum consistorium*).

Персонал борделя варьировался так же, как и его клиентура. Иногда *лено* или *лена* имел в своем заведении только рабов, купленных на собственные деньги и обученных его урокам; иногда этот человек был только владельцем помещения и служил лишь посредником для своих клиентов, которые отдавали ему часть прибыли от каждой ночи; Здесь хозяин или хозяйка дома заботились обо всем, готовили знаки, обсуждали рынки, приносили воду или прохладительные напитки, стояли часовыми и охраняли *занятые* камеры; там эти спекулянты не желали вмешиваться в эти мелкие детали: У них были слуги и рабы, у каждого из которых была своя особая работа; *ancillæ ornatrices* следили за туалетом подданных, исправляли любые повреждения и начищали их лица; *aquarii* или *aquarioli* раздавали освежающие напитки, ледяную воду, вино и уксус развратникам, жаловавшимся на жару или усталость; *Бакарио* - маленький раб, который мыл и подносил воду в вазе (*бакаре*) с длинным горлышком; наконец, *вилликус* или фермер отвечал за обсуждение цен с клиентами и получение денег, прежде чем перевернуть табличку в камере. Кроме того, к заведению прикреплялись мужчины и женщины, которые выполняли *lenocinium* на основе субзаказа; обходили лупанар, набирая клиентов; зазывали, привлекали и соблазняли молодых и старых

распутниц: отсюда их названия *adductores*, *conductores* и, прежде всего, *admissarii*. Эти эмиссары проституции получили свое название от того, что они всегда были готовы, если нужно, сменить роль и заняться проституцией, если представится возможность подстрекать к разврату от своего имени. Более того, на языке римских скотоводов и фермеров *admissarius* - это просто, довольно наивно, жеребец, бык, которого подводили к корове или кобыле. Цицерон в своей речи против Пизона приводит доказательства мономании этих охотников за людьми и искателей удовольствий: "Так вот, этот адмиссарий, как только услышал, что этот философ произнес великую хвалу сладострастию, почувствовал себя взволнованным, и он стимулировал все свои сладострастные инстинкты при мысли, что нашел не мастера добродетели, а пройдоху распутства".

Костюм *меринок* в лупанарах отличался только прической, которая состояла из белокурого парика, ибо куртизанка этим доказывала, что не претендует на звание матроны: все римские женщины имели черные волосы, что свидетельствовало об их *бесхитростном* происхождении. Этот белокурый парик, сделанный из крашеных золотистых волос или гривы, был, по-видимому, важнейшей частью полной маскировки, которую куртизанка надевала по пути в бордель, куда она входила только под псевдонимом или вымышленным именем. Кроме того, в других отношениях она должна была избегать любого сходства с честными женщинами; например, она не могла носить банделет (*vitta*) - широкую ленту, которой матроны подвязывали волосы; она не могла носить палантин - длинную тунику до пят, предназначенную исключительно для матрон: "*Матронами*, - говорит Фест, - называли тех, кто имел право иметь палантин". Но предписания эдила относительно одежды куртизанок не распространялись на одежду, которую они носили в борделях. Так, в большинстве своем они были обнажены, абсолютно голые или прикрытые прозрачной шелковой вуалью, под которой не скрывалась их нагота, но всегда в белокуром парике, украшенном золотыми шпильками или увенчанном цветами. Они не только ждали обнаженными в своих кельях или ходили под портиком (*nudasque meretrices furtim conspatiantes*, говорит Петроний), но и у входа в публичный дом, на улице, под взглядами прохожих: Ювенал в своей XI<sup>th</sup> сатире показывает нам позорного гитона на пороге его зловонного логова (*nudum olido stans fornice*). Часто, подобно проституткам Иерусалима и Вавилона, они скрывали свои лица, оставляя остальные части тела неприкрытыми, или прикрывали золотой тканью только грудь (*tunc nuda papillis prostitit auratis*, говорит Ювенал). Поэтому любителям (*amatores*) оставалось только выбирать в соответствии со своими вкусами. Кроме того, это место тускло освещалось огненным горшком или лампой, горевшей у двери, и самый проницательный глаз мог различить в луче света лишь неподвижные формы и сладострастные позы. Внутри кельи можно было увидеть не больше, хотя предметы находились в непосредственной близости от глаз, "и иногда, когда лампа гасла из-за недостатка воздуха или масла, человек даже не знал, - говорит один поэт, - имеет ли он дело с Каниди или ее прародительницей".

Когда несчастная женщина, когда бедный ребенок впервые приносили себя в жертву, в борделе устраивался праздник; к двери прикреплялся фонарь, бросавший необычный свет на окрестности этого дурного места; вокруг фронтона ужасного святилища возлагались лавровые ветви: Эти лавры в течение нескольких дней возмущали общественную скромность; а иногда, когда жертва была завершена, виновник этого гнусного деяния, за которое он заплатил большую цену, сам покидал бордель, увенчанный лаврами. Этот нечистый враг девственности воображал, что одержал великую победу, и праздновал ее, играя на инструментах, которые также принадлежали посоху разврата. Подобная практика, терпимая городским советником, была тем более кровавой для нравственности, что молодожены придерживались подобного обычая, особенно среди простого народа, и также

украшали двери своих домов лавровыми ветвями на следующий день после свадьбы. *Ornentur*, - говорит Ювенал, - *postes et grandi janua lauro*". Тертуллиан также говорит, говоря о новобрачной: "Пусть она осмелится выйти из этой двери, украшенной гирляндами и фонарями, как из новой консистории публичного разврата". Можно также сказать, что основание и открытие нового борделя послужило поводом для такой демонстрации лавров и иллюминации. Читая Марциала, Катулла и Петрония, с грустью и ужасом приходится признать, что проституция детей мужского пола в борделях Рима была более частой, чем женская. Именно Домициан имел честь защищать эту отвратительную проституцию, и если закон, изданный им для ее предотвращения, не соблюдался неукоснительно, мы должны верить, что он остановил пугающий прогресс этих чудовищ. Марциал обратился к императору с таким панегириком, который позволяет нам восполнить молчание историков о законе Домициана, касающемся борделей: "Юноша, изувеченный в прошлом позорным искусством жадного работорговца, молодой юноша больше не оплакивает потерю своей мужественности, а обездоленная мать больше не продает своего сына, предназначенного для проституции, богатому свату. Скрамность, которая до тебя покидала супружеское ложе, стала проникать даже в глубины разврата". Таким образом, при Домициане детей перестали кастрировать, поскольку таким образом их превращали в женщин для использования в проституции, а Нерва подтвердил эдикт своего предшественника; Но кастрация продолжала практиковаться за пределами Римской империи или, по крайней мере, за пределами Рима, и работорговцы постоянно приносили на общественный рынок мальчиков, изуродованных различными способами, которые римская юриспруденция объявляла вне закона, разрешая жрецам Кибелы делать евнухов, а хозяевам - лишать, хотя бы частично, мужественности своих рабов. Таким образом, существовало три типа евнухов, и все они использовались для разврата: *кастраты* - те, кто не сохранил ничего от своего пола; *спадоны* - те, кто имел лишь признаки импотенции; и *тлибии* - те, кто вместо режущей кромки стали страдал от сжатия жестокой руки.

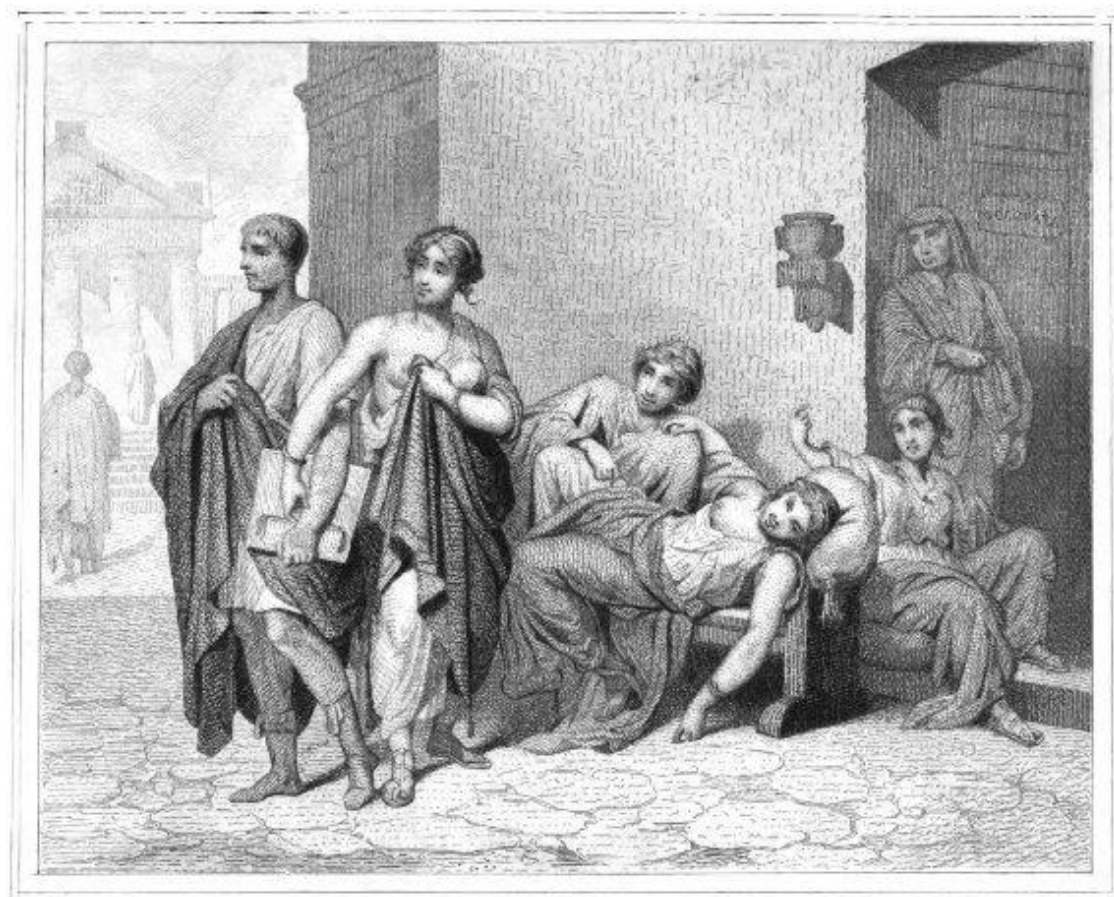
Латинские писатели дают всего три описания внутреннего убранства борделя и того, что там происходило. Одно из этих описаний, самое известное, вводит нас вместе с Мессалиной в непристойный бордель, где она занималась проституцией с грузчиками Рима: "Как только она подумала, что император спит, - повествует Ювенал в своей восхитительной поэзии, которую проза не в состоянии передать, - августейшая куртизанка, осмелившаяся предпочесть ложе проститутки ложу цезарей, и надела ночное платье, предназначенное для путешествия туда, поднялась в сопровождении единственной служанки. Спрятав свои черные волосы под белокурым париком, она вошла в популярный бордель, раздвинув его заплатанную занавеску; она заняла принадлежащую ей келью; обнаженная, с золотой вуалью на горле, под вымышленным именем Лисиска, начертанным на двери, она распахнула чрево, родившее тебя, благородный Британник! Она ласково приветствует всех входящих и просит у них жалованья; затем, лежа на спине, поддерживает усилия многих нападающих. Наконец, когда ленон отпускает своих дочерей, она выходит печальная, а ведь она только в последний раз закрыла свою келью; она все еще горит желаниями, которые она только раздражала, и, устав от мужчин, но не насытившись, она уходит с испачканным лицом, с потухшими глазами, почерневшими от дыма лампы; она несет в императорскую опочивальню запах борделя". Гордое негодование поэта просвечивает в этой картине и почти сводит на нет ее непристойность. После Ювенала очень низко пасть, если процитировать простого комментатора Симфозиана, написавшего по "*Истории Аполлония Тирского*" этот греческий роман, полный басен, который приняла и популяризировала вся литература Средневековья: "Юная девушка распростерлась у ног ленона, говорит Симфозиан; она кричит: Сжался над моей девственностью и не проституируй мое тело, опозорив меня позорным знаком! Ленон позвал земледельца дочерей и сказал ему: "Пусть

придет служанка, украсит ее , и пусть на табличке будет написано: "Кто обесчестит Тарсию, заплатит полфунта серебра (около 150 франков в нашей валюте); затем она будет отдана любому за одну золотую монету (20 франков)". Этот отрывок был бы еще более ценным для истории римских нравов, если бы мы были более уверены в точном значении слов *mediam libram* и *singulos solidos*, которые устанавливают, с одной стороны, особую цену девственности, а с другой - общую плату за проституцию.

Петроний в своем "Сатириконе" оставил нам слишком любопытный и слишком важный фрагмент, чтобы мы не процитировали его дословно: это изображение римского борделя: "Усталый от бега и весь в поту, я подошел к маленькой старушке, продававшей грубые овощи: "Скажи мне, мать, - сказал я, - разве ты не знаешь, где я живу?". Очарованная такой наивной вежливостью, она ответила: "А почему бы мне не знать? Она встала и начала ходить передо мной. Я подумал, что она прорицательница; но вскоре, когда мы пришли в очень уединенное место, эта добрая старушка задернула плотный занавес: "Вот оно, - сказала она, - где вы должны жить (*hic, inquit, debes habitare*)". Поскольку я утверждал, что не знаю этого дома, я видел людей, проходящих между обнаженными портнихами и их вывесками. Поздно, даже слишком поздно, я понял, что меня привели в место, где занимаются проституцией. Ненавидя ловушки этой проклятой старухи, я накрыла голову платьем и стала бежать посреди борделя к противоположному выходу (*ad alteram partem*)". Эта последняя строка истории служит доказательством того, что бордель обычно имел два выхода: один, через который входили, другой, через который выходили, несомненно, на двух разных улицах, чтобы лучше скрыть привычки тех, кто туда ходил. Из этого можно сделать вывод, что для уважаемого человека было позором посещать такие места, несмотря на терпимость римских обычаев в этом отношении. Более того, согласно различным авторитетам, подтверждающим свидетельство Петрония, никто не входил и не выходил из лупанара, не покрыв голову и не спрятав лицо; некоторые носили для этой цели кукуль или чепец, надвинутый на глаза; другие заворачивали голову в платье или плащ. Сенека в "*Счастливой жизни*" рассказывает о распутнике, который посещал неподобающие места не робко, не тайно, а даже открыто (*inoperto capite*). Капитолин в "*Истории Августа*" также показывает нам развратного императора, посещающего таверны и бордели по ночам, его голова покрыта вульгарным кукулью (*obtecto capite cucullo vulgari*).

Что касается оплаты труда в борделях, то она не была фиксированной, поскольку у каждой девушки была табличка с ее именем и ценой. Приведенный выше отрывок из Симфозиана ввел комментаторов в заблуждение, поскольку они пытались оценить, каждый по-своему, тариф, установленный Леноном за соращение Тарсии, и текущую цену ее услуг; ведь ученые не пришли к единому мнению относительно стоимости фунта и пенни в античности. Симфосиан, кроме того, не говорит, был ли это фунт золота или фунт серебра. В первом случае было подсчитано, что полфунта, запрошенные на знаке Тарсии, как девы, составляли 433 фр. нашей нынешней валюты; это было бы только 37 фр. 64 к., если бы Ленон хотел говорить о полуфунте серебра. Мы произвели другие расчеты и пришли к иному результату. По нашим расчетам, цена предварительного одурманивания (*primæ aggressionis pretium*, как говорят ученые) должна была составлять 150 франков; что же касается цены последующих одурманиваний, то ученый Пьерруж устанавливает ее в 11 франков 42 ц. за золотой пенни и 78 ц. за серебряный пенни. В наших расчетах мы нашли, что они составляют 20 фр. Более того, в этом жаловании не было ничего единообразного, и поскольку оно никогда не подвергалось административному контролю, оно варьировалось в зависимости от заслуг и репутации человека, чье имя значилось на табличке. Однако у Петрония есть точная деталь, которая дает нам представление о стоимости аренды камеры в борделе: "Когда я бродил, - рассказывает Аскилит, - по всему городу, не находя места, где оставил свое жилье, ко мне

подошел один почтенного вида гражданин, который очень любезно обещал быть моим проводником. Войдя в извилистый переулок, он привел меня этому нехорошему месту, где сделал мне свои бесчестные предложения, вытащив при этом кошелек. Хозяйка дома уже получила туз за келью (*jam pro cellâ meretrix assem exegerat*). Если аренда кельи стоила туз (чуть больше копейки), то мы должны предположить, что все остальное было не очень дорогим. Действительно, когда Мессалина просит жалованье (*æra proposcit*), Ювенал дает понять, что она довольствуется медной монетой. В другом месте мы уже говорили о проститутках, которым платили всего два обола и один квадранс, из-за чего их прозвали *квадрантариями* и *диоболарами*. Фест объясняет их название следующим образом: *Diobolares meretrices dicuntur, quæ duobus obolis ducuntur*. Именно конкуренция стала причиной столь низкого уровня оплаты проституции.



- Альп. Cabasson del.
- Drouart imp.
- Альп. Леруа и Ф. Lefman. Sculp.

## РОМАН ЛУПАНАР

### ГЛАВА XVIII.

Резюме.- Когда в Риме была установлена легальная проституция.- Регистрация проституток.- Что говорит Тацит о причинах этой регистрации.- Женщины и дочери сенаторов, требующие лицензию *ступри*.- Выгоды, которые государство и общество извлекали из регистрации куртизанок.- Ставка за каждую проститутку, зафиксированная в реестрах эдила.- Клятва куртизанок в руках эдила.- Почему аттестация *проституток* проходила в канцелярии

эдила.-Юрисдикция эдила в вопросах проституции.-Полиция улицы.-Бродячая проституция.- Юлия, дочь Августа.-Полиция эдила в публичных домах.-Плебейские эдилы и великие патрицианские эдилы.-Что случилось с эдилом, который пытался силой открыть дверь в дом *метиски* Мамилии.Различные места, где практиковалась мошенническая проституция . - Общественные бани. - Жена консула в банях Теанума. - Роскошь и разврат римских бань. - Смещение полов в общественных банях. - Баня Сципиона. - *Бальнеатории* и *алипты*. - Разврат при дворе Домициана в общественных банях. - Бесплатные бани для низших классов. - Бани богачей и аристократов. - Терпимость к банной проституции.-Слуги и служанки бань.- *Феллатрисы* и *феллаторессы*.- Феллатор Блаттара и феллатриса Таис.- Зоил.- Пантомима *Амтеланов*.- Кабаре.- Дурная слава, связанная с их посещением.Описание римского *popina*.- *Stabulum*.- *Cauponæ* и the *diversoria*.- Посещение домов мэра ночью.- Подвалы пекарен.- Полицейский эдильтер для борделей.-Нарушения, штрафы и аффективные наказания.-Чему подвергла себя Мессалина, занимаясь *meretricium* в публичном доме.-Установка женщины в плохом месте.-Делегаты мэра.-Время открытия и закрытия публичных домов и других плохих общественных мест.-*Меретрессы* в цирке.- Театральная проституция.-Театральные глашатаи.-Бродячая проституция.Внешние стены домов и памятников, поставленные городским советом под защиту Эскулапия, чтобы защитить их от грязи прохожих.- Публичная безнравственность проституток на перекрестках и в переулках Рима.- Катулл нашел свою Лесбию среди этих женщин.- Суд эдила.- Различие, установленное Ульпианом между *вызовом* и *преследованием*.- Полномочия, данные законом отцам и опекунам над их сыновьями и подопечными, которые предавались разврату.- *Адвенторы* - *Венаторы* - Молодость Алкиноя - *Салапуты* - Поэт Гораций *putissimum penem* - *Семитарии* - *Adulter, scortator et mœchus* - *Mœchocinædus et mœchisso* - Heliogabalus в борделях.-Сумптурные постановления, касающиеся меркантильных женщин - Костюмы куртизанок - Их обувь - Их прически - Проституткам запрещалось наносить на волосы золотую пудру.-Голубые и желтые волосы - Национальный костюм проституток Тира и Вавилона - *Амикулум* или бойфренд - *Гальбанати*, *гальбани* и *гальбана* - Митра, тиара и нимб - Происхождение этих трех головных уборов.-Кармента, изобретатель римских карет - Бастерна и литраж - *Целла* и осьминог - Путешествующие лупанары - Закон Оппия.

Невозможно сказать, когда в Риме появилась легальная проституция или когда она стала предметом полицейского законодательства, находящегося под особой юрисдикцией городских советников. Но вполне вероятно, что эти магистраты с самого начала управления городом, которое датируется 260 годом нашей эры, занимались установлением определенных ограничений на уличную проституцию и составлением своего рода судебной практики в интересах народа. К сожалению, от этой юриспруденции сохранилось лишь несколько разрозненных, сомнительных или почти стертых черт, которые, тем не менее, позволяют нам оценить ее мудрость и справедливость. Можно сказать, что ни одно из дальновидных положений современной полиции в отношении женщин с дурной репутацией не было оставлено без внимания римским эдиктом. Эта народная магистратура понимала, что, предоставляя этим деградировавшим женщинам как можно больше свободы, она должна была помешать им осуществлять своего рода бесстыдную узурпацию над хорошими женщинами; вот почему она прежде всего поставила перед собой задачу придать проституции некий общественный характер, наложить на нее отличительные знаки, заклеить ее позором в глазах всех, чтобы отбить у нее желание и средства необоснованно присваивать привилегии добродетели и скромности. Не позволяя куртизанке быть принятой за матрону, матрона была избавлена от оскорбления быть принятой за куртизанку. Поэтому первой задачей советников было заставить куртизанку саму предстать перед ними и признаться в своей позорной профессии, попросив у них право заниматься ею открыто,

получив законное разрешение, известное как *licentia stupri*. Отсюда и происходит регистрация публичных девушек в реестрах эдилов.

Более того, у нас нет информации о том, как осуществлялась эта регистрация: похоже, что любая женщина, которая хотела зарабатывать на жизнь своим телом (*sui quæstum facere*), была обязана явиться к мэру и заявить об этом постыдном намерении, на что мэр иногда пытался ответить добрым советом. Если женщина упорствовала, ее регистрировали как проститутку; она указывала свое имя, возраст, место рождения, псевдоним, который она выбрала для своего нового состояния, и даже, если верить одному комментатору, цену, которую она раз и навсегда приняла в качестве тарифа за свое одиозное ремесло. Тацит говорит во второй книге своих "Анналов", что эта регистрация у эдила очень давно требовалась от женщин, которые хотели заниматься проституцией, и что законодатель считал, что не может лучше наказать этих наглецов, чем заставить их признать свое бесчестье таким образом (*more inter veteres recepto, qui satis pœnarum adversus impudicas in ipsâ professione flagitii credebant*). Но то, что было сдержанностью в строгие времена республики, стало игрой и насмешкой при императорах, когда дочерей и жен сенаторов видели требующими от мэра *лицензию на ступки*. Кроме того, легко понять, какой судебной пользе служила регистрация. С одной стороны, она давала достоверный список всех женщин, которые должны были платить государству налог за проституцию, *vestigal*, который был привязан, как кабала, к этому позорному ремеслу; С другой стороны, во всех случаях, когда куртизанка не справлялась со своими обязанностями, в драках, ссорах, спорах, скандалах, нарушениях и преступлениях разного рода, к которым часто приводила эта постыдная профессия, достаточно было обратиться к муниципальным регистрам, чтобы узнать гражданское состояние человека, о котором шла речь. Таким образом, знали не только настоящее имя виновного или жертвы, но и их *nom de guerre*, *luparium nomen*, под которым они были известны в мире разврата. Плавт в своем "Энуле" говорит об этих развратных существах, которые меняли свои имена, чтобы совершить недостойную торговлю своим телом (*namque hodie earum mutarentur nomina, facerentque indignum genere quæstum corpore*). Не менее необходимо было заносить в реестры расценки, которые каждая женщина назначала за свой товар, ибо ученый Пьерруж зафиксировал этот факт, как ни странно, в своем *Glossarium eroticum*: стоимость и оплата проституции обсуждались перед мэром, как если бы речь шла о хлебе или сыре (*tanquam mercedis annonariæ, de pretio concubitûs jus dicebat ædilis*). Таким образом, задача эдила была многогранной и зачастую очень деликатной, но эдила хватало на все.

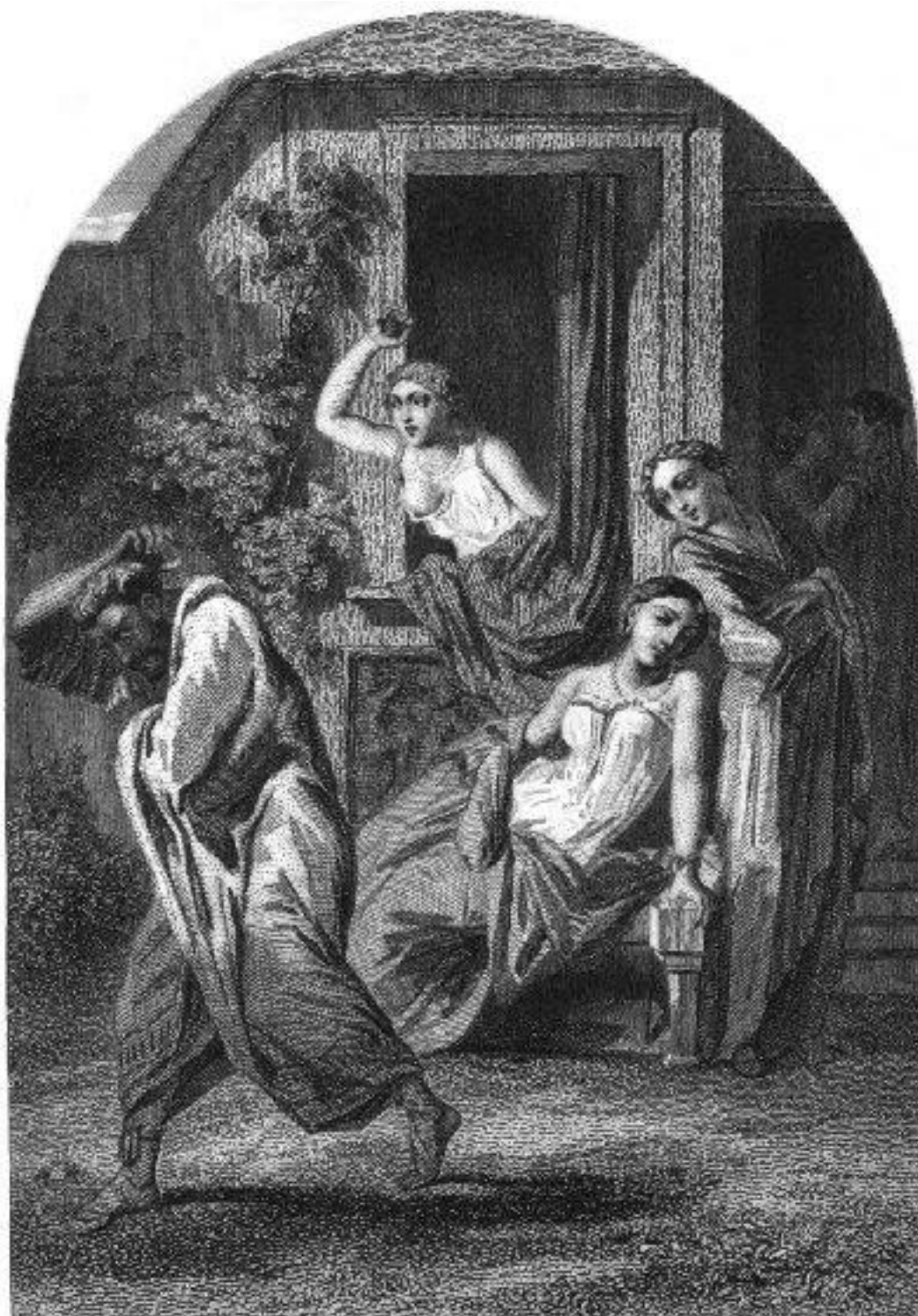
Запись куртизанки в реестре *licentia stupri* была несмываемой, и женщина, получившая это пятно, никогда не могла его смыть или заставить исчезнуть. Сколько бы она ни отрекалась от своего скандального ремесла и ни заглаживала свою вину, живя целомудренно, выходя замуж и рожая полузаконных детей, не было ни одного социального или религиозного авторитета, который имел бы право полностью реабилитировать ее и вычеркнуть ее имя из реестров легальной проституции. Более того, как мы уже говорили, на ней оставалось клеймо позора, которое она заработала в какой-то период своей жизни под влиянием нужды, бедности или даже невежества. И все же, как заметил ученый Дуза, как только *меринки* оставляли свое ремесло, они спешили вернуться к своим настоящим именам и оставляли фальшивые имена, которые они выставляли на своих вывесках в борделях. Один юрист, не приводящий своих авторитетов, утверждает, что каждая куртизанка при регистрации давала клятву в руках мэра и клялась никогда не отказываться от своей неблагородной профессии, которую она приняла свободно, без стеснения и отвращения; Но несчастные женщины, связанные этой чудовищной клятвой, были бы освобождены от нее, когда закон Юстиниана (*Novella LI*) объявил, что такая клятва против морали не обязательна

для неосмотрительной женщины, которая ее дала. Эта клятва проституции, которую история не раз показывает с религиозной точки зрения, в том числе среди локрийцев, чьи дочери поклялись проституцией на следующем празднике Венеры, если их отцы одержат победу над врагом, эта клятва юридической проституции совсем не неправдоподобна и даже соответствует той позорной ноте, которая была ее непосредственным следствием.

Спрашивают, почему аттестацию *меринок* проводил мэр, а не цензор, в чьи полномочия входил надзор за нравственностью. Юст Липс в своих комментариях к Тациту отвечает на этот чисто умозрительный вопрос, указывая, что эдил отвечал за внутреннюю охрану публичных домов, кабаре и всех подозрительных мест, служивших прибежищем для проституции. Именно о юрисдикции эдила над такими местами Сенека мог сказать: "Добродетель вы найдете в храме, на форуме, в курии, на городских стенах; сладострастие, чаще всего скрывающееся и ищущее темноты, вы найдете около бань и парилок, в местах, где боятся эдила (*ad loca ædilem metuentia*)". Юсту-Липсу следовало бы добавить, чтобы лучше объяснить компетенцию эдила в вопросах проституции, что эдил должен был прежде всего включить в сферу своих полномочий общественную дорогу, *via publica*, которая по сути своей принадлежала проституции и была почти ее синонимом. "Никто не запрещает приходить и уходить по общественному шоссе", - говорит Плавт, имея в виду то, что любой может воспользоваться публичной женщиной, заплатив ей, конечно. (*Quin quod, palam est venale, si argentum est, emas. Nemo ire quemquam publicâ prohibet viâ*). Таким образом, эдил отвечал за охрану порядка на улице и во всем, что могло считаться ее частью: так, общественные места, естественно, попадали под абсолютную юрисдикцию эдила.

Прежде всего, и об этом прямо говорит Юстин, женщины, которые занимались проституцией, не зарегистрировавшись у эдила и не приобретя таким образом право на свободное осуществление своей аморальной профессии, подлежали штрафу и даже изгнанию из города, если их заставляли на месте преступления; Но обычно провинившиеся, если они были еще молоды и могли что-то заработать, привлекали благотворительную душу из ленона, которая оплачивала их штраф и регистрацию, а чтобы вернуть свои авансы, заставляла их работать на себя, запирая их в плохом месте. Поэтому бродячие проститутки, *erratica scorta*, в Риме не допускались, но нужно было закрывать глаза на их количество и разнообразные привычки, для чего потребовалась бы армия стражников для охраны улиц и зданий, сенат советников для осуждения правонарушений и толпа ликторов для избивания виновных и приведения приговоров в исполнение. Город Рим мог похвастаться множеством храмов, колонн, статуй, общественных памятников, таких как акведуки, бани, гробницы, рынки и т. д., На каждом шагу был темный свод, под которым по ночам скрывалась проститутка или нищий; каждое сводчатое место (*arcuarius* или *arquatus*) служило убежищем для бродячих развратников, которое никто не имел права нарушать, потому что каждый имел право спать под открытым небом, *sub dio*. Из некоторых фактов, зафиксированных в истории, можно даже сделать вывод, что некоторые уединенные места, по соседству с определенными часовнями и статуями, были обычным местом ночной проституции. Например, Юлия, дочь Августа, имела обыкновение заниматься проституцией на перекрестке, перед статуей сатира Марсия, и место, где совершалось это непристойное жертвоприношение, всегда было занято, как только ночь накрывала звездным пологом слой камня, служивший алтарем для этого отвратительного жертвоприношения. Не хватало только статуи Приапе или какого-нибудь бога-хранителя, вооруженного кнутом, палкой или дубиной, чтобы защитить всех ночных негодяев, которые приходили под его покровительство и укрывались в его тени.

Поэтому городской советник лишь изредка применял строгость к нарушениям такого рода; с другой стороны, иногда он применял довольно жесткую полицейскую силу к публичным домам, которые попадали под его юрисдикцию. Он не только проводил постоянные расследования с целью выявления преступлений, которые могли быть совершены в этих заведениях, находившихся под его особым наблюдением, но и часто проверял себя, чтобы убедиться, что все делается в соответствии с муниципальными правилами. Мы уже не раз упоминали о подозрительных или печально известных местах, которые находились под юрисдикцией эдила: именно в них скрывалась проституция, чтобы избежать налогообложения, и именно там леноциниум вел свои самые низкие переговоры. Эдил в сопровождении своих ликторов бродил по улицам в любое время дня и ночи, заходя везде, где его присутствие могло быть полезным, и воочию наблюдая за внутренней жизнью этих притонов разврата. Поэтому при приближении советника издали женщины дурного тона, бродяги, азартные игроки, беглые рабы и преступники всех мастей быстро убегали с дороги, а кабары, трактиры и дурнопахнущие лавки тут же пустели. Охрана порядка в городах принадлежала плебейским советникам, на которых лежала вся тяжесть активного управления; большие патрицианские советники, восседавшие на своих курульных креслах, занимались лишь рассмотрением дел, переданных им трибунами, что входило в их чисто административную компетенцию. Такое разделение полномочий и ролей естественным образом установилось около 388 года по Риму, когда сенат добавил к двум плебейским эдилам двух курульных или патрицианских эдилов. Только последний носил отличительную одежду - *мантию-претекст* из белой шерсти с пурпурной каймой, в то время как остальных можно было узнать только по их ликторам или, скорее, сопровождающим, своего рода ростовщикам, которые ходили перед ними и заставляли их открывать двери, называя имена и квалификацию эдила; ведь эдил мог войти в частный дом только в силу своей должности и для выполнения своих обязанностей. В Риме много рассказывали о разочаровании курульного эдила, которому куртизанка имела смелость противостоять и который не одержал верх перед народными трибунами. Аулу-Гелле рассказывает об этом памятном решении, как он нашел его в книге Аттея Капито, озаглавленной "*Предположения*". А. Хостилий Манцин, курульный эдил, захотел ночью войти в дом *меритриссы* Мамилии; она отказалась его принять, хотя он отрекся от своего имени и утверждал свои прерогативы; но он был один, без ликторов; на нем не было предтекстовой мантии, и, кроме того, ему как эдилу нечего было делать в этом доме. Он раздражался, встречая столько препятствий со стороны публичной дочери; он грозился выломать двери и пытался это сделать. Тогда Мамилия, не обращая внимания на насилие, сделала вид, что не узнала мэра, и забросала его камнями с балкона (*de tabulato*). Мэр был ранен в голову. На следующий день он привел наглую Мамилию к народу, обвинив ее в нападении на него. Мамилия рассказала, как все произошло; как эдил пытался выломать дверь, а она помешала ему, ударив камнями. Она добавила, что Манцин, уходя с ужина, предложил ей себя, опьяненный вином и с венком из цветов на лбу. Трибуны одобрили поведение Мамилии, заявив, что Манцин, явившись ночью, полупьяный и увенчанный цветами, к двери куртизанки, заслужил позорное изгнание. Поэтому они запретили ему подавать жалобу народу, и куртизанка таким образом взяла верх над мэром.



- Кастелли, дель.
- Парижская имп. Друар, 11, р. дю Фуарр
- Outhwaite, sc.

#### A. HOSTILIUS MANCINUS ET MANILIA

Этот любопытный факт доказывает, что Мамилия жила в частном доме, который ускользал от контроля городских советников; ведь в местах свободной практики, находящихся под их непосредственной властью, они не посмели бы сопротивляться. Таким образом, эти магистраты постоянно возобновляли свои визиты в бани и парильни, кабаре и трактиры, а

также в лавки пекаря, мясника (*lanii*), жаровни (*macellarii*), цирюльника и парфюмера. Им наверняка было бы неловко регистрировать, преследовать и наказывать все случаи мошенничества и запрещенной проституции, которые встречались на их пути. Именно в общественных банях скрывались самые чудовищные развратные действия; и можно сказать, что проституция в Риме всегда росла пропорционально баням, которые там создавались. Публий Виктор насчитал восемьсот бань, больших и малых, в пределах городских стен. Как известно, состоятельные граждане считали за честь устроить бассейн или паровую баню для пользования народом, поэтому неудивительно, что бань было так много, самые большие из них вмещали не менее тысячи человек одновременно. В строгие времена республики купание было окружено всеми предосторожностями скромности и таинственности; не только полы, но и возрасты были разделены; отец не купался вместе со своим половозрелым сыном, зять - с тестем; услуги оказывали мужчины или женщины, в зависимости от того, была ли баня исключительно женской или мужской. Такие заведения были еще не очень многочисленны, и в них отводились часы для мужчин и женщин, которые по очереди купались в одних и тех же бассейнах, не имея возможности встретиться. Цицерон рассказывает, что когда консул отправился в Теанум в Кампании, его жена заявила, что хочет купаться в банях, предназначенных для мужчин. Квестор приказал всем присутствующим покинуть бани, и, подождав несколько минут, жена консула смогла искупаться, но пожаловалась мужу на задержки, а также на нечистоту бань. Тогда консул приказал схватить и избить на площади господина Мариуса, самого знатного человека в городе, как будто он был ответственен за нечистоты в банях. Вероятно, жена консула сообщила мужу о чем-то более серьезном, и это позволяет предположить, что тот же консул, проезжая через Ферентинум, также поинтересовался состоянием общественных бань и был настолько недоволен, что приказал выпороть квесторов этого небольшого городка, где мужчины позорили себя под предлогом купания.

Вскоре римские бани стали похожи на те, что римляне нашли в Азии: в них допускались все виды роскоши и разврата, почти на глазах у мэра, который отвечал за соблюдение морали и был озабочен лишь материальными улучшениями, придуманными для того, чтобы еще больше размягчить и развратить их. Поначалу бани были общими для обоих полов, и хотя у каждого был свой бассейн или парилка, они могли видаться, встречаться, разговаривать друг с другом, плести интриги, устраивать свидания и прелюбодействовать. Каждый приводил своих рабов, мужчин или женщин, евнухов или спадонов, чтобы они охраняли его одежду, натирали воском, скребли, умащивали духами, скрабировали, брили и причесывали. Такое смешение полов неизбежно вело к проституции и разврату. У хозяев бань были также рабы, обученные для всевозможных услуг, жалкие агенты блуда, которые сдавались в наем публике для различных целей. Первоначально бани были настолько темными, что мужчины и женщины могли мыться бок о бок, не узнавая друг друга, кроме как по голосам; но вскоре дневной свет стал проникать со всех сторон и играть на мраморных колоннах и штукатурке стен. "В этой бане Сципиона, - говорит Сенека, - были не окна, а узкие оконные колодцы, которые едва пропускали достаточно света, чтобы не возмущать скромность; но теперь о банях говорят, что это подвалы, если они не открыты таким образом, чтобы в них проникали солнечные лучи через большие окна". Эта неприличная яркость выставляла наготу на всеобщее обозрение и заставляла сиять тысячи граней телесной красоты. Помимо большой парильни (*sudatorium*) и огромных бассейнов с холодной, теплой и горячей водой, в которых люди купались в солярии и вокруг которых они отдавались в руки рабов, *бальнеаторов* и *алиптов*, в заведении было множество комнат, где подавали еду и питье, и большое количество камер, где отдыхали девушки и юноши. Аммиан Марцеллин в энергичной картине показывает нам развратников двора Домициана, которые вторгаются в общественные бани и кричат страшным голосом: "Где они? Где они?". Затем, если они

видели какую-нибудь неизвестную *meretrix*, какую-нибудь старую проститутку, отбросы плебса в пригороде, какую-нибудь древнюю волчицу, чье тело было изношено блудом, они все вместе бросались и обращались с этой несчастной женщиной, как с Семирамидой: *Si apparuisse subito comperint meretricem, aut oppidanæ quondam prostibulum plebis, vel meritorii corporis veterem lupam, certatim concurrunt*, и так далее. Городские советники следили за тем, чтобы эти скандалы не происходили в банях, у которых снаружи стоял пост солдат, что позволяло устраивать там всякие беспорядки без шума, блеска и возмущения. Поэтому проституция имела приличный и таинственный вид.

Общественные бани были похожи на бордели: их внутренняя организация варьировалась в зависимости от типа публики, которая их посещала. Здесь это были бесплатные бани для низших классов; там - дешевые, поскольку вход стоил всего один квадранс, два лиара нашей валюты; в других местах это были великолепные бани, где на равных встречались и аристократия, и богачи, и даже вольноотпущенники. Все эти бани открывались в один и тот же час, девятого числа, то есть около трех часов дня; в это же время открывались и публичные места, кабаре, трактиры и бордели. Все эти бани закрывались в одно и то же время, на закате: *tempus lavandi*, читаем мы у Витрувия, *a meridiano ad vesperam est constitutum*. Но только публичные дома оставались открытыми всю ночь. Царствование легальной проституции, начинавшееся при свете солнца, продолжалось до следующего утра. Что касается проституции в банях, ее только терпели, а мэр делал вид, что по возможности не замечает ее, пока она не носит публичный характер. Императоры пришли на помощь городскому совету, чтобы предотвратить ужасные эксцессы, которые творились во всех банях Рима, куда допускались представители обоих полов. Адриан строго запретил это постыдное смешение мужчин и женщин; он приказал, чтобы их бани были совершенно отдельными: *Lavacra pro sexibus separavit*, говорит Спартиан. Марк Аврелий и Александр Север подтвердили эти эдикты в пользу общественной морали; но в промежутке между этими двумя царствованиями отвратительный Гелиогабал разрешил обоим полам встречаться в банях. Банные слуги и служанки стали, если нужно, трусливыми орудиями отдыха, к которому стремились оба пола. Матроны не стыдились, когда их массировали, помазывали и растирали эти дерзкие купальщицы. Ювенал в своей знаменитой сатире на женщин изображает мать, которая ждет ночи, чтобы отправиться в баню, со своими атрибутами - мазями и духами: "Она получает удовольствие от того, что потеет от сильного волнения, когда ее руки устало отваливаются назад под энергичной рукой, которая их массирует, когда купальщик, оживленный этим упражнением, заставляет орган удовольствия дергаться под его пальцами (*callidus et cristæ digitos impressit aliptes*) и трещит чресла матроны". Один из комментаторов Ювенала, Ригатий, объясняет бесчестные действия этих *aliptes* с пониманием дела, которое хорошо использует латынь: *Unctor sciebat dominam suam hujusmodi titillatione et contrectatione gaudere*. Затем он откровенно спрашивает себя, не был ли этот купальщик гнусным подхалимом.

Мэр не имел к этому никакого отношения, если никто не жаловался. Бани были местом убежища для любовных утех, а также для самого грязного сладострастия: "В то время как снаружи, - говорится в *"Искусстве целителя"* Овидия, - опекун молодой девушки следит за ее одеждой, бани, несомненно, скрывают ее тайные влюбленности (*celent furtivos balnea tuta jocos*)". Женщины, должно быть, больше мужчин были заинтересованы в сохранении привилегий, связанных с общественными банями: для одних это была нейтральная территория, центр, убежище, где они могли безопасно удовлетворить свои чувства; для других - вечный рынок, где проституция всегда могла найти, что купить или продать. Хотя на ночь бани закрывались, они оставались открытыми в тайне для привилегированных участников разврата; снаружи все было темно, но внутри ярко освещено, и бани, ужины и

оргии проходили почти без перерыва. В этих местах в широких масштабах практиковался леноцинизм, и многие приходили под предлогом купания, чтобы поинтересоваться девственностью молодой девушки или ребенка, а то и поискать для себя выгоды от какой-нибудь зверской проституции. Привычка к купанию развивала самые низменные инстинкты и вкусы у людей обоих полов, которые относились к этому с какой-то страстью; Видя себя обнаженными, видя всю наготу в самых непристойных позах, чувствуя, как их сжимают и трогают дрожащие руки купальщиц, они незаметно для себя заражались жаждой новых и неведомых удовольствий, погоне за которыми посвящали всю свою жизнь; они медленно изнемогали и поглощали себя среди этой нечистой Капуи общественных бань. Именно здесь лесбийская любовь основала свое святилище, а римская чувственность превзошла распутство учеников Сафо. Их всегда называли лесбиянками, когда они ничего не добавляли к предписаниям женской философии Лесбоса; но они принимали имя *феллатрикс*, когда оставляли для мужчин те мерзкие ласки, которыми их уста не боялись осквернить себя. И это еще не все: эти несчастные женщины обучали своему отвратительному искусству детей и рабов, которых называли *fellatores*. Эта нечистоплотность стала настолько распространенной в Риме, что один сатирик с ужасом воскликнул: "О благородные потомки богини Венеры, вы скоро не найдете достаточно целомудренных губ, чтобы обратиться к ней со своими молитвами!" В своих эпиграммах Марциал постоянно возвращается к этой мерзости, которая давала жизнь множеству позорных людей и не мешала эдиду спать: мы не осмелимся перевести язвительную эпигramму, которую он адресует одному из этих мерзких существ по имени Блаттара; но нам легче дать более или менее честный отчет о той, которая касается Таиса, феллатрисы, входившей в моду в то время: "Среди людей, да и во всем городе, нет никого, кто мог бы похвастаться тем, что пользовался благосклонностью Таис, хотя многие желают ее, хотя многие преследуют ее. Почему же Таис так целомудренна? Потому что у нее нет рта". (*Tam casta est, rogo, Thaïs? immò fellat.*) Марциал не прощает мерзких феллахов, попадающих ему на пути; он ненавидит их и проклинает всех в лице Зоилы: "Вы говорите, что поэты и адвокаты дурно пахнут изо рта; но феллах, Зоила, воняет гораздо сильнее!" Эта позорная фантазия похоти стала при императорах настолько распространенной в Риме, что Плавт и Теренций, которые все же упоминали о пороке феллаторов, казалось, ничего не говорили об этом, а в "*Амтеланах*", где пантомима превосходила величайшую смелость диалога, авторы постоянно выражали постыдные тайны феллаторского искусства через безмолвную игру.

И при этом городские советники должны были оставаться слепыми к этим ужасным развратным действиям, которые происходили почти на их глазах! Это была даже не проституция как таковая, а лишь ее прелюдия или соучастие; прежде всего, это был самый характерный акт рабства, *de præbere os*, согласно обычному выражению, встречающемуся еще в "*Адельфе*" Теренция; поэтому городские советники не имели права вмешиваться в индивидуальное поведение рабов, за исключением случаев, когда речь шла о *меринах*. Примечательно, что презренные мастера этого разврата почти никогда не входили в группу зарегистрированных куртизанок. Поэтому их можно было встретить не в борделях, а в кабаре и во всех подозрительных местах, куда люди заходили выпить, поесть, поиграть или поспать. Любой, кто заходил в эти места, посещаемые людьми, чья честь была потеряна, оказывался с ними в одной связке или деградировал до их уровня, даже если он не поддавался их обычным порокам. Достаточно было присутствия мужчины или женщины в таверне (*porina*), чтобы эта женщина или этот мужчина подчинились, так сказать, любому бесчинству. Так, юрист Юлий Паулюс своими словами говорит в Дигестах: "Кто бы ни сделал игрушкой моего раба или моего сына, даже с его согласия, я буду считать, что получил личное оскорбление, как если бы моего сына или моего раба привели в таверну, как если бы его заставили играть в азартную игру". Оскорбление и ущерб существовали с того момента, как молодой человек

ступил в кабаре, ибо он никогда не был уверен, что покинет его таким же чистым и целомудренным, каким вошел. Муниципальная полиция тщательно следила за кабаре, которые должны были закрываться на ночь и открываться только с рассветом: они могли принимать самых разных людей, не беспокоясь о своих гостях, но не имели права предоставлять им жилье, и отправляли своих людей прочь, когда на улицах раздавался звонок о закрытии бань и всех общественных мест. Уже один этот факт указывает на внутреннюю планировку римской *popina*, которая обычно состояла из небольшой низкой комнаты на первом этаже, уставленной амфорами и большими кувшинами, наполненными вином, на брюхе которых был написан год урожая и название винограда: В задней части этой комнаты, сырой и темной, куда свет попадал только через дверь, украшенную лавровым венком, находились одна или две очень узкие комнаты для приема гостей, которые оставались там, чтобы поиграть в игры и предаться разврату. Более того, в этих лачугах, пропитанных запахом вина и ламп, не было и следа кровати: "Трактиры, - говорит Цицерон в отрывке, который четко определяет разницу между *popina* и *stabulum*, - трактиры - это их спальни; таверны - их столовые". В этих заведениях можно было найти только скамейки, стремянки и столы, что мало способствовало обычной проституции.

Чтобы снять комнату и кровать, нужно было идти в *cauponæ* и *diversoria*. *Диверсорий* предназначался только для путешественников и иностранцев, которые проводили там ночь без ужина; *каупона*, напротив, напоминала трактир или кабаре: люди оставались там и ужинали. Не было недостатка и в компаньонках, которых хозяин заведения всегда держал в запасе для пользования своими жильцами. Проституция в этих доходных домах имела более приличный вид и менее эксцентричные привычки, и все же мэр часто навещался сюда по ночам, чтобы разыскать женщин с дурной репутацией, которые могли уклониться от регистрации, и тех, кто занимался своим ремеслом вне борделей. Они убегали полуголыми, прятались в подвале за амфорами с маслом и вином, прятались под кроватями, когда в дверь дома стучался магистратский аппарат, когда ликторы клали перед домом свои лучи. Цель этих посещений домов заключалась прежде всего в том, чтобы наказывать нарушения правил большими штрафами; поэтому, как говорит Сенека, все подозрительные места боялись правосудия эдила, и все такие места в большей или меньшей степени были посвящены проституции. Сенека в "*Счастливой жизни*" с отвращением говорит об этом постыдном, низком, тривиальном и жалком удовольствии, место и убежище которого - темные подвалы и кабаре (*cui statio ac domicilium fornices et popinæ sunt*). Олдермен также посещал пекарни и зависящие от них погреба. В этих подвалах, иногда глубоких и отделенных от общественной дороги, не только хранить пшеницу в огромных фаянсовых вазах, но и заставлять рабов вращать жернова: там часто находились подземные камеры, где проститутки укрывались днем, когда бордели были закрыты и бездействовали. *Меритрисы*, говорит Поль Дьякр, обычно жили на мельницах (*in molis meretrices versabantur*). Питискус, цитирующий этот отрывок, добавляет, что жернова и девушки находились в подвалах, сообщавшихся с пекарней, так что не все, кто приходил туда, приходили за хлебом; большинство приходило туда только для разврата (*alios qui pro pane veniebant, alios qui pro luxuriæ turpitudine ibi festinabant*). Это была разнузданная форма проституции, которую мэр не уставал преследовать: он часто спускался в туннели, где пшеница дробилась при помоле, и всегда обнаруживал толпу незарегистрированных женщин, некоторые из которых работали на мельницах, а другие были просто арендаторами в этих темных переулках, где разврат, казалось, скрывался в тени от своего собственного бесчестья.

Лупанары также находились под непосредственным надзором городских советников, но им не нужно было беспокоиться о том, что там происходит, если внутри или снаружи не было беспорядков, потасовок или скандалов, и если двери открывались в девятом часу, то есть в

три часа после полудня, и закрывались первым делом на следующее утро. Ленону или Лене, так сказать, делегировали часть обязанностей эдила в режиме заведения. Поскольку "лупанер" любого пола отвечал за запись имени каждой из своих жен, он, естественно, должен был следить за тем, чтобы каждая из них была правильно внесена в муниципальные реестры; Он должен был нести ответственность за преступление, если прелюбодействовала девица или свободная гражданка, если прелюбодействовала замужняя женщина, если прелюбодействовала девушка, находящаяся во власти отца или опекуна, если прелюбодействовал несчастный ребенок, добровольно или по принуждению; ведь закон Юлия включал в наказание за прелюбодеяние всех соучастников, которые поощряли его, даже косвенно. Поэтому хозяевам и предпринимателям дурных мест часто приходилось считаться с эдилом, тем более что леноциниум не уважал ничего: ни рождения, ни звания, ни возраста, ни добродетели. Любое нарушение правил влекло за собой штраф, а штрафы такого рода, которые эдил накладывал по своему усмотрению, подлежали немедленной уплате. Задержка в уплате влекла за собой обильное количество ударов плетью по плечам осужденного. Это наказание проводилось прямо посреди улицы, перед борделем, а затем пациент, заплатив штраф, покидал руки ликтора, весь в синяках и побоях, чтобы придумать, как расплатиться с ним новым занятием проституцией. Кроме того, все могло быть использовано для порицания и наказания пациента. Хозяева лупанара слишком сильно зависели от усмотрения эдила, чтобы не обеспечить себе поддержку или благосклонное влияние в случае несчастья; они находили их в развратных сенаторах, которым оставляли первые плоды некоторых избранных предметов. Сам эдил не был неподкупным, и ленон знал, каким подарком можно иногда привлечь его на свою сторону и сделать благосклонным.

Трудно составить список правонарушений и преступлений, имевших место в борделях Рима; несомненно, не сам эдил вел их учет, а подчиненные ему офицеры. Эти офицеры проверяли управление лупанариями, выслушивали и принимали жалобы на них, осматривали помещения и, прежде всего, записывали списки женщин, содержащихся в камерах. Забота законодателя о публичном разврате, похоже, сводилась исключительно к тому, чтобы предотвратить проституцию патрицианских женщин и *бесхитростных* девушек и преследовать прелюбодеяние даже под этой позорной маской. В публичные дома, открытые под гарантией закона, допускались только те женщины, которым закон не запрещал торговать собой и заниматься проституцией. Мессалина, практикуя *meretricium* в борделе, выдавала себя за Лизиску, куртизанку, чье имя она взяла для разврата и которая, вероятно, занималась своим ремеслом в другом месте. Таким образом, Мессалина подвергла себя, если не быть узнанной, то, по крайней мере, быть обвиненной в узурпации своего имени и статуса; только девушки, зарегистрированные у мэра, имели право работать в борделях. Сенека в двух разных отрывках своих *"Споров"* говорит о женщине, поселившейся в плохом месте, не указывая на различные формальности, которые ей пришлось пройти перед этим: "Ты назвалась *метеринкой*, говорит Сенека; ты села в публичном доме; на твоей келье повесили табличку; ты отдалась всем желающим". И в другом месте: "Ты сидела с куртизанками; ты также украшала себя, чтобы понравиться прохожим, наряжаясь в одежду, которую предоставил тебе ленон; твое имя было вывешено на двери; ты получила цену за свой позор". Несомненно, что ленон не предоставлял одежду и келью всем женщинам, которые являлись на общественную службу: они должны были, прежде всего, оправдать свое качество и даже предъявить сертификат *meretrix*, называемый *licentia stupri*. Другой отрывок из *"Противоречий"* Сенеки позволяет предположить, что это свидетельство выдавалось в самом борделе, и что у ленона был реестр, в который он вносил имена своих клиентов: "Тебя привели в бордель, - говорит Сенека, - ты занял там свое место; ты назначил свою цену: вывеска была воздвигнута соответствующим образом". Это все, что мы можем о

вас знать. Кроме того, я не хочу знать, как вы называете келью и непристойную кушетку". Делегаты мэра не стеснялись требовать больше подробностей и допрашивать самих женщин.

В частности, мэр был очень суров, когда речь шла о нарушении часов открытия и закрытия борделей, ведь эти часы были установлены для того, чтобы молодые люди не отправлялись по утрам в места разврата, чтобы не утомлялись и не становились беспокойными, вместо того чтобы участвовать в гимнастических упражнениях, школьных занятиях и уроках гражданственности, которые составляли римское образование. Законодатель также хотел, чтобы дневная жара стала препятствием для проституции, а у тех, кого она одолевала, не возникало соблазна искать дополнительного пота и усталости. Единственным исключением из часов, отведенных для свободного посещения общественных мест и удовольствий, были торжественные праздничные дни, когда народ приглашался на цирковые игры. В эти дни проституция распространялась повсюду, и если в городе публичные дома оставались закрытыми и пустынными, то в цирке они открывались одновременно с играми; под террасами, где толпились зрители, леноны устраивали камеры и палатки, к которым со всех сторон стекались непрерывные процессии куртизанок и распутниц, которых они завлекали за собой. Пока тигры, львы и свирепые звери кусали прутья своих железных клеток, пока гладиаторы сражались и умирали; пока зрители сотрясали огромное здание громом криков и хлопанием в ладоши, выстроившиеся на специальных местах *камеристки*, отличавшиеся высокими головными уборами и короткими, легкими, непокрытыми одеждами, постоянно взывали к желаниям публики и не дожидались окончания игр, чтобы удовлетворить их. Эти куртизанки постоянно покидали свои места и следовали друг за другом на протяжении всего представления. Внешних портиков цирка уже не хватало для этого невероятного рынка проституции, и все кабаре и гостиницы в окрестностях были переполнены людьми. Понятно, что в те дни проституция была абсолютно бесплатной, и сопровождающие мэра не осмеливались спрашивать о качестве женщин, исполняющих *роль метерикса*. Вот почему Сальвиан сказал об этих великих народных оргиях: "Минерве поклоняются в гимнасиях, Венере - в театрах", а в другом месте: "Все, что дерзко, практикуется в театрах; все, что беспорядочно, - во дворцах". Исидор Севильский в своих *"Этимологиях"* идет дальше, говоря, что театр - это синоним проституции, потому что в одном и том же месте после окончания игр *меркантильные женщины* публично занимаются проституцией. (*Idem vero theatrum, idem et prostibulum, eo quod post ludos exactos meretrices ibi prosternerentur*). Поэтому городским советникам не было никакого дела до проституции в театрах, как если бы она была необходимой частью игр, устраиваемых для народа. Более того, как правило (об этом можно судить хотя бы по нескольким местам в *"Истории Августа"*), театрами управляли женщины, жившие под портиками и в сводчатых галереях этих зданий; у них были ленники или любовники - театральные глашатаи, которых можно было видеть постоянно переходящими с яруса на ярус во время представления; эти глашатаи не ограничивались тем, что продавали народу воду и горох или раздавали их бесплатно, за счет великой персоны, дававшей игры: они служили в основном посыльными и переводчиками, связывающими развратников. Поэтому Тертуллиан был прав, называя цирк и театр *consistoria libidinum publicarum*, консисториями общественного разврата.

Вполне вероятно, что мэр, несмотря на свою почти абсолютную власть над общественными дорогами, не слишком беспокоил бродячих проституток; ни у поэтов, ни у моралистов, рассказывающих об этом отвратительном виде проституции, мы не видим никаких репрессивных или профилактических мер. Мэр, несомненно, ограничивался соблюдением правил одежды и сурово наказывал зарегистрированных проституток, рискнувших выйти на

улицы в длинных платьях и повязках матрон; но от него не ожидали пристального внимания к общественной морали, когда ночь покрывала ее снисходительной вуалью. Общественные дороги принадлежали всем гражданам; каждый мог свободно пользоваться ими, и каждый находил там защиту, отдавая себя под защиту народа. Поэтому было бы трудно запретить гражданину пользоваться своей личной свободой посреди улицы. В период своего наибольшего могущества городской совет не имел возможности принудительно бороться с прохожими, которые пачкали своей мочой внешние стены домов и памятников, поэтому в интересах здоровья Рима он прибегнул к помощи бога Эскулапия и нарисовал двух змей в тех местах, которые стали особенно привычными для хранения нечистот и мочи. Эти священные змеи отпугивали нечистых, которые не стали бы воздерживаться в присутствии самого мэра, и у которых не было причин совершать осквернение, поскольку змея была эмблемой бога медицины. К сожалению, не было таких змей, которых приходилось бояться бродячим проституткам под сводами и в темных углах, где они укрывались, как только на улице становилось темно и малоллюдно. Питиск, который не выдвигает ни одного факта, не подкрепив его доказательствами, почерпнутыми из трудов или памятников древности, показывает нам проститутку Рима, самых мерзких, занимающих ночью перекрестки и узкие улочки города, зазывающих и привлекающих прохожих и ведущих себя не более бесстыдно, чем собаки, которые занимали площадь днем: *Quos in triviis venereis nodis cohærere scribit Lucretius*. Мэру ничего не оставалось, как отнести эту мерзость к дурно известным районам, куда честные люди никогда не проникали и где обитали только воры, нищие, беглые рабы и женщины с дурной репутацией. Полиция избегала будоражить отбросы населения, и для того, чтобы спуститься в глубины этих притонов, мэру требовалось ограбление, убийство или пожар. Поэтому общественные улицы в пригородах и на подступах к городским стенам были ночным театром самых отвратительных нечистот. Именно там Катулл встретил Лесби, которую любил больше самого себя, больше всех своих родных; но если он узнал ее, то как она изменилась и каким ужасным ремеслом безнаказанно занималась в тени! Он отвернулся, возмущенный, глаза его затуманились слезами, и ему захотелось ничего не видеть; и тут из сердца поэта вырвалась эта жалоба:

Illa Lesbia quam Catullus unam  
Plus quam se atque suos amavit omnes,  
Nunc in quadriviis et angustis  
Glubit magnanimos Remi nepotes!

Если эдил оставлял в покое несчастных зачинщиков общественной безнравственности, то еще меньше он вмешивался в поведение их обычных сообщников; кроме того, у него не было цензуры, чтобы следить за нравственностью, и он старался не нарушать привилегий римских граждан под предлогом обеспечения уважения к скромности улицы. В этом отношении он получал только жалобы, адресованные ему, и приводил тех, кто подавал эти жалобы, непосредственно к своему курулу. Иногда жалобы были очень серьезными, например, когда мать жаловалась на то, что ее оскорбляли и обращались с ней как с куртизанкой, то есть преследовали и окликали на улице. Тогда мэру приходилось разбираться, могло ли платье, походка или жесты матроны стать причиной оскорбительного недоразумения, и мог ли автор оскорбления сослаться на незнание или добрую волю. Как правило, женщины, которые имели право подать жалобу в суд эдила, предпочитали избавиться себя от скандала, связанного с подобными дебатами, и не появляться на публике для осуждения оскорбителя,

особенно если они считали себя достойными порицания с точки зрения своего платья; ведь слишком короткой туники, слишком высокой прически, обнажения шеи, плеч или горла было достаточно, чтобы оправдать обращение или провокацию. "Призывать и преследовать - две совершенно разные вещи", - говорит Ульпиан в разделе XV "*De injuriis et famosis libellis*"; "призывать - значит посягать на чужую скромность с помощью инсинуаций; преследовать - значит следовать настойчиво, но молча". Когда распутники сомневались в статусе женщины, которую они встретили на своем пути и обладания которой они жаждали, они не говорили с ней первыми, а следовали за ней сзади, пока она не показывала знаком или взглядом, что преследование не оскорбительно или неприятно для нее; тогда они считали себя вправе делать ей словесные предложения. К иностранке не приставали посреди улицы, если она не отвечала голосом, жестом или взглядом на первую попытку обращения, и этот обычай оставался частью обычаев римских городов еще долго после того, как общественная коррупция ослабила суровость закона. "Этой девушке, которая обращается к нему публично, - говорит Пруденций в своих нравоучительных четверостишиях, - он приказывает остановиться на повороте улицы". Одни только метиски были, так сказать, на усмотрение первого встречного; любой прохожий имел право остановить их на улице и попросить постыдной поблажки, как если бы это был товар, предлагаемый любому, кто готов заплатить по установленной цене.

За исключением случаев, когда *сектант* по распутству или по ошибке преследовал или подзывал *девицу*, чья походка и платье не оправдывали подобных нападков, стремление к удовольствиям разврата было абсолютно свободным для мужчин, если не для молодых людей. Только последние могли быть наказаны своим отцом или опекуном; ведь закон допускал отказ от отцовства в трех случаях, в которых отец имел право не только лишить сына наследства, но и изгнать его из семьи и лишить имени: во-первых, если сын часто спал вне отцовского дома; во-вторых, если он предавался позорным оргиям; и, наконец, если он погружался в грязные удовольствия. Поэтому в определенных обстоятельствах именно отец объединял в своих руках полномочия эдила и цензора против своего развратного сына. Такими же полномочиями обладал и опекун над своим подопечным. Но не только молодые люди были провокаторами и приверженцами проституции; мужчины зрелого возраста, самые серьезные, самые бородатые, часто входили в эту нечистую толпу, которая не дожидалась ночи, чтобы броситься в разврат. Мэр часто стыдился бы великих имен и благородных характеров, которые он мог обнаружить под плащами этих беглецов из дурных мест! Среди этих наглецов, составлявших активную армию проституции, было много разных категорий: одних называли *adventores*, потому что они охотились за женщинами и девушками, с которыми, как им казалось, было легко торговать; других называли *venatores*, потому что они охотились за всем, что сулило им новую добычу, не имея денег на руках, как первые; *Alcinoi juvenus* (юность Алкиноя) - так называли этих красивых мужчин-женщин, которые беспечно прогуливались по городу в своих праздничных одеждах, завитые, надушенные и украшенные, ища то тут, то там что-нибудь, что могло бы пробудить их желания, измученные ночным излишеством. *Салалупитии* были маленькими, очень умными, очень смешными людьми, которые не платили за внешность, но имели основания называть себя наследниками Геракла. Поэт Гораций хвастался, что он был одним из лучших дельцов, а император Август прозвал его *putissimum penem*, что сам он перевел как *homuncionem lepidissimum* (самый смешной человечек)! *Семитарии* были своего рода сатирами, с широкими плечами, толстыми, жилистыми шеями, сильными руками, пугливыми глазами и хитрым взглядом: они сидели в засаде в затопленных переулках, на опушке леса, посреди полей и подстерегали какую-нибудь несчастную проститутку; они захватывали ее силой, и, несмотря на ее крики, несмотря на ее усилия, им всегда все сходило с рук. Поскольку они обращались только к женщинам, которые считались обычными, закон об оскорблениях к

ним не применялся, и несчастная женщина, когда она вставала вся в синяках и пудре, могла найти только смех и издевки, чтобы утешить себя за свое злосудие. Наконец, любой женатый мужчина, попавший в публичный дом, становился *прелюбодеем*; тот, кто часто посещал места разврата, - *скорпионом*; тот, кто жил с куртизанками, ел с ними и позорил себя в их обществе, назывался *mæchus*. Цицерон обвиняет Катилину в том, что он создал себе преторианскую когорту *скортаторов*; поэт Луцилий говорит, что женатый человек, который совершает неверность по отношению к своей жене, также несет наказание за прелюбодейство, поскольку он *прелюбодействует* по имени; А старый сколиаст Марциал предполагает, что слово *adulter* применялось к прелюбодейству случайно или по случаю, тогда как слово *mæchus* выражало прежде всего привычку, нормальное состояние прелюбодейства. Латинский язык любит уменьшительные, как и увеличительные; поэтому он увеличил существительное *mæchus*, создав *mæchocinædus*, которое включало несколько видов разврата в одно слово; в то же время он искал уменьшительное от глагола *mæchor*, говоря *mæchisso*, что означало более или менее то же самое, с немного большей деликатностью. Но в греческом языке, из которого был заимствован *mæchus*, было десять или двенадцать различных слов, образованных из одного и того же источника, чтобы выразить оттенки и разновидности *μοιχεύω* и *μοιχός*.

Любой мужчина, который еще уважал себя, шел в места проституции, только скрыв лицо и завернув голову в плащ. Никто, кроме того, не должен был требовать от него отчета за маскировку, которую он считал нужным принять. Так, когда Гелиогабал отправлялся ночью посетить злосудные места Рима, он входил туда, прикрывшись плащом погонщика, чтобы его не узнали: *Tectus cucullione mulionico, ne agnosceretur, ingressus*, сказал Лампридий. Сам эдил не позволил бы поднять этот чепец, что показало бы его императором; но он очень строго следил за соблюдением, особенно днем и на общественных дорогах, предписаний сената, запрещавших зарегистрированным или лицензированным метискам использовать палантин или длинное платье, головные повязки, пурпурные туники и даже, в разное время, золотую вышивку и украшения. Эти сенатские постановления в разное время продлевались императорами, и их применение иногда встречало слабость или небрежность со стороны советников, которые не наказывали все проступки одинаково. Например, в театре и цирке великих куртизанок часто можно было увидеть одетыми как королевы, сверкающими золотом и драгоценностями; они не охотно соглашались носить желтые тоги или туники и цветистые далматики: "Кто носит цветистые одежды, - говорит Марциал, - и кто позволяет меркантильной нарушать скромность матроны, одетой в палантин?" Женщина, посвятившая себя проституции, лишалась статуса матроны, а сама она отказывалась появляться на публике в тоге и знаках отличия честных женщин: запись в реестре эдилов делала ее недостойной длинного, свободного платья, известного как платье матроны. Марциал высмеивал подарки, посылаемые проститутке (*mæcham*): "Ты даришь алые и пурпурные одежды знаменитой куртизанке! Хочешь сделать ей подарок, который она заслужила? Пошлите ей тогу". Тога в ранние времена существования римских институтов была общей для обоих полов; но когда вторжение иноземных женщин в Республику потребовало принятия одежды, свойственной матронам, последние приняли палантин, который ниспадал длинными складками до пят и так скромно скрывал горло, что его форма была едва заметна под шерстью или бельем. Тога или туника без рукавов оставалась одеждой мужчин и в то же время женщин, которые потеряли привилегии своего пола вместе с правами и почестями, предназначенными для матрон. Это было, пожалуй, главное правило одежды, которого придерживались советники.

Кроме того, существовало множество других запретов и менее важных предписаний, касающихся одежды матрон, но они столько раз видоизменялись, что трудно зафиксировать

их в общем виде и присвоить им определенный период. Обувь и прически куртизанок регулировались так же, как и их одежда; тем не менее, городской совет был менее строг в отношении этих деталей их убранства. Поскольку матроны переняли у куртизанок бродекен (*soccus*), им больше не разрешалось носить их, и они были обязаны ходить босиком в сандалиях или тапочках (*crepida* и *solea*), которые они пристегивали к ноге золотыми ремешками. Тибулл любит изображать маленькую ножку своей госпожи, сжатую стягивающими ее ремнями: *Ansaque compressos colligat arcta pedes*. Обнажение женских ног было признаком проституции, а их ослепительная белизна служила сдерживающим фактором, привлекая внимание и желание. Иногда их сандалии или тапочки были полностью позолочены: *Auro pedibus induto*, сказал Плиний, имея в виду этот великолепный знак бесчестия. Иногда, чтобы имитировать цвет золота, они надевали только желтые туфли, хотя изначально это была обувь новобрачных: "На белоснежной ноге желтый бродеквин", - говорит Катулл. Но молодожены старались не надевать сандалии или тапочки, а куртизанки не осмелились бы надеть желтые бродекены.

Матроны также приняли головной убор, который они не позволяли узурпировать куртизанкам: широкая белая лента, служившая одновременно и галстуком, и украшением для волос. В героические времена Рима эта лента, вероятно, напоминала ту, что украшала головы телок и овец, приносимых в жертву богам. Матрона сама приносила себя в жертву на алтарях скромности, как бы напоминая, что культ богов-родоначальников когда-то получал в качестве подношения девственность. Не куртизанки, а целомудренные женщины получили право носить головные повязки вокруг гладких блестящих волос; девственницам разрешалась одинарная повязка, которая делала их узнаваемыми, в то время как двойная повязка оставалась уделом исключительно матрон: "Далеко отсюда!" - восклицает Овидий в "*Искусстве любви*", - "далеко, тонкие повязки (*vittae tenues*), значок скромности! Прочь, длинная туника, закрывающая половину ног! Эта туника или длинное платье (*insista*), обычно окантованное по низу пурпуром, были не менее характерны для римской матроны, чем ленты, которые так изящно обрамляли ее черные волосы и удерживали их заплетенные кольца за головой. Помимо этих одинарных или двойных повязок, куртизанки были вольны выбирать прически, которые им больше нравились. Мы уже упоминали, что они закутывали голову в *паллиолум*, полупальто из ткани, и опускали на лицо капус, в то время как матроны повсюду появлялись с непокрытыми лицами и обнаженными головами, чтобы показать, что им не в чем себя упрекнуть и что они не краснеют под взглядом публики, их вечного судьи. На протяжении нескольких веков эти гордые римлянки считали, что позорят себя, пряча волосы, окрашивая их, пудря и придавая им черный цвет; они даже смирились с тем, что делят их на косы, которые наматывают вокруг макушки или висков, только чтобы отличаться от молодых незамужних девушек (*innuptae*), чьи вьющиеся волосы привели к тому, что их прозвали *cirratæ*. Куртизанки без колебаний копировали различные типы причесок, принятые у матрон и *cirratæ*, но меняли свой облик за счет различных оттенков, которые они придавали своим волосам: Иногда они красили волосы в желтый цвет шафраном, иногда в красный - свекольным соком, иногда в синий - пастелью; иногда они просто ослабляли блеск своих черных волос, натирая их душистой золой; Затем, когда императоры создали себе некий божественный ореол, посыпав волосы золотым порошком, куртизанки первыми присвоили себе моду, которую считали своей, и заняли место напротив цезарей на общественных праздниках и торжественных играх, опоясав лоб золотыми волосами, подобно богиням в храмах. Но их божественность длилась недолго, и золотой порошок был им запрещен; они заменили его другим, из гауды, который не так ярко блестел на солнце, но был мягче для глаз. Те, кого прельщал голубой цвет, в свою очередь, пудрили волосы толченым ляписом: "Пусть все муки Тенеаруса покарают глупца, из-за которого твои волосы потеряли свой естественный оттенок!" - кричал Проперций, стоя на коленях у своей госпожи.

Радуй меня почаще, моя Синти; этой цене ты будешь красива и всегда прекрасна в моих глазах. Если безумная женщина красит лицо и волосы в голубой цвет, следует ли из этого, что она красивее?" Эдил вел войну с золотыми волосами куртизанок; но он не препятствовал им красить волосы в синий или желтый цвет, а даже поощрял их к этому, поскольку это были их отличительные цвета (*cærulea et lutea*): синий - в честь морской пены, родившей Венеру, и некоторых рыб, родившихся одновременно с ней; желтый - в честь золота, которое было истинным богом их бесчестного промысла.

У городских советников было бы слишком много работы, если бы они должны были фиксировать, судить и наказывать все нарушения субординации, которым предавались меринки; они закрывали глаза на множество мелких проступков такого рода, которые прощались женским кокетством. Однако в целом зарегистрированные женщины не стремились выдавать себя за матрон и предпочитали следовать иностранной моде, которая была присуща только им и привлекала внимание их клиентуры издалека. Например, они чаще носили одежду, у которой даже не было названия на римском языке: *вавилонийские жилеты* и *серикские жилеты*. *Вавилонские жилеты* представляли собой нечто вроде набедренной повязки, застегивающейся спереди на пятках, из расписных, разноцветных, цветочных или вышитых тысячами цветов тканей. Куртизанки Тира и Вавилона привезли в Рим этот национальный костюм, древнюю ливрею проституции. Они назывались *жакетами сериче*, просторными платьями из шелковой ткани, настолько легкими и прозрачными, что, по словам одного из очевидцев, они, казалось, были придуманы для того, чтобы лучше показать то, что они, казалось, скрывали. Куртизанки Индии одевались не иначе, и среди марли их можно было увидеть абсолютно обнаженными. "Шелковые одежды, - с негодованием говорит целомудренный автор "*Трактата о пользе*", - шелковые одежды, если их вообще можно назвать одеждой, в которых нет ни одной части тела, которую могла бы защитить скромность, в которых женщине было бы очень неловко клясться, что она не обнажена; одежды, которые, кажется, были изобретены для того, чтобы наши матроны не могли показать своим прелюбодеям в спальне больше, чем на людях!" У Сенеки была особая неприязнь к этой азиатской моде, и он снова возвращается к ней в "*Спорах*": "Жалкое стадо слуг прилагает все усилия, чтобы эта прелюбодейка демонстрировала свою наготу под пеленой, и чтобы муж не знал о тайных прелестях своей жены лучше, чем первый попавшийся незнакомец". Вавилонские платья, хотя и более приличные, чем тирские ткани, которые латинский поэт сравнивает с паром (*ventus textilis*), чаще всего выбирались меркантильными женщинами; ведь нужно было быть очень уверенным в своих скрытых совершенствах, чтобы так их демонстрировать. Во всех случаях это непристойное зрелище не подлежало порицанию со стороны городского советника, и женщины, зарегистрированные или нет, которые предавались этому воздушному костюму, не пытались подражать матронам. То же самое можно сказать и о тех, кто одевался в вавилонском стиле, с восточными далматами, которые честный человек постеснялся бы носить на людях, и которые сияли самыми яркими красками: "Расписные ткани, сотканые в Вавилоне, - говорит Марциал, - и вышитые иглой Семирамиды".

Куртизанки, послушно подчинявшиеся профессиональной тоге, добавляли к ней *амикулум* - короткий плащ, состоявший из двух частей, сшитых вместе внизу и застегивавшихся через левое плечо на пуговицу или застежку, так что для продевания рук оставалось два отверстия. Этот амикулум, чье галантное название равнозначно слову "*парень*", не опускался ниже талии; он имел примерно такой же вид, как и мужская хламида; им пользовались исключительно женщины дурного тона. Исидор Севильский в своих "*Этимологиях*" утверждает, что эта одежда была настолько известна по своему назначению, что матрону, уличенную в прелюбодеянии, заставляли надевать амикулум, чтобы амикулум привлек к

нему часть того порицания, которое выпадало на долю римской краги. Этот мантилет, который по-гречески назывался *κυκλας* (*cyclas*) и который никогда не казался греческим женщинам бесчестным, несомненно, был привезен в Рим гетайрами, которые завещали ему свой позор. Цвет амикулума, по-видимому, был белым, так как он был сделан из льна. Тога, надевавшаяся под него, почти всегда была зеленой, цвета Приапа, бога садов. Комментаторы много пишут об оттенках этого зеленого: одни делают его бледным, другие - темным; одни придают ему золотистый блеск, другие - желтоватый оттенок. Как бы то ни было, этот зеленый (*galbanus*) был монополизирован распутниками обоих полов настолько, что их называли *galbanati*, одетыми в зеленое; эпитет *galbani* применялся к распущенным нравам; *galbana* - так называли тонкую, рваную ткань бледно-зеленого цвета. Вописк показывает нам развратника, одетого в алую хламиду и зеленую тунику с длинными рукавами. Ювенал показывает нам другого, одетого в синее и зеленое (*cærulea indutus scutulata aut galbana rasa*). Наконец, между зеленым цветом и его обладателем существовало такое сродство, что *galbanatus* стало синонимом *giton* или *cute*.

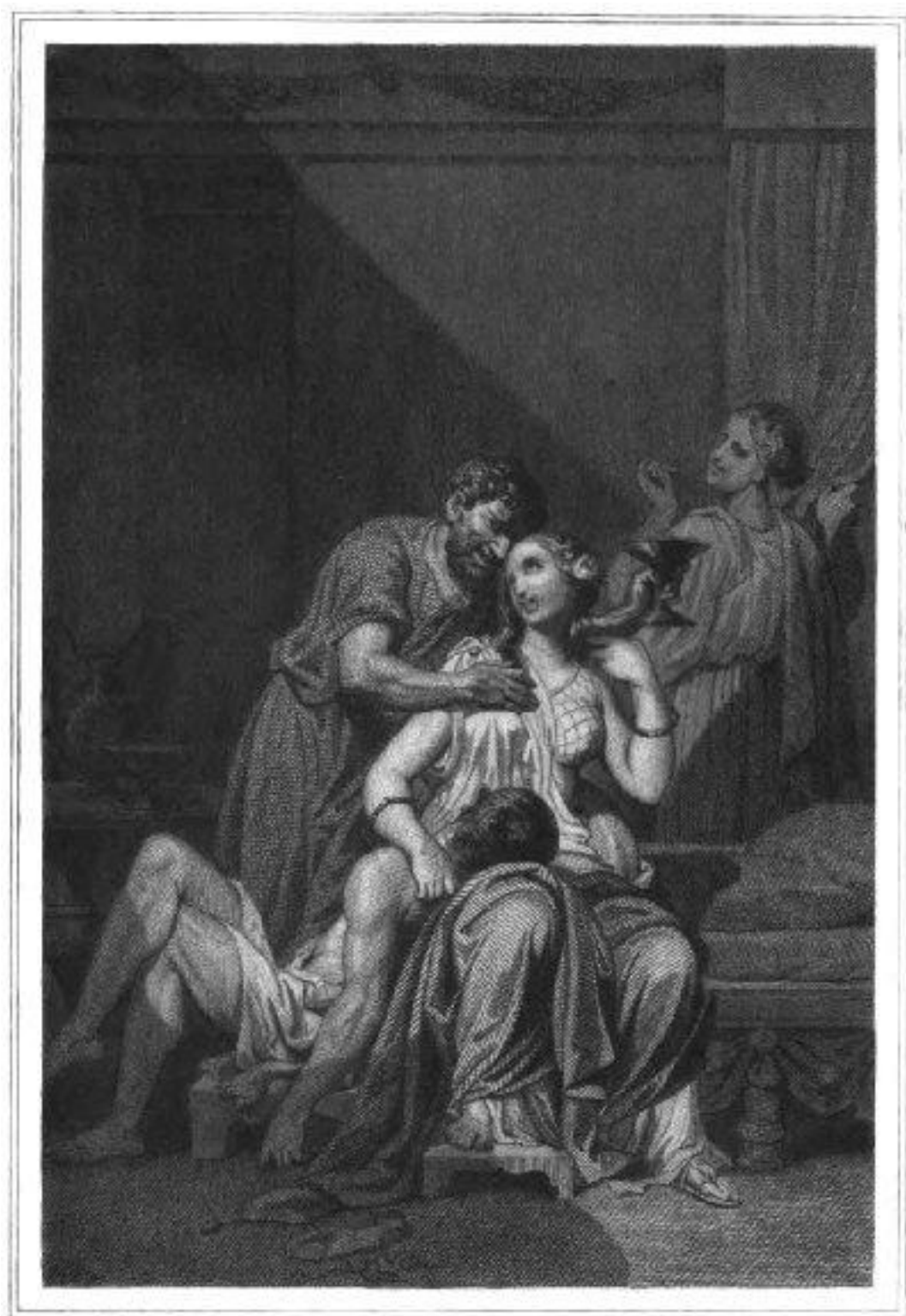
Все иностранные моды по праву принадлежали куртизанкам, утратившим звание гражданок и, к тому же, в большинстве своем приехавшим из чужих стран. Их церемониальный головной убор, поскольку сарисе или *cuculle* (*cucullus*) использовался только вечером или утром, чтобы пойти в лупанар и выйти из него; головной убор, который они носили предпочтительно в театре и общественных церемониях, где их присутствие было терпимым; этот головной убор, который долгое время был им присущ, достаточно свидетельствовал о том, что проституция началась на Востоке, и что Рим оставил ей свой национальный костюм. Существовало три типа головных уборов, специально предназначенных для меркантильных женщин Рима: митра, тиара и нимб. Нимб, по-видимому, был египетским; он представлял собой полосу ткани разной ширины, которую повязывали вокруг лба, чтобы уменьшить его высоту. Римляне, как и греки, не восхищались большими лбами у женщин, и женщины стремились скрыть свой, который был выше и заметнее, чем лбы гречанок. Нимб или головная повязка иногда украшалась золотыми орнаментами, а два ее конца свисали вниз по обе стороны головы, подобно лентам, которые спускаются над сосками сфинкса. Митра, очевидно, происходила из Малой Азии, Халдеи или Фригии, в зависимости от того, была ли она более или менее конической. Диадема пришла из Иудеи и Персии. Диадема, сделанная из яркой цветной ткани, имела цилиндрическую форму и напоминала остроконечные купола храмов Индии; митра, напротив, имела форму конуса, а иногда шлема или раковины. Это была фригийская митра, которую художники традиционно приписывали троянскому пастуху Парису, судившему трех богинь и отдавшему яблоко Венере. Этих мифологических воспоминаний было достаточно, чтобы оправдать принятие этого изогнутого чепца как эмблемы свободы выбора и удовольствия. Что касается пирамидальной митры, то она имела две подвески, как нимб, с каймой вокруг лба; будучи знаком отличия древних царей Персии и Ассирии, она по-прежнему с дерзкой царственностью венчала куртизанок Рима, которые царствовали в митре или нимбе (*nimbatae* и *mitratae*) на театральных представлениях и цирковых играх, не платя штрафа цензору или мэру. Позже название этой гордой прически стало для них пренебрежительным прозвищем.

Но городские советники, разрешив матронам быть одетыми, причесанными и обутыми, как королевы Тира и Ниневии, тщательно следили за тем, чтобы у них не было ни урны, ни какой-либо повозки. Только матроны имели право на то, чтобы их возили на машинах, лошадях или рабах, и очень ревностно относились к этой привилегии. В первые века существования Рима они уже пользовались грубой повозкой, изобретение которой приписывалось Карменте, матери Эвандера; а поскольку эта повозка, представлявшая собой нечто вроде закрытой тележки на колесах, оказывала большую услугу тучным женщинам, не способным ходить, ее

изобретатель был обожествлен и получил право руководить родами. В те времена римляне не терпели мягкости и роскоши даже среди женщин: сенат запретил использовать повозки Кармента. Женщины, особенно те, которые оказались беременными, протестовали против слишком строгого постановления сената и заключили между собой договор, поклявшись отказаться от супружеских обязанностей и не рожать детей для своей страны, пока постановление не будет отменено. Они так безжалостно отвергали своих мужей, что те умоляли Сенат отменить злополучный закон, лишивший их жен. Жены, довольные своим триумфом, воздали почести богине Карменте и воздвигли ей храм на склонах горы Капитолий. После этого памятного события, о котором Гравий в своих "Римских древностях" приводит несколько версий, у матрон остались их повозки, лишившиеся колес, которые, вместо того чтобы катиться по неровной мостовой, бережно несли люди или лошади. Эти повозки были двух видов: бастерна (*basterna*) и литра (*lectica*); первая, поддерживаемая на носилках, которые два мула несли медленным шагом, представляла собой нечто вроде подвесного, закрытого и застекленного шкафа: "Прекрасная мера предосторожности, - говорит поэт, давший нам это описание, - чтобы целомудренная матрона, проходя по улицам, не была осквернена взглядами прохожих". Подстилку, также покрытую и закрытую, несли мужчины. Они были самых разных форм и размеров, от кресла, *cella*, которое мог использовать только один человек, до осьминогов, которые раскачивались на плечах восьми носильщиков. В одном из них женщина сидела, в другом - лежала на подушках, часто с двумя или тремя спутниками. Роскошь вошла в литеры вместе со всем, что способствовало мягкой и сладострастной жизни: литеры были расписаны, позолочены снаружи и обиты изнутри мехами и шелком. Именно тогда куртизанки захотели захватить их в свое пользование.

На какое-то время им это удалось, но эдил лишь ослабил свою строгость, допустив несколько исключений, сделанных в пользу и богатство. При нескольких императорах появились знаменитые меринки в пометах. Эти привилегированные женщины не довольствовались закрытыми повозками, которые бесшумно проезжали по улицам, не показывая своего содержимого. Этот вид транспорта был усовершенствован: салон превратился в настоящую спальню, и, по словам одного из комментаторов, они стали передвижными борделями. Были и открытые, занавешенные литавры, в которые с вождением заглядывал взгляд прохожего. Иногда кожаные или матерчатые занавески были задернуты, но женщина приподнимала угол, чтобы видеть и быть увиденной. Ослабление нравов умножило количество урн в Риме, а вместе с тем и преимущества, которые извлекали из них элегантные проститутки. Сами матроны уже не удивлялись тому, что их путают с куртизанками: "Тогда наши женщины, римские матроны, - с грустью говорит Сенека, - раскинулись в своих каретах, словно для того, чтобы выставить себя на аукцион! Одни искали таким образом приключений, другие отправлялись на свидания. Повозка останавливалась на углу площади или в укромном уголке; носильщики ставили ее на землю и сторожили; тем не менее дверь была полуоткрыта, и в это неприкосновенное убежище вошел красивый подросток. Оставалось неясным, пуста ли подстилка или занята. Куртизанки, кроме того, подавали пример матронам; их можно было встретить не только в закрытых каретах, но и повсюду в открытых креслах, *in patente sella*, как выражался Сенека. Один из сколистов Ювенала проявляет скорее фантазию, чем критику, когда предполагает, что девушки, занимавшиеся проституцией в каретах, назывались *sellariæ*, в отличие от *cellariæ*, которые были обитательницами подвалов в борделях. Ювенал даже не говорит, что в кресло Кионы садились по мимолетной прихоти; напротив, он говорит: "Ты медлишь, чтобы заставить прекрасную Киону встать с седалища!". Но Пьер Шеффер в своем трактате *De re vehiculari* считает, что при определенных обстоятельствах карета превращалась в передвижное место проституции. Несомненно, именно по этой причине Домициан запретил

пользоваться литаврами не только зарегистрированным меркантильным женщинам, но даже всем женщинам, отмеченным дурной славой (*probrosis feminis*).



- H Cabasson del.
- Drouart, imp. r. du Fouarre, 11, Paris
- A. Garnier, sc.

MESSALINE.

У городских советников были и другие запреты отношении этих женщин; несомненно, что в разное время им запрещалось носить пурпур и золото. Но полицейские предписания вскоре изнемогали от упорства пола, который любит ухаживать и с трудом переносит кокетливые лишения. Некоторые антиквары считают, что в Риме существовал закон, запрещавший женщинам с дурной репутацией использовать золотые украшения и драгоценные ткани, кроме как в местах разврата и при занятиях своим ремеслом за закрытыми дверями. Если такой закон и существовал, то действовал он недолго, или, по крайней мере, его часто нарушали, поскольку поэты часто изображают куртизанок, одетых в пурпур и украшенных драгоценностями. Овидий в "Ремеде о любви", описывая туалет куртизанки или, по крайней мере, женщины удовольствий, похоже, не вспоминает о законах о роскоши: "Драгоценности и золото покрывают ее полностью, так что ее красота составляет наименьшую часть ее стоимости". Плавт в одной из своих комедий изображает *позолоченную* куртизанку, но он, кажется, говорит, что это было чем-то новым в Риме: *Sed vestita, aurata, ornata, ut lepide! ut concinne! ut nove!* Ювенал изображает куртизанку в гостинице, ее обнаженную голову окружает золотой нимб (*quæ nudis longum ostendit cervicibus aurum*); и все же он явно намекает на привилегию матрон носить одни только драгоценные камни и серьги, в этих стихах, где он говорит, что женщина с изумрудами на шее и жемчугом в ушах может делать все и ничего не стыдится:

Nil non permittit mulier, sibi turpe putat nil,  
Cum virides gemmas collo circumdedit et cum  
Auribus externis magnos commisit elenchos.

Апулей подтверждает свидетельство Ювенала: "Золото ее драгоценностей, золото ее одежд, здесь пряденное, там обработанное, с самого начала возвещало, что она - матрона". Тем не менее, мы знаем, что закон Оппия запрещал всем женщинам носить пурпур, оставляя его для мужчин. Нерон возобновил этот запрет, который не был окончательно снят до правления Аврелиана; но он всегда должен был оставаться для куртизанок и женщин, считавшихся позорными, по мнению итальянского ученого Сантинелли, который не учел, что у древних было несколько видов пурпура, и только один, самый ослепительный, был знаком власти. Плебейский или фиолетовый пурпур, конечно, не был включен в запретительные законы, которые императоры Востока ограничивали, преувеличивая их, императорским пурпуром (*purpura*). Феррариус в своем трактате *De re vestiaria*, чтобы примирить эти противоречивые авторитеты, утверждает, что куртизанкам разрешалось носить на себе золото и пурпур, даже на публике, при условии, что пурпур не наносился полосами на одежду, а золото не наматывалось полосами на волосы. Лучше поверить в то, что свод правил, касающихся куртизанок, претерпевал частые изменения, зависящие то от сената, то от императора, то от эдила, и что влияния одного из этих правителей того времени или, скорее, заслуг одного из их любовников было достаточно, чтобы заставить отказаться от древних обычаев, только чтобы они вновь обрели силу закона под другим, более почетным влиянием. В Риме, как и во всех городах, где проституция была подчинена полицейским правилам, женщины с дурной репутацией, хотя и были терпимы и разрешены, подвергались строгим мерам, которые часто напоминали преследования, но всегда имели целью подавление излишеств и исправление злоупотреблений общественной морали.

---

## ГЛАВА XIX.

Резюме.-Элегантная проституция.-Хорошие меркантильные женщины.-Их любовники.-Разница между великими куртизанками Рима и греческими куртизанками.-Цицерон в

Цитерисе. - *Прециозы и фамозы. - Их любовники. - Священный путь. - Прогулки куртизанок. - Что Ювенал говорит о римских женщинах - Огульня - Портрет Ювенала Сергия, любимца Гиппия - Непристойный гладиатор* Петрония - Приспешники Венеры *Обратной* - То, что в Риме называлось *дозволенными удовольствиями. - Немой язык meretricium - Средний палец - Signum infame* - Почему *medius* был обречен на позор у греков - *Охота глазами и воровство ушами - Gesticulariæ* - Любовь к пантомиме - Обычный запас разговорного языка Рима. - Латинский эротический язык - *Сестра* и брат - *Сестра слева и младший брат* - Эротические и сотадиические сочинения или *molles libri* - Тайная библиотека куртизанок и развратников - Развратные книги Греции и Рима, уничтоженные Отцами Церкви.

В Риме существовала форма проституции, которая, конечно же, никак не подчинялась городским советникам, условия, что она не узурпировала *гардеробные* прерогативы матрон. Такую проституцию можно было назвать сладострастной и пышной, той, которую в латинском языке называют *хорошей (bonum meretricium)*. Женщин, которые ее обслуживали, называли также *bonæ mulieres (хорошими меритрисками)*, чтобы обозначить совершенство жанра; эти куртизанки, в самом деле, вполне могли быть внесены в городские реестры как иностранки, вольноотпущенницы или музыканты, но у них не было аналогов с несчастными рабынями публичного недержания; Их никогда нельзя было найти в девятом часу дня с головой, закутанной в паллиолум или спрятанной под чепцом, бегущими в бордель или ищущими приключений; Их никогда не ловили на улицах и перекрестках во время ночного разврата; их никогда не находили в общежитиях, тавернах, общественных банях, пекарнях и других подозрительных местах; Наконец, несмотря на то, что они были печально известны, как и другие, никто не стеснялся появляться с ними на людях или объявлять себя их любовником, потому что у большинства из них были привилегированные любовники, *amasii* или *amici*, и эти любовники были как бы более или менее блестящими плащами, скрывавшими их корыстные любовные связи. Они составляли аристократию проституции и, как и в Греции, в Риме оказывали огромное влияние на моду, нравы, искусство, литературу и все аспекты патрицианской жизни. Но ни в коем случае они не имели никакого влияния на политику или государственные дела; они не вмешивались, как греческие женщины, в общественные дела и управление; они всегда жили вне форума и сената; Они довольствовались тем влиянием, которое давали им их красота и остроумие в маленьком мире галантности, благоухающем, элегантном и развращенном мире, кодекс которого Овидий написал под названием "*Искусство любви*", а поэтические историографы - Проперций, Катулл и множество эротических писателей, которых античность, похоже, из скромности обрекли на забвение.

Эти знаменитые куртизанки походили на афинских куртизанок настолько, насколько Рим мог походить на город Минервы; настолько, насколько римский характер мог походить на афинский. Но потомки Эвандера были слишком горды своим происхождением и слишком глубоко прониклись величием звания римского гражданина, чтобы возводить в культ восхищение и уважение к женщинам, иностранцам и дурным людям, какими бы приятными они ни были в остальном. Куртизанка, желающая получить власть над консульским сенатором, магистратом или военачальником, позорила бы человека, который подчинялся этой позорной зависимости, этому нелепому подчинению. Самые серьезные, самые строгие государственные деятели не лишали себя удовольствия посещать куртизанок и приобщаться к тайнам их близости; сам Цицерон обедал у Цитерис, которая до освобождения Евтрапелом была рабыней и стала любимой любовницей триумвира Антония. Однако эти постоянные отношения между куртизанками и самыми важными фигурами республики обычно ограничивались интерьером дома удовольствий или виллы, куда не мог проникнуть любопытный глаз народа. На улицах, на набережной, в цирке, в театре если и появлялись

модные куртизанки, драгоценные и знаменитые (*famosæ et preciosæ*) в окружении толпы жаждущих любителей (*amatores*), то это были молодые развратники, заставлявшие стыдиться свои семьи, вольноотпущенники, чье нажитое богатство не смыло пятно рабства; Это были художники, поэты и комедианты, которые охотно ставили себя выше общественного мнения; это были замаскированные ленники, которые, естественно, искали наилучшие возможности для торговли и корысти. Среди римлян самая триумфальная куртизанка видела вокруг себя только людей дурной репутации, за исключением ужинов и званых обедов, на которых она иногда собирала ведущих граждан Рима, злоупотреблявших разнузданностью частной жизни за закрытыми дверями.

Вечером нужно было отправиться на Виа Сакра, ежедневное место встречи роскоши, разврата и гордыни, чтобы увидеть, насколько многочисленной и блестящей была эта армия модных куртизанок, которые занимали Рим как завоеванный город и брали больше пленников и жертв, чем галлы при Бреннусе. Они приходили туда каждый день, чтобы продемонстрировать кокетство, ухоженность и наглость в окружении матрон, которых они затмевали своими прелестями и нарядами. Иногда крепкие абиссинцы возили их в открытых повозках, где они лежали полуобнаженные, с зеркалом из полированного серебра в руках, с браслетами на руках, кольцами на пальцах, склоненными под тяжестью серег, нимбов и золотых игл головами; По бокам от них хорошенькие рабыни охлаждали воздух большими веерами из павлиньих перьев; впереди и позади ликторов шествовали евнухи и дети, флейтисты и шуты-карлики. Иногда, сидя или стоя в легких колесницах, они сами стремительно управляли лошадьми, стараясь обогнать друг друга, как будто боролись за скорость в карьере. Часто они ездили на прекрасных конях, которыми управляли с таким же мастерством, как и дерзостью; или на прекрасных испанских мулах, которых негр вел за уздечку. Менее состоятельные, менее амбициозные и менее буйные шли пешком, элегантно одетые в яркие шерстяные или шелковые ткани, с искусством уложенные в косы волосы, образующие светлые или золотые диадемы, переплетенные жемчугом и драгоценными камнями; Некоторые играли с хрустальными или янтарными шариками, чтобы сохранить свежесть и белизну рук; другие носили зонтики, зеркала и веера, если у них не было рабов, чтобы носить их за них, но у каждой был по крайней мере один слуга, который следовал за ней или сопровождал ее, как незаменимый эmissар. Как видите, все эти куртизанки не были одинаковы по богатству и знатности, но они были похожи только в одном: они не числились в реестрах городского совета и поэтому были освобождены от полицейских предписаний о проституции, поскольку у них не было облагаемой налогом цены, зарегистрированного и признанного *pot de guerre*, одним словом, права заниматься своим ремеслом в публичных борделях. Они старались не просить у мэра унизительную *licentia stupri*, но не заблуждались, что занимаются проституцией, как будто получили лицензию. Впрочем, в этом отношении их не беспокоили, если они не слишком откровенно оскорбляли военную юрисдикцию, предаваясь разврату в общественных местах без выбора (*sine delectu*).

Эти распутные женщины в изобилии встречались на Виа Сакра, и, если верить Проперцию, они не отходили от нее, чтобы удовлетворить манящего их прохожего: "О, как я предпочитаю, - говорит он в своих элегиях, - ту свободную женщину, которая проходит мимо с полураспахнутым платьем, не боясь аргуса и ревнивца; которая постоянно изнашивает мостовую Виа Сакра своими грязными кутурнами и не заставляет себя ждать, если кто-то хочет к ней подойти! Она никогда не задержится, не попросит у вас неосторожно денег, о которых скупой отец часто жалеет, что дал их сыну; она не скажет вам: я боюсь, скорее вставайте, умоляю вас! (*Nec dicet: Timeo! propera jam surgere, quæso!*) Эта бегунья на Виа Сакра, как мы видим, зарабатывала себе на жизнь среди бела дня, не обращая внимания ни на мэра, ни на полицейские законы. Проперций даже говорит о том, что она вряд ли

соблюдала меры предосторожности, уклоняясь от Виа Сакра, которая начиналась у Амфитеатра и вела к Колизею, огибая Храм Мира и площадь Цезаря. В окрестностях Колизея было достаточно роц и лесов, священных или нет, где блуждающая любовь могла встретить только народ статуй и терминов, которые ее не беспокоили. Кроме того, бани, трактиры, кабаре, пекарни и цирюльни всегда были открыты для анонимных проституток, общим местом встречи которых был Священный путь. Сюда же приезжали и матроны, в большинстве своем на подводе или в карете, особенно в те времена, когда они получали исключительную привилегию кресла и подводу (*sellæ et lecticæ*); в эти времена неслыханной коррупции они одевались не намного приличнее, чем профессиональные куртизанки; Как и последние, они раскидывались на шелковых подушках в не менее нескромном наряде, который делали нескромным ленты головного убора и пурпур плаща с длинными, ниспадающими складками, окруженные рабами и евнухами, которые несли веера, чтобы отгонять мух, и палки, чтобы отгонять толпу. Эти матроны, наследницы величайших фамилий Рима, эти жены и матери, перед которыми в почтении склонялся закон, при императорах отвыкли от целомудренных и строгих добродетелей своих предков. Те, кто появлялся на Священном пути, чтобы продемонстрировать пышность своего туалета и атрибутику своей процессии, часто имели целью выбрать любовника или, скорее, гнусного и постыдного помощника для своего разврата. Их некрасивые и старые девы, - пишет М. Валькенер в своей прекрасной "Истории жизни Горация", - благодушно отходили в сторону при приближении женоподобных юношей (*effeminati*), чьи пальцы были унизаны кольцами, их тоги всегда были элегантно задрапированы, волосы расчесаны и надушены, их лица пестрели теми маленькими мушками, с помощью которых наши дамы в прошлом веке пытались сделать свою физиономию более пикантной". В этих же местах находились и мужчины, чьи атлетические формы подчеркивались их нарядами, и которые, казалось, с гордостью демонстрировали свою мускулистую силу. Их стремительный, боевой марш составлял полный контраст со спокойным воздухом и медленным, размеренным шагом молодых девушек с тщательно завитыми волосами и раскрасневшимися щеками, бросающих соблазнительные взгляды из стороны в сторону. Эти два вида променадистов обычно были не более чем гладиаторами и рабами; но некоторые женщины высокого ранга выбирали себе любовников из низших слоев общества, а их молодые и красивые последовательницы оберегали себя от посягательств мужчин своего положения и поддавались соблазнам только рыцарей и сенаторов".

Мы полностью воспроизвели это живописное произведение, черты которого ученый академик почерпнул у Марциала, Аулу-гелла, Цицерона, Сенеки и Горация; но мы сожалеем об отсутствии многих деталей морали, которые Ювенал, непримиримый Ювенал, мог бы добавить к этой картине набережных Рима: "Знатные или плебеи, восклицает Ювенал в своей ужасной сатире на женщин, все одинаково развратны. Та, что ступает по грязи мостовой, ничем не лучше матроны, которую несут на голове ее великие сирийцы. Чтобы показаться на играх, Огульни арендует туалет, процессию, подстилку, подушку, прислугу, няньку и светловолосую девушку, которая выполняет ее приказы. Бедная, она щедро тратит все, что осталось от отцовского серебра, на безбородых атлетов: отдает все до последнего клочка... Только евнухи-импотенты с их нежными ласками и безбородыми подбородками очаровывают некоторых из них; ведь им не нужно готовить аборт". Сатиры Ювенала и Персия полны ужасных проституций, которым римские дамы предавались почти публично, и героями которых были позорные гистрионы, мерзкие рабыни, позорные евнухи, зверские гладиаторы. Ювенал рисует ужасающий портрет Сергия, фаворита Гиппии, жены сенатора: "Бедный Сергий уже начал брить подбородок (то есть ему было сорок пять лет), а потеряв руку, он имел полное право уйти в отставку. Более того, его лицо было покрыто уродствами: огромная лупа, которая провисала под шлемом и падала на середину носа; маленькие,

исцарапанные глаза, от которых постоянно исходило едкое настроение. Но он был гладиатором: такие люди становятся гиацентами, и Гиппия предпочла его своим детям, своей стране, своей сестре и своему мужу. Так что женщины любят меч". Мы должны видеть в Петронии отвратительную роль, которую играет *непристойный гладиатор*; но только латынь достаточно смела, чтобы выразить все тайны римского разврата. "Есть женщины, - говорит Петроний в другом месте, - которые уводят своих возлюбленных в трясины и чьи чувства возбуждаются только при виде раба, лакея с закатанным платьем. Другие обожают гладиатора, напудренного мулота, гистриона, демонстрирующего свои прелести на сцене. Моя госпожа - одна из них: она пересекает ярусы сената, четырнадцать скамей рыцарей и отправляется в самую высокую часть амфитеатра, чтобы найти предмет своего плебейского огня".

Священный путь, портики, Аппиева дорога и все прогулочные места в Риме были, таким образом, часто посещаемы жалкими агентами женской проституции, а также куртизанками и женщинами легкого поведения, одиозными приспешниками Венеры Аверса, а также либертинами всех школ и рангов. Но, надо признать, в присутствии этого разнообразия детей и развратных мужчин, выставляющих напоказ свою порочность, куртизанки казались почти честными и респектабельными; К тому же они не были столь многочисленны и бесстыдны, как эти нечистые *чаттемиты*, эти грязные *гитоны*, эти бесстыдные *спадоны*, эти слабоумные мужчины всех возрастов, которые, свернувшись калачиком, украшенные, намазанные маслом и покрашенные, как женщины, только и ждали знака или призыва, чтобы предаться всем самым отвратительным ремеслам. Леноны и лэны всегда были на ногах, начеку, быстры и послушны в своих подходах и переговорах. Они не просто перевозили планшеты и любовные письма: они выступали в роли прямых посредников, назначая цену, указывая место встречи, устраняя препятствия на пути к интервью, обеспечивая маскировку, ночной плащ, комнату, подстилку - все, что было нужно влюбленным. В любой момент к красивому патрицию могла подойти старуха и тайком передать ему таблички из слоновой кости, на воске которых стилем было выгравировано имя, слово или клятва: она была куртизанкой, затаившей злобу на этого благородного и гордого потомка Катона и Сципиона. Вдруг нубиец коснулся плеча милашки, отличавшегося большими серьгами и длинными волосами: это был старый развратный сенатор, который звал к себе этого мужчину, превращенного в женщину. В другом месте крепкий водовоз, случайно проходивший мимо, был желанным для двух прекрасных дам, которые заметили его одновременно и спорили, кто первым пожертвует своей честью этому кавалеру: "Если не хватает галантности, - говорит Ювенал, - пусть зовут рабов; если не хватает рабов, позовут водовоза (*veniet conductus aquarius*)". Жест, взгляд, слово: гладиатор, евнух, ребенок, представлялся и не уклонялся от любой службы. А что делал эдил, когда Рим был так опозорен перед небесами пороками его самых главных жителей? А что делал цензор, когда общественные нравы теряли даже видимость скромности? Цензор и мэр не могли ничего сделать там, где закон молчал, словно боясь сказать слишком много. В языческом Риме все, что христианство бросило в трясины запретных удовольствий, называлось *разрешенными* или *законными удовольствиями*. Так, Плавт в шутку сказал персонажу своего "Шаренсона" (Куркулио): "Если ты воздерживаешься от замужних женщин, вдов, девственниц, юношей и бесхитростных детей, люби все, что тебе заблагорассудится!" Катулл в брачной песне Юлии и Манлия показывает нам брак как моральный тормоз для постыдных привычек: "Утверждают, - говорит поэт физической любви, - что ты неохотно отказываешься, благоухающий муж, от своих миньонов (*glabris*); мы знаем, что ты никогда не знала ничего, кроме дозволенных удовольствий; но эти удовольствия муж уже не мог себе позволить (*scimus hæc tibi, quæ licent sola cognita, sed marito ista non eadem licent*).". Поэтому только

философия могла бороться со вспышками этой презренной распущенности, которая не находила плотины в римском законодательстве.

Некоторые из интриг и козней, происходивших на публичных дорогах, были основаны на вывесках. Мы знаем, что пантомима была очень утонченным и сложным искусством, которому учились в основном в театре и которое совершенствовалось в зависимости от того, как его использовали. Отсюда и чудесный талант куртизанок в молчаливом языке *meretricium*. Существовали также различные диалекты амурной пантомимы. Часто самое красноречивое выражение этого развратного языка светилось или вспыхивало во взгляде. Глаза говорили друг с другом тем лучше, что отличное зрение и невероятная спонтанность духа следовали и даже предшествовали вспышкам взгляда. Если взгляд не был понят глазами, движения губ и пальцев служили более внятным, но менее приличным средством общения между людьми, которые иногда стыдились бы использовать слова. Так, знак, обычно принятый у последователей самого позорного мужского разврата, состоял в поднятии среднего пальца, у основания которого остальные пальцы руки были сгруппированы в пучок, чтобы изобразить позорный атрибут Priape. Суетоний в "*Жизни Калигулы*" изображает, как этот император предлагает свою руку для поцелуя, придавая ей непристойную форму и движение (*formatam commotamque in obscenum modum*). Лампридий в "*Жизни Гелиогабала*" рассказывает, что этот чудовищный развратник никогда не предавался непристойным речам, даже когда игра его пальцев указывала на позор (*ne unquam verbis pepercit infamiam, quum digitis infamiam ostentaret*). Эти непристойные жесты исполнялись с поразительной быстротой, которая обычно ускользала от взгляда равнодушных. Из нескольких отрывков в "*Истории Августа*" можно предположить, что *signum infame* был терпим не при всех императорах, и что самые известные своими бесчинствами применяли суровое наказание за этот знак разврата, в результате чего средний палец получил прозвище "*позорный палец*". Более того, афиняне были не более снисходительны к этому пальцу, который они называли *катапигоном*, и который они постыдились бы реабилитировать, подарив ему кольцо. В Греции кирка была обречена на позор, потому что жители деревень использовали ее, чтобы узнать, есть ли у их кур яйца в животе, что привело к появлению греческого глагола σκισαλίζειν, придуманного специально для того, чтобы квалифицировать факт этих сельских жителей. "Насмехайся над ним, Секстилий, - говорил Марциал, - насмехайся над тем, кто называет тебя *cinæde*, и покажи ему средний палец". На негласном языке этих позорных развратников показ этого пальца означал как просьбу, так и ответ. У них был еще один знак ума, в котором средний палец менял свою роль: они подносили этот палец к голове, либо ко лбу, либо к черепу, и делали вид, что чешут себя: "Что обозначает наглеца, - говорит Сенека в пятьдесят втором письме, - это его походка, это его рука, которой он двигает, это его палец, который он подносит к голове, это его немигающие глаза". Ювенал разрешает нам предположить, что это почесывание головы пальцем заменило в языке жестов поднятие среднего пальца из сомкнутой руки: "Посмотрите, - говорит он, - посмотрите, как все эти женоподобные люди, стекающиеся в Рим со всех сторон, на колесницах, на кораблях, чешут себе голову одним пальцем (*qui digito scalpunt uno caput*)". Но куртизанки охотнее говорили глазами, чем пальцами, и ничто не могло сравниться с красноречием, убедительностью и притягательностью их косого взгляда (*oculus limus*). Серьезный ритор Квинтилиан говорил, что в некоторых случаях взгляд оратора должен быть омыт нежным сладострастием, косым и, как бы, любовным (*venerei*). Апулей в своем эротическом романе изображает куртизанку, бросающую косые, колкие взгляды (*limis atque morsicantibus oculis*). Это то, что куртизанки называли *охотой глазами* (*oculis venari*): "Видишь ли ты ее, - говорит *Солдат* у Плутуса, - охотящуюся глазами и охотящуюся ушами? (*Viden' tu illam oculis venaturam facere atque aucupium auribus?*)".

Этот безмолвный язык, на котором куртизанки повсеместно прекрасно говорили и понимали, стал настолько привычным для всех женщин Рима, что у них не было другого для вопросов удовольствия. Старый латинский поэт сравнивает этот быстрый обмен взглядами, жестами и знаками между *драгоценной женщиной* и ее любовниками с игрой в мяч, в которой хороший игрок посылает обратно от одного к другому мяч, который он получает из всех рук: "Она держит одного, - говорит он, - и манит другого; ее рука занята этим, и она отталкивает ногу того; она кладет свое кольцо между губами и показывает его одному, чтобы позвать другого; когда она поет с одним, она обращается к другим, помахивая пальцем." Великий мастер искусства любви Овидий в своей поэме, написанной на коленях куртизанок и часто под их диктовку, вложил эти уроки любовной пантомимы в уста одной из своих муз: "Смотри на меня, - говорит эта искусная *жестикуляция*, - следи за движениями моей головы, за выражением моего лица, замечай и повторяй за мной эти скрытые знаки (*furtivas notas*). Нахмурившись, я скажу вам красноречивые слова, в которых нет места голосу; вы прочтете эти слова по моим пальцам, как будто они там написаны. Когда вспомнятся наслаждения нашей любви, нежно прикоснись большим пальцем к своим розовым щекам; если в твоём сердце зазвучит эхо, говорящее тебе обо мне, приложи руку к кончику одного уха. О свет моей души, когда ты узнаешь, что я скажу или сделаю, проведи своим кольцом по пальцам. Прикоснись рукой к столу, как те, кто дает обет, когда желаешь всех бед мира моей проклятой ревнивице". Поэты полны этих непроизносимых диалогов между влюбленными, и Тибулл особенно хвалит умение своей любовницы говорить знаками в присутствии нежелательного свидетеля и скрывать нежные слова под искусной пантомимой (*blandaue compositis abdere verba notis*). Этот универсальный язык был тем более необходим в Риме, что по-другому было просто невозможно, так как большинство куртизанок были иностранками, и многим было невозможно говорить на своем родном языке в среде этого населения, собранного со всех стран известной вселенной. Многие из этих любительниц удовольствий не получили никакого образования и не знали, как доставить удовольствие, изуродовав латынь Цицерона и Вергилия, хотя, по словам одного римского поэта, любовь и удовольствие не порождают словесизмов. Кроме того, в языке Рима существовала особая сдержанность, которая не позволяла использовать непристойные слова или образы. Писатели, поэты и прозаики, даже самые серьезные, старались не придерживаться этого целомудрия выражений, как будто только ухо оскорблялось тем, что никогда не оскорбляло глаз. В самой свободной беседе избегали не только гравированных слов, но и сочетаний слов, которые могли бы навести ум на нечестные аналогии. Цицерон говорит, что хотя слова не пахнут дурно, они неприятно воздействуют на слух и зрение: "Все, что хорошо делать, согласно латинской пословице, нехорошо говорить (*tam bonum facere quam malum dicere*)".

Латинский эротический язык был, тем не менее, очень богат и очень сложен; он взял из греческого все, что мог перенять без ущерба для своего особого гения; он постоянно развивался и оживал, подчиняясь всем либидинозным фантазиям своих влюбленных поэтов; он отказался от варварских неологизмов, а перешел к фигурам, аллюзиям, двойным значениям, так что в его словарный запас вошло и военное дело, и флот, и сельское хозяйство. Более того, в нем было лишь небольшое количество технических слов, в большинстве своем иностранного происхождения, которые были его собственными, и он предпочитал переворачивать самые честные, самые обычные слова с ног на голову и накладывая на них свою печать с помощью тропов, часто гениальных и поэтических. Но на этом языке, который не знал сдержанности в элегиях Катулла, эпиграммах Марциала, историях Суетония и романах Апулея, по-настоящему говорили только на развратных сборищах и в таинствах tête-à-tête. Примечательно, что куртизанки, наименее приличные по одежде и нравам, постеснялись бы произнести неприличное слово на публике. Скрамность языка не позволяла им часто появляться в таком виде, в каком они были, и поэты,

занимавшиеся обычным ухаживанием, могли представить, что имеют дело с девственницами. Маленькие нежные имена, которыми любовники и любовницы называли друг друга, были не менее уместны, не менее целомудренны, не менее невинны, когда любовница была куртизанкой, когда любовник - эротическим поэтом. Он называл ее своей розой, своей королевой, своей богиней, своей голубкой, своим светом, своей звездой; она отвечала на эти сладости, называя его своей драгоценностью (*bacciballum*), своим медом, своим воробьем (*passer*), своей амброзией, яблоком своего глаза (*oculissimus*), своей добротой (*amœnitas*), и никогда с непристойными междометиями, а только *j'aimerai!* (*amabo*), частое восклицание, которое подводило итог всей жизни, всего призвания. Как только между двумя людьми любого пола возникали интимные отношения, как только эти отношения начинали закрепляться, они называли друг друга *братом* и *сестрой*. Эта квалификация была общей для всех куртизанок, от самых скромных до самых гордых. "Кто запрещает тебе выбрать сестру?" - говорит одна из героинь Петрония; а в другом месте один мужчина говорит другому: "Я дарю тебе своего *брата*". Иногда, говоря о любовнице, которую имел, называли ее *сестрой с левой стороны* (*læva soror*, говорит Плавт), а одна меркантильная женщина давала шутовское имя "*младший брат*" каждому, кто имел с ней дело.

Нас не может не удивлять благопристойность и даже благоразумие разговорной речи, которая постоянно контрастирует с нескромностью жестов и дерзостью поступков. Отсюда и это выражение, которое то и дело всплывало в речи в виде совета: *уважайте уши* (*parcite auribus*). Что касается глаз, то они не жалели ничего и не скандалили от всего, что им показывали. Поэтому они были не прочь обратиться к страницам одной из тех непристойных книг, тех эротических или сатанических сочинений в стихах или прозе, которые римские либертины любили читать по ночам (*pagina nocturna*, по выражению Марциала). Это был очень популярный вид литературы среди римлян, хотя и не слишком ценимый честными людьми. Авторы этой литературы, столь любимой куртизанками, казалось, хотели своими произведениями прославиться в блеске разврата и тем самым воздать должное безнравственным богам, которым они были посвящены. Но не только профессиональные распутники писали эти развратные книги (*molles libri*); иногда поэты, самые уважаемые писатели, позволяли вовлечь себя в этот разврат воображения и таланта; обычно с их стороны это было своего рода подношением Венере; в некоторых случаях это была простая литературная игра, жертва вкусу дня. Плиний, которого все почитают, - говорит Авсоний (в *Nuptial Cento*), - писал развратные стихи, и его нравы никогда не вызывали цензуры. Сборник Сульпиция источает сладострастие, и все же эта достойная матрона не часто увлекалась". Апулей, чья жизнь была жизнью мудреца, в своих эпиграммах проявляет излишнюю амурность: строгость царит во всех его наставлениях, лицензия - в письмах к Кереллии. В "Симфосии" Платона есть стихи, которые, кажется, были написаны в неподходящих местах (в *эфебах*). Что мне сказать об "Эротопæгнионе" старого поэта Левия, о сатирических стихах (*fescenninos*) Энния? Стоит ли цитировать Эвмена, которого Менандр прозвал *мудрецом*? Стоит ли упоминать самого Менандра и всех авторов комических произведений? Их образ жизни строг, их произведения легкомысленны. И разве не Вергилий, которого за целомудрие прозвали *Парфением*, с неприличной скромностью описывает любовные похождения Венеры и Вулкана в восьмой книге своей "Энеиды"? Разве не он в третьей книге своих "Георгик" как можно более пристойно изобразил людей, превращенных в зверей? Плиний, чтобы оправдаться за распутство духа, в котором он, казалось, себя не упрекал, говорил: "Моя книга непристойна, моя жизнь чиста (*lasciva est nobis pagina, vita proba*)".

Тайная библиотека куртизанок и их друзей, должно быть, была значительной, но имена основных авторов, составлявших ее, почти не сохранились. Среди римлян, как и среди

греков, именно эротика больше всего страдала от запретов христианской морали. Напрасно поэзия молила о пощаде, напрасно укрывалась под просвещенной и либеральной защитой ученых любителей древности, напрасно из уст в уста передавалась память о сладострастных и галантных женщинах: христианство безжалостно преследовало их даже в памяти традиции. Все они исчезли и угасли, за исключением тех, кто был защищен, как Марциал и Катулл, счастливой привилегией своей поэтической репутации. Религиозные угрызения совести доходили до того, что вырывали многие страницы из произведений лучших писателей. Таким образом, латинская письменность лишилась большинства языческих поэтов любви, и это систематическое уничтожение было делом рук Отцов Церкви. Мы больше не имеем ничего о Прокуле, который, по словам Овидия, пошел по стопам Каллимаха; ничего об ораторах Гортензии и Сервии Сульпиции, которые писали такие красивые и развратные стихи; ничего о Сисенне, который перевел с греческого "Мимезины" Аристиды (*Milesii libri*); ничего о Мемонии и Тициде, которые, по словам Овидия, заботились о скромности в словах не больше, чем в делах; ничего о Сабелле, воспевавшем тайны наслаждения по примеру греческой поэтессы Элефантиды; ничего о Корнифиции, Эвбее, дерзком Ансере, Порции, Эдитусе и всех тех эротических писателях, которые были услугой куртизанок и добрых женщин Рима. Не простили новые христиане и греков, которых они понимали еще меньше: ни благородного Сотадеса, давшего свое имя поэмам, вдохновленным любовью против природы, ни Миннерма из Смирны, чьи стихи, по словам Проперция, в любви были лучше, чем у Гомера; Ни нечистая Гемитеона из Сибариса, обобщившая опыт своего распутства в поэме "*Сибарит*", ни бесстыдная Нико, изложившая в стихах свои деяния в качестве куртизанки, ни знаменитая Муза, чья лира, равная лире Орфея, вызывала все почитаемые страсти. Таким образом, пантеон греческой и римской проституции был почти полностью уничтожен после двух или трех столетий упорной цензуры и непримиримого запрета. Куртизанки и распутницы были менее неумолимы, чем ученые, в защите своих любимых авторов; ведь когда распутницы и куртизанки старели, они становились набожными и сжигали свои книги. Именно ученые сохранили для нас Горация, Катулла, Марциала и Петрония.

---

## ГЛАВА XX.

Краткое содержание - Тайные и постыдные болезни древних - Импура Венера - Древние авторы избегали говорить об этих болезнях - Вторжение *азиатской похоти* в Рим - Каким причинам мы должны приписать распространение противоестественных пороков среди древних? - Сексуальные заболевания женщин - Древние врачи отказывались лечить венерические болезни - Почему - Колдуны и шарлатаны - Большая проказа - Малая проказа или *болезнь Венеры*. - Завоз этой болезни в Рим Кнеем Манлием (Cneius Manlius) - *Непристойный морбус (morbus indecens)* - Большинство врачей были рабами и вольноотпущенниками - Почему в древности венерические болезни были окутаны тайной. - Существование этих болезней отмечено в *Медицинском трактате* Цельса. - Их описание. - Их лечение. - Рукопись XIII века, описывающая поражения сифилисом. - Появление *эlefантиаза* в Риме. - Асклеиады из Вифинии. - T. Aufidius. - Musa, врач Августа. - Meges of Sidon. - Ужасающее описание *эlefантиаза*, согласно Aretaeus of Cappadocia. - Аналогия с сифилисом в пятнадцатом веке. - *Campanus morbus* или Кампанская болезнь. - *Spinturnicium* - *Фику*, *мариски* и *хисы* - *Фамилия фико* - *Рубиго* - *Самириазис* - *Жунон* - *Флуония* - Диссертация о происхождении слов *ancunnuentæ*, *bubonium*, *imbubinat* и *imbulbitat*. - Греческие врачи - Веттий Валес - Темисон - Фессал из Тралл - Соран из Эфеса - Эмпирики, antidotes и фармакополы - Менекрат - Сервилий Дамократ - Асклеиад Фармацион

-Аполлоний Пергамский -Критон -Андромахий и Диоскорид.-Врачи-пневматики -Галий и Орибасий -Архиген -Геродот -Леонид Александрийский -*Архиастры* -*Archiatri pallatini* и *archiatri populares*.-Учреждение архиатров упорядочено и завершено Антонином Благочестивым. -Евтихий, врач *утренних игр*. -Акушерки и медики. -Эпиграмма Марциала против Лесби. -*Солиум* или биде, и его использование в Риме.-Смерть Феста, друга Домициана.-Лекарства, продаваемые шарлатанами для лечения венерических болезней.-Религиозные суеверия.-Приношения богам и богиням.-Жрецы как врачи.-Квартира Петрония.-Омерзительная апофтегма *пæдиконов*.

Эта ужасающая масса проституции всех видов, в трясине которой погрязло римское общество, не могла не погубить общественное здоровье. Хотя поэты, историки и даже врачи древности хранили молчание на эту тему, которую они боялись представить в неблагоприятном свете, и хотя печальные последствия того, что писатель XIII века называет нечистой любовью (*impura Venus*), оставили очень мало следов в сатирических сочинениях, как и в медицинских трактатах, невозможно отрицать, что развращение нравов умножило семена и опустошило болезни Венеры среди римлян. Эти болезни были, конечно, очень многочисленны, всегда очень живучи и часто ужасны; но греческие и римские врачи и натуралисты более или менее пренебрегали ими или, по крайней мере, отодвигали их в тень. Мы можем лишь философски рассуждать о причинах такого пренебрежения и всеобщего молчания. В отсутствие каких-либо четких и официальных указаний на этот счет мы вынуждены предположить, что религиозные мотивы не позволяли признать среди мнимых болезней те, которые поражали органы генерации и имели своим источником разврат того или иного рода. Древние не хотели оскорблять богов, даровавших человечеству блага любви, обвиняя их в том, что они смешали вечный яд с вечной амброзией; древние не хотели, чтобы Эскулап, изобретатель и бог медицины, вступил в открытый конфликт с Венерой, пытаясь исправить месть и кару богини. Короче говоря, болезни половых органов, малоизвестные и малоизученные как в Греции, так и в Риме, скрывались и маскировались, как будто они были позором для тех, кто страдал от них и лечился втайне с помощью магов и продавцов зелий.

Венерические заболевания у греков, несомненно, встречались реже и были менее сложными, чем у римлян, потому что проституция в Афинах далеко не так разрушительна, как в Риме. В Греции, как и в столице римского мира, не было ужасающей распущенности всех полов, всех возрастов, всех наций. Греческий либертинизм, который был усилен определенным престижем чувства и идеальной любви, не раскрыл свои объятия, как римский либертинизм, для всех иностранных развратников: первый всегда, даже в своих величайших эксцессах, сохранял инстинкты деликатности, в то время как второй поддавался своим грубым аппетитам и довел материальную жестокость до предела. Несомненно, вторжение *азиатской похоти* в Рим сопровождалось серьезными случаями тайного заражения. Именно в 568 году, за 187 лет до Рождества Христова, в Италию была занесена эта азиатская похоть, как называет ее святой Августин в своей книге "О граде Божьем", проконсулом Кнеем Манлием, покорившим Галло-Грецию и победившим Антиоха Великого, царя Сирии. Кней Манлий, ревнуя получить почести триумфа, который, однако, не достался ему, привел с собой танцовщиц, флейтистов, куртизанок, евнухов, женоподобных и всех позорных помощников разврата, доселе неизвестного в Римской республике. Первыми плодами этого разврата стали, очевидно, безымянные болезни, поражавшие органы генерации и распространявшиеся среди народа, усугубляя и осложняя друг друга: "Затем, - говорит святой Августин, - только затем появляются кровати, инкрустированные золотом, и драгоценные ковры; затем в пиры вводятся играющие на инструментах, а с ними и многие развратные извращения (*tunc, inductæ in convivio psalteriæ et aliæ licentiosæ nequitiae*).". Эти

инструменталисты пришли из Тира, Вавилона и городов Сирии, где с незапамятных времен источники жизни были испорчены ужасными болезнями, порожденными блудом. Книги Моисея свидетельствуют о существовании этих болезней у евреев, которые заразились ими в Египте и нашли их более грозными среди народов Земли Обетованной. Евреи почти полностью уничтожили аммонитян, мадианитян и хананеев, но когда те исчезли перед ними, они, словно в отместку, оставили им множество нечистот, которые запятнали и их нравы, и их кровь. Вскоре в мире не осталось более порочной и нездоровой расы людей, чем евреи. Соседние с Иудеей народы, эти древние служители священной проституции, были, по крайней мере, более утонченными и деликатными в своих излишествах, и, как следствие, каждый из них лучше следил за своим телом и здоровьем. Тем не менее, следует сказать, что вся Сирия была постоянным источником чумы, проказы и венерических заболеваний (*lues venerea*). Именно в этот опасный очаг отправился Рим в поисках новых удовольствий и новых болезней.

Мы уже приводили этот тезис, который не является парадоксом и который наука при необходимости подтвердила бы на прочных основаниях: порок против природы, который Моисей, единственный среди всех законодателей до Иисуса Христа, осудил, существовал, мог существовать только в состоянии терпимости на протяжении всей античности, в результате частых, постоянных опасностей, которые нарушали регулярный порядок естественных удовольствий. Женщины часто были нездоровы, и их приближение, при определенных обстоятельствах, под влиянием различных темпераментов, времени года, местности и образа жизни, имело печальные последствия для здоровья их мужей или любовников. Самые здоровые и чистые женщины внезапно переставали быть таковыми по почти неуловимым причинам, которые ускользали как от гигиенических предосторожностей, так и от лекарственных средств. Жара климата, телесная нечистота, ежемесячное недомогание женского пола, вырождения этого обычного недомогания, белая горячка, последствия родов и другие случайные причины вызывали местные болезни, которые различались по симптомам и характеру в зависимости от возраста, организации, темперамента и диеты субъекта. Эти странные болезни, происхождение которых оставалось практически неизвестным, а радикальное излечение было очень долгим, очень трудным и в некоторых случаях даже невозможным, окружали самые законные отношения между полами неким недоверием. Более того, любое воспаление, недуг или ослабление генеративных сил считалось почти несмываемым пятном. Они винули злые чары, злых духов и дурные влияния за ядовитые микробы, которые таились в самых нежных ласках любимой женщины, и вскоре начинали бояться этих ласк, которых так жаждали, еще не зная, что в них коварного и враждебного. Вот как страх, а иногда и отвращение отталкивали от женского ремесла тех мужчин, которых опыт просветил относительно болезненных явлений, связанных с этим ремеслом; вот как постыдное расстройство воображения пыталось изменить физические законы человечества и отнять у женщин привилегию их пола, передать его убудочным и развратным существам, которые соглашались больше не принадлежать ни к одному из полов, становясь послушными орудиями отвратительного разврата. Правда, среди населения укоренились и другие болезни, более отвратительные и не менее заразные, вместе с развратным вкусом, который их породил и который их постоянно менял; но эти болезни были менее распространены, чем женские, и, несомненно, могли быть лучше предотвращены. Понятно также, что среди всех этих загадочных болезней проказы, эндемичная на всем Востоке, принимала самые капризные и необъяснимые формы.

Врачи древности, как мы имеем все основания полагать, отказывались лечить недуги Венеры (*utraque Venus*), поскольку в их глазах, как и в глазах широких масс, эти недуги носили оттенок божественного проклятия, печати позора. Чтобы избавиться от них, несчастные

страдальцы прибегали к религиозным обрядам, рецептам вульгарного эмпиризма и темным произведениям магии. Именно это, прежде всего, делало оккультные науки и искусство фильтров такими мощными; это было средством обогащения и кредита как для жрецов, так и для магов. Венерическая зараза, неизбежно возникавшая в результате нечистой торговли, всегда рассматривалась как небесная кара или как inferнальное возмездие; жертва заразы, не желая жаловаться и обвинять автора своего несчастья, обвиняла себя и искала причины этого мучительного испытания только в себе. Отсюда многочисленные жертвоприношения в храмах; отсюда многочисленные магические заклинания в глубине леса; отсюда неофициальное вмешательство старух, чародеев и всех подвластных шарлатанов, живших за счет проституции. Невозможно иначе понять молчание греческих и римских писателей на тему постыдных болезней, которые когда-то были более частыми и более отвратительными, чем сегодня. Сами врачи не лечили эти болезни, разве что втайне, а зараженные, как мужчины, так и женщины, никогда не признавались в этом, даже если умирали от них. Более того, проказа, эта почти неизлечимая болезнь, которая трансформировалась бесконечно и которая на разных стадиях давала самые разнообразные симптомы, служила единственным предлогом для всех венерических заболеваний; проказа также порождала их, модифицировала, увеличивала, искажала и, по сути, придавала им вид кожной болезни. Совершенно очевидно, что проказа и венерические болезни, сливаясь, комбинируясь и взаимно усиливая друг друга, в итоге захватили экономику и оставили наследственный вирус во всем теле нации; таким образом, большая проказа традиционно принадлежала еврейскому народу; малая проказа, или *венерическая* болезнь (*lues venerea*), - сирийскому народу.

Когда эта болезнь пришла в Рим вместе с сирийскими женщинами, которых Кней Манлий пересадил туда, как бы желая основать школу удовольствий на своей родине, в Риме, уже победоносном и владевшем частью мира, не было врачей. Их допускали в город только в исключительных случаях, во время чумы и эпидемий. Но как только здоровье населения оказывалось вне опасности, вызванные греческие врачи отвергались с тем же презрением, с каким жители Ромула в дни своей грубой и дикой независимости относились к искусствам, процветающим в мире. Правда, до тех пор римляне вели суровую, трудолюбивую, аскетичную и экономную жизнь; они не знали других болезней, кроме смерти, по выражению одного старого поэта, а их крепкая натура, с ранних лет приученная к усталости и лишениям, не боялась никаких недугов, кроме тех, что были вызваны ранами, полученными на войне. Поэтому вся медицина, в которой они нуждались, ограничивалась знанием уязвимых растений и практикой нескольких хирургических операций. Трезвость и воздержание защищали их от бед, порождаемых чрезмерной едой и распутством. Те, кто был запятнан какой-нибудь отвратительной болезнью, вызванной одиозным пороком, знакомым фавнам и аборигенам их предков, старались не распространять ее и умирали от нее, вместо того чтобы искать лекарство и показывать свою испорченность. Более того, в те времена невинности, а точнее, скромности, все болезни, связанные с постыдными частями тела, независимо от их диагноза, объединялись под одним названием, свидетельствующим о внушаемом ими ужасе: *morbus indecens*. Мысль и воображение избегали останавливаться на отличительных особенностях различных болезней, которые обозначались таким образом. Однако позволительно если не описать и оценить, то хотя бы указать на те, которые встречались чаще всего. Это *мариска*, раковая опухоль размером с крупную фигуру, от которой она и получила свое название и которая obtурировала задний проход или даже иногда выпячивалась наружу и распространялась вокруг ануса. Когда эта опухоль была меньше, ее называли *фикусом* или обычной смоковницей; когда она состояла из нескольких маленьких гнойных наростов, ее называли *чиа*, что также было греческим названием маленькой дикой смоковницы. У женщин этот недуг часто принимал форму более или менее

едких выделений, иногда кровавых, всегда фекальных; родовое название *fluor* требовало эпитета, который предписывала природа недуга. Но *morbus indecens* по-прежнему имел мало разновидностей, и когда он поражал жертву или, скорее, преступника любого пола, он не прививался в другом месте и не порождал другие виды нечистых плодов: болезнь, предоставленная самой себе, сеяла неизлечимый хаос и тайно пожирала пациента, плачевное состояние которого продлевалось только ваннами и растираниями. Иногда, однако, при энергичном темпераменте болезнь, казалось, сдавалась и исчезала на время, только чтобы вернуться с еще большим упорством и в более злокачественных формах. Более того, только магия и эмпиризм осмеливались бороться с печальными последствиями *morbus indecens*. Единственными врачами в Риме в то время были жалкие рабы, евреи или греки, вся фармакопея которых состояла из фильтров, филатерий, талисманов и суеверных практик: эти лекарства, казалось, были сделаны специально для болезней, которые больные охотно приписывали, чтобы избавиться себя от стыда признать их причину, судьбе, злему влиянию звезд и демонов, мести богов, воле судьбы.

Не следует упускать из виду, что греческая медицина утвердилась в Риме почти одновременно с азиатской; последняя датируется 588 годом основания города, первая - примерно 600 годом. За семьдесят лет до этого, около 535 года, некоторые греческие врачи пытались обосноваться в городе, куда их позвали различные болезни, против которых римская строгость ничего не могла сделать (мы должны предположить, что *morbus indecens* была одной из этих хронических и неизбывных болезней); но они испытали столько неудач, столько трудностей, столько отвращения, что отказались от этого первого заведения; они вернулись только тогда, когда Рим стал немного меньше гордиться здоровьем своих жителей. В течение нескольких лет хорошая еда и разврат породили, развили и умножили такое количество болезней, какого не было со времен основания города. Среди этих болезней самыми распространенными и самыми разнообразными были, конечно, те, что были вызваны развратом; их всегда приписывали очевидным причинам, или, скорее, причины избегали, и врач старался прикрыть их приличным плащом, причисляя их к честным болезням. Вот почему постыдные болезни нигде не встречаются в медицинской литературе древности или маскируются под названиями, которые спасают их от позора. Именно в огромном и отвратительном семействе проказы мы должны искать почти все виды венерических заболеваний, которые были не более виной древней проституции, чем современной. Большинство врачей были рабами или вольноотпущенниками: "Я посылаю тебе врача, выбранного из числа моих рабов", - читаем мы у Суетония (*mitto tibi præterea cum eo ex servis meis medicum*), и этот отрывок, хотя и по-разному интерпретируемый комментаторами, доказывает, что врач часто был не более чем простым рабом в доме богатого патриция. Поэтому каждый мог иметь личного врача, как только покупал его, несомненно, по высокой цене; ведь рыночная стоимость раба зависела от его достоинств, а квалифицированный врач, который должен был быть одновременно искусным хирургом и эрудированным аптекарием, оплачивался не меньше, чем музыкант или греческий философ. Понятно, что врач, у которого не было другой роли, кроме как заботиться о своем хозяине и жителях дома, подневольно занимался своим искусством и, опасаясь розги или более суровых наказаний, проявлял благоразумную осторожность в лечении домашних болезней, за которые он отвечал, под страхом жесточайшей расправы. Освобожденные врачи находились не в более свободном положении по отношению к своим пациентам; они не боялись побоев и кандалов, если их лечение не давало результата, но их могли отдать под суд и заставить заплатить значительный штраф, если их усилия не увенчались успехом и если искусство оказалось бессильным против болезни. Понятно, что в такой щекотливой ситуации врачи лечили только те болезни, которые они почти наверняка преодолевали. Такое положение дел показывает нам, что для того, чтобы быть уверенным в получении

помощи в случае болезни, необходимо было иметь хотя бы одного врача среди рабов, составлявших домашний персонал, и этот врач, владевший секретами здоровья своего господина, был особенно необходим своему хозяину, когда Венера или Приапе вдруг становились неблагоприятными или враждебными ему.

Один этот факт, на наш взгляд, в достаточной степени объясняет тайну, которая окружала венерические заболевания в древности, тайну, которая в равной степени рекомендовалась религией и общественной скромностью. Римляне построили храм лихорадке и храм кашлю, но они боялись опозорить Венеру, свою божественную прародительницу, поклоняясь болезням, которые позорили эту богиню. Возможно, они отрицали эти болезни как оскорбительные для человечества и даже не хотели, чтобы *morbus indecens* имела имя в анналах медицины и Римской республики. Однако существование этой болезни, настоящего сифилиса или, по крайней мере, похожего на него недуга, слишком хорошо отмечено в "Медицинском трактате" Цельса, который только не осмеливается приписать ее нечистой торговле и избегает возвращаться к подозрительному происхождению. Цельс, ученик или, скорее, современник Асклепиада Вифинского, первого знаменитого врача, прибывшего в Рим из Греции, не оставляет сомнений в том, что венерические заболевания были характерны для римлян, поскольку в своей книге, в этом замечательном своде медицинских знаний века Августа, он описывает несколько поражений половых органов, поражений, которые явно являются венерическими и которые современная наука долгое время упорно отказывалась сравнивать с идентичными явлениями сифилиса в пятнадцатом веке. Эти поражения изображены в латинском произведении слишком правдиво, чтобы кто-то мог неправильно понять их заразную природу и венерическую передачу. Это действительно *morbus indecens, lues venerea*, хотя Цельс не дает им этих родовых названий, хотя и приписывает разновидностям непристойного зла характерные имена, создание которых, похоже, принадлежит ему. Размышления, которыми Цельс предваряет длинный параграф, посвященный болезням постыдных частей тела, в шестой книге своего трактата о медицине, подтверждают наше мнение о причинах сдержанности и приличия, которые противостояли публичному лечению этих болезней в Риме. У греков, - говорит Цельс, - есть более подходящие выражения для обсуждения такого вопроса, которые, к тому же, приняты в обиходе, поскольку они постоянно повторяются в трудах и обычном языке врачей. Латинские слова причиняют нам больше боли (*apud nos fœdiora verba*), и они даже не имеют того преимущества, что иногда встречаются в устах тех, кто говорит прилично. Поэтому соблюдение приличий при сохранении предписаний искусства - трудная задача. Однако это соображение не должно удерживать мое перо, потому что, во-первых, я не хочу оставить неполной полученную мною полезную информацию, а во-вторых, как раз важно распространить среди широкой публики медицинские представления о лечении этих болезней, которые мы никогда не открываем другим, разве что вопреки себе (*Dein, quia in vulgus eorum curatio etiam præcipue cognoscenda, quæ invitissimus quisque alteri ostendit.*). Таким образом, Цельс извиняется за публикацию метода лечения, который держался в секрете, и, похоже, хочет сделать его доступным для всех (*in vulgus*), чтобы предотвратить ужасные несчастные случаи, которые происходили из-за невежества врачей и небрежности пациентов.

Он рассматривает эти заболевания, которые мы могли бы найти со всеми их особыми признаками в монографиях о сифилисе. Вначале он говорит о воспалении полового члена (*inflammatio colis*), которое вызывает такой отек, что крайнюю плоть уже невозможно оттянуть ни назад, ни вперед; он предписывает обильное разжигание горячей водой для ослабления крайней плоти и успокаивающие инъекции в уретральный канал; Он рекомендует прикреплять пенис к животу, чтобы избежать боли, вызванной натяжением крайней плоти, которая иногда, когда ее открывают, обнажает сухие или влажные язвы. Эти язвы, - говорит он, - особенно нуждаются в частых примочках теплой водой; их также необходимо прикрывать и защищать от воздействия холода". В некоторых случаях пенис настолько разъедается под кожей, что головка отпадает. Тогда возникает необходимость одновременного иссечения крайней плоти". Для заживления этих язв он указывает на препарат, состоящий из перца, шафрана, мирры, жженой меди и минерала витриола, растертых вместе в вяжущем вине. Не является ли это сифилитической гонореей, сопровождающейся язвами и ранами? Затем Цельс упоминает о бугорках (*tubercula*), которые греки называют *φύματα*, грибковых наростах, которые образуются вокруг головки и которые необходимо прижигать красным железом или каустиком, посыпая медные опилки на место эшара, чтобы предотвратить возвращение этой паразитарной растительности. Цельс, наглядно представив эти явления венерического вируса, останавливается на некоторых исключительных случаях, когда язвы, возникающие от витальной крови, а то и от особой предрасположенности пациента, вызывают гангрену, которая поражает даже тело полового члена. В таких случаях необходимо сделать надрезы, отрезать плоть и прижечь гангренозную плоть едкими порошками, в частности составом из извести, хальцита и перца чили. Пациент, перенесший эту зачастую опасную операцию, обречен на покой и неподвижность до тех пор, пока пролежни, вызванные прижиганием, не отпадут сами собой. Следует опасаться геморрагии, если пришлось отрезать часть пениса. Далее Цельс упоминает о раке (*cancris genus*), который греки называют *φαγέδαϊνα*, очень нездоровом раке, лечение которого не терпит отлагательств, и который необходимо прижигать красным железом, как только он появится; В противном случае этот *φαγεδενιτ* овладевает пенисом, обходит головку, проникает в канал и погружается до мочевого пузыря; в этом случае он сопровождается скрытой гангреной, без боли, которая приводит к смерти, несмотря на всю помощь искусства. Можно ли утверждать, что этот вид шанкра не был местным признаком самого злокачественного сифилиса? Цельс лишь вскользь упоминает о своего рода мозолистой опухоли, нечувствительной к прикосновениям, которая распространяется на весь пенис и которую необходимо с осторожностью иссекать. Что касается угля (*carbunculus*), который появляется том же месте, то перед прижиганием его нужно сдерживать уколами. После того как нарост отпадет, можно использовать жидкие лекарства, приготовленные для лечения язв во рту.

В случае медленного или спонтанного воспаления яичка, которое не является результатом удара (*sine ictu orta*) и, следовательно, происходит от венерического происшествя, Цельс советует кровопускание, диету и применение смягчающих топических средств. Он дает рецепты нескольких таких средств для случаев, когда яичко становится твердым и приобретает хроническое воспаление. Цельс очень внимательно следит за тем, чтобы отличать отек яичек, вызванный внутренними причинами, от того, который возникает в результате внешнего насилия, давления или удара. Он неохотно обсуждает заболевания заднего прохода, которые, по его словам, очень многочисленны и очень важны (*multa tædiique plena mala*)! Он описывает только три: трещины или рагады, кондиломы и геморрой, который часто может быть венерическим. Трещины заднего прохода, которые греки называют *ράγες* и позорное происхождение которых Цельс не объясняет, лечили пластырями, в приготовление которых входили свинец, серебряный литарж и скипидар.

Иногда рагады доходили до кишечника, и их заполняли ворсом, смоченным в том же противосифилитическом растворе. Подобные заболевания требовали щадящей, простой, желатиновой диеты, полного покоя и частых полуванн с теплой водой. Что касается кондиломы, этого нароста, который обычно возникает при некоторых воспалениях заднего прохода (*tuberculum, quod ex quâdam inflammatione nasci solet*), то с самого начала ее следует лечить так же, как и рогадины: после полуванн и тающих пластырей, в некоторых случаях используется прижигание и самые энергичные каустики: сурьма, церулес, квасцы и литарж - обычные ингредиенты местных средств, предназначенных для уничтожения кондилом, после исчезновения которых полезно продлить успокаивающий и освежающий режим. Цельсий, советуя подобные средства против язвенного и туберкулезного геморроя, подразумевает, что часто объясняет их сходной причиной. Он лишь с большой осторожностью говорит о несчастном случае, который распутство сделало более частым и более опасным, - о выпадении основания и лона (*si anus ipse vel os vulvæ procidit*). Он также избегает рассматривать постыдные болезни, которые встречались и у женщин, и лишь в конце вскользь упоминает о язве, похожей на грибок (*fungo quoque simile*), которая поражала задний проход и матку. Он предписывает разжигать эту язву теплой водой зимой и холодной водой летом, посыпать ее медными опилками, воском и известью, а затем использовать прижигание, если болезнь не проходит, несмотря на первое лечение. Но мы видим, что Цельс не осмеливается из уважения к женскому полу представить его заинтересованным в непристойных болезнях наравне с другим полом: он поступил бы несправедливо, показав его подверженным воспалениям, язвам, бугоркам и отвратительным разрушениям венерических болезней.

И вот, пусть ученый автор "*Руководства по венерическим болезням*" отрицает то, что содержится в труде Цельса, и проявляет слепое упрямство, заявляя, что: "во всем труде Цельса мы не находим ничего, что дало бы повод заподозрить существование сифилитического вируса, а скорее местных болезней, к тому же вызванных чаще всего местными невирулентными причинами"; что он добавляет, подытожив программу Цельса о болезнях половых органов: "Поэтому естественно заключить вместе с Аструком и де Ламеттри, что все эти так называемые венерические болезни, о которых упоминали древние, были несифилитическими заболеваниями". Наш вывод будет полностью противоречивым; и после сравнения описаний римских врачей с теми, которые современное наблюдение предлагает нам как более точные и более полные в истории сифилиса; после принятия во внимание причин каждого из методов лечения, предписанных древней и современной медициной, у нас не остается никаких сомнений относительно происхождения и природы болезни. Сифилис, истинный сифилис, порожденный проказой и развратом, существовал в Риме и в большинстве стран, где нравы были испорчены смешением иноземного населения. Последний переводчик Цельса, более просвещенный или, по крайней мере, более беспристрастный, чем его предшественники, сообщает нам, что ученый М. Литтре обнаружил рукописи XIII века, "в которых все поражения половых органов, о которых сообщали древние, и даже несчастные случаи, которые мы считаем вторичными, формально связаны с нечистым соитием; и это за два века до того времени, которое мы хотим отнести к вторжению венерической болезни".

Эта болезнь появилась в Риме под страшным названием *эlefантиазис* примерно в 650 году от Рождества Христова (за 105 лет до нашей эры); и *эlefантиазис*, вскоре заразивший Италию, придал странные формы всем болезням, с которыми он был сопряжен. Асклепиад из Вифинии отчасти был обязан своей славой этому ужасному недугу, который он называл

Протеем зла и который он превосходно умел лечить, наблюдая его в течение долгого времени в Малой Азии. По словам Плиния, римляне верили, что он был благодетельным гением, посланным богами. Асклепиад, применивший в медицине философскую систему Эпикура, считал, что все болезни вызваны нарушением гармонии между атомами, из которых, как ему казалось, состоит человеческое тело. Он первым разделил болезни на острые и хронические; первым стал искать причины воспаления в каком-либо заболевании: можно догадаться, что он изучал, в частности, венерические болезни. Будучи большим сторонником диетических методов, он часто назначал водные фрикции и разжигания; он придумал душ (*balneæ pensiles*) и, следуя примеру своего учителя Эпикура, не был врагом чувственных удовольствий, если они были умеренными. Этот греческий врач пользовался успехом у римлян, поскольку не слишком вмешивался в их наклонности и даже позволял своим пациентам разумно использовать свои физические способности; по его словам, это означало предотвращение засыпания души, поскольку он заставлял ее обитать в органах пяти чувств. Следуя примеру Асклепиада, его любимый ученик Т. Ауфидий рекомендовал использовать фрикции при всех болезнях, успешно лечил проказу и все ее венерические вырождения и включал в число своих средств флагелляцию и любовные утехы, которые он считал суверенными против меланхолии.

В Риме, как и у иудеев, проказа стала хронической, постоянной, наследственной болезнью; она черпала новые силы и непомерные элементы из злоупотребления и расстройства амурных удовольствий; она постоянно трансформировалась и воспроизводилась в самых ужасающих аспектах; Ее окружала страшная процессия язв и раковых опухолей; она исчезала под энергичным действием лекарств и хирургических операций, чтобы вскоре появиться вновь, но уже с более зловещими чертами, с более жизнелюбивым принципом. Муса, врач Августа, которого он вылечил от болезни, которую историки не называли и не описали, воспалительной и местной, поскольку теплые ванны угащали ее пыл; Муса, кажется, посвятил себя изучению и лечению проказы, золотухи и венерических заболеваний. Он был рабом до того, как его освободил Август, и, должно быть, был знаком с тайными болезнями, которые обычно тайно лечили в семьях, - серьезными и упорными недугами, которые поражали все части тела после возникновения в результате нечистого соития. Муса изобрел несколько препаратов для лечения язв дурного характера, и эти препараты, сохранившие его имя даже после того, как они стали эмпирическими, считались безотказными в большинстве случаев венерических заболеваний, описанных Цельсом. Муса не ограничивался наружными средствами: он подвергал пациента внутреннему депуративному лечению, приказывая ему пить соки латука и цикория. Это неслыханное до него лечение показывает, что он рассматривал венерическое заболевание как вирус, который смешивается с кровью и гуморами, воспаляя и разлагая их. Он использовал ту же систему для лечения всех недугов, которые, по его мнению, в той или иной степени происходили от этого вируса: язвы во рту, выделения из уха, глазные болезни; недуги, настолько распространенные в Риме, что стали там эндемией при императорах. Мегес из Сидона, который практиковал в то же время, что и Муса, также отличился лечением проказы, которая часто была венерической. Мегес был учеником Фемисона, основателя методической школы, который, чтобы вылечить проказу, сначала исследовал ее причины, изучил ее особенности и определил ее принцип.

Этот принцип был или был венерическим по происхождению. Проказа, из какой бы страны она ни пришла, из Египта или Иудеи, Сирии или Финикии, сначала была местным заболеванием, порожденным нечистой торговлей, развивалась, усугублялась из-за отсутствия медицинской помощи, благоприятствовала случайным обстоятельствам и постоянно трансформировалась, постепенно или спонтанно, в зависимости от возраста,

темперамента, питания и физической конституции пациента. Отсюда и разновидности проказы, которые греческие и римские врачи, похоже, избегали описывать в своих трудах, как будто теория этой позорной болезни была им так же противна, как и ее практика. Таким образом, материнская проказа, по всей вероятности, была настоящим сифилисом пятнадцатого века, и именно в элефантиазе, как нам кажется, мы узнаем и сифилис, и материнскую проказу. Цельс едва упоминает элефантиаз, "почти неизвестный в Италии, - говорит он, - но очень распространенный в некоторых странах". Вероятно, он не наблюдал его или, по крайней мере, не хотел останавливаться на отвратительной болезни, которую считал редким исключением. Эта болезнь, - ограничился он словами, - поражает всю конституцию, вплоть до того, что изменяются самые кости. Поверхность тела усеяна многочисленными пятнами и опухолями, красный цвет которых постепенно приобретает черноватый оттенок. Кожа становится неровной, толстой, тонкой, твердой, мягкой и чешуйчатой; тело теряет вес, а лицо, ноги и ступни отекают. Когда болезнь приобретает определенную продолжительность (*ubi vetus morbus est*), пальцы стоп и кистей исчезают, как бы под этим отеком; затем начинается легкая лихорадка, которой достаточно, чтобы унести больного, уже перегруженного столькими недугами". Это описание меркнет по сравнению с тем, которое оставил нам современник Цельса, прославленный греческий врач Аретей из Каппадокии, который, вероятно, изучал эту болезнь в Малой Азии, где она была столь распространена и столь ужасна.

Вот это пугающее описание, которое мы сократили на две трети, убрав множество метафорических и поэтических черт, которые ничего не добавляют к правде и ужасу картины. В поддержку нашего мнения отметим, что Аретей путает элефантиаз с некоторыми другими болезнями, такими как сатириазис и *ментагре*, которые, по его мнению, являются лишь симптомами или особыми формами элефантиаза. "Между слоновьей болезнью и слоновьим диким зверем есть много общего, по внешнему виду, цвету и продолжительности; но оба они уникальны в своем роде: животное не похоже ни на какое другое животное, а болезнь - ни на какую другую болезнь". Эту болезнь называют также *львиной*, потому что она морщит лицо больного, как у льва; *сатириази́сом* - из-за красноты, проступающей на скулах больного, и в то же время из-за дерзости мучающих его амурных желаний; наконец, *болезнью Геркулеса*, потому что нет более сильной и тяжелой болезни. Она отвратительна на вид, страшна, как животное, чье имя она носит, и непобедима, как смерть, ибо возникает от самой причины смерти: охлаждения естественного тепла. Однако его принцип формируется без видимых признаков: никакое изменение, никакое осквернение не нападает сначала на организм, не проявляет себя по привычке, не обнаруживает существование зарождающегося зла; но этот скрытый огонь, оставаясь долгое время погребенным в внутренностях, как в темном Тартаре, наконец вырывается наружу и распространяется только после того, как захватит все внутренние части тела.

"У большинства пациентов этот пагубный огонь начинается с лица, которое становится блестящим, как зеркало; у других - с локтей, коленей, суставов рук и ног. С этого момента эти несчастные страдальцы обречены на гибель, поскольку врач по небрежности или невежеству не попытался побороть болезнь, когда она была еще слабой и таинственной. Болезнь усиливается, изо рта больного исходит инфекционный запах, моча густая, беловатая и мутная, как у кобыл; пища не переваривается, и хилез, образующийся при ее плохом приготовлении, служит для питания больного меньше, чем сама болезнь, центром которой является нижняя часть живота. Там прорастают туберкулы, один за другим; они толстые и грубые; пространство между этими неравными опухолями трескается, как слоновья кожа;

вены расширяются, но не из-за переизбытка крови, а из-за толщины кожи. Болезнь проявляется не сразу: подобные бугорки появляются по всему телу. Волосы уже вянут и выпадают; голова лысеет, а немногие оставшиеся волосы белеют; подбородок и лобок вскоре становятся безволосыми. Кожу головы пересекают глубокие, жесткие и многочисленные трещины или расщелины. Лицо щетинится жесткими, заостренными пореями, иногда белыми на вершине, зеленоватыми у основания; язык покрыт ячменно-зернистыми бугорками. Когда болезнь разгорается, возникает бурная эрупция, струпья захватывают пальцы, колени и подбородок. Скулы опухают и краснеют, глаза мутнеют и приобретают медный оттенок, лысые брови сближаются и сужаются, наполняясь крупными черными или синюшными подтеками, так что глаза кажутся скрытыми под глубокими морщинами, пересекающими веки. Это нахмуживание, это уродство накладывают на человеческое лицо отпечаток характера льва и слона. Щеки и нос также имеют черноватые наросты; губы опухшие: нижняя губа оттопырена и слюнява; зубы уже почернели; уши вытянуты, дряблые и вялые, как у слона; вокруг них образуются язвы, из которых выходит гнойная жидкость. Вся поверхность тела изборозжена мозолистыми морщинами и даже черными трещинами, которые врезаются в него, как кожа: отсюда и название болезни. Трещины также разделяют пятки и подошвы ног до середины пальцев. Если болезнь усиливается, то бугорки щек, подбородок, пальцы и колени заканчиваются фекальными и неизлечимыми язвами; они даже возвышаются один над другим, так что последние как бы доминируют над первыми и разъедают их. Случается даже, что конечности умирают раньше, чем субъект, пока не отделяются от остального тела, которое таким образом последовательно теряет нос, пальцы, ступни, все руки и гениталии; ибо болезнь только убивает пациента, чтобы избавить его от ужасной жизни и жестоких мучений, после того как расчленил его".

Если мы сравним эту страшную картину с той, которую нарисовали врачи XV века, когда в Европе впервые появился сифилис, то у нас не останется сомнений в том, что этот же сифилис уже был распространен пятнадцатью веками ранее под названием элфантиаз; мы также не будем сомневаться в том, что проказа, какого бы рода она ни была, имела своим источником нечистое сожительство. Так считает Раймонд, ученый историк элфантиаза: "Экономические законы, установленные на Востоке, - говорит он о гонорее, которая была очень распространена, и о торговле женщинами, - доказывают, что болезни гениталий и паха, которые так тесно связаны с ними, были действительно венерическими. Именно проказе, сифилитическим заболеваниям мы должны приписать ненависть и презрение, которые евреи, страдавшие ими, вызывали повсюду, а тем более у римлян.

Проказа и венерическая болезнь стали одним и тем же, потому что они так часто сочетались; не было ничего более частого, чем их вторжение; но ничто также не казалось более бесчестным, и никто не хотел признавать себя больным, когда все остальные были или были больны. Положение врачей между этими тайнами и отвращением общественного мнения всегда должно было быть деликатным и трудным; они лечили только проказу; они постоянно изобретали мази, панацеи и противоядия против проказы, а прокаженных нигде не было видно, если только болезнь не вспыхивала на лице или руках. Отсюда эти язвы на пальцах, которые Цельс утверждал, что лечит примочками из лициума или выжимками из вареного масла; отсюда эти мясистые наросты, называемые по-гречески *πτέρυγιον*, которые росли у основания ногтей и которые не всегда поддавались использованию минеральных прижигающих средств; От него произошел осседа или злокачественный абсцесс рта, который Марцелл Эмпирик в четвертом веке наивно описал, не вникая в его источник, но окружая его сифилитическими признаками; от него произошла другая болезнь рта, еще лучше охарактеризованная и более распространенная среди низших классов, в том классе,

куда набирались бродячие меркантильные женщины и самодовольные трусы феллатского разврата. Эта отвратительная болезнь называлась *campanus morbus*, потому что Капуя, эта королева похоти и бесчестья, как называл ее Цицерон (*domicilium superbiae, luxuriae et infamiae*), была обвинена в том, что породила ее. Наверняка большинство жителей Капуи носили на своих лицах позорные шрамы этого постыдного зла. В своем рассказе о путешествии в Брундизий Гораций изображает Сармента, вольноотпущенника Октавиана и одного из его возлюбленных, смеющимся и шутящим над кампанским заболеванием и своим лицом, которое было опозорено им (*campanum in morbum, in faciem per multa jocatus*). На левой щеке Сармента был ужасный шрам, который гримасничал под волосами его бороды (*at illi foeda cicatrix setosam laevi frontem turpaverat oris*). Один из комментаторов Горация, Круций, также комментировал кампанскую болезнь, изображая ее как синюшный нарост, который щетинился на губах и в конце концов перекрывал отверстие рта. Плавт не оставляет сомнений в природе этого нароста, когда в своем "Тринумме" провозглашает позорность кампанцев, которые, по его словам, превосходят в терпении самих сирийцев (*Campas genus multo Syrorum jam antidit patientia*). Плавтус узнал некоторые одиозные тайны блуда, вращая жернова у пекаря в Умбрии.

В большинстве венерианских болезней, опухолей и наростов, которые врачи считали самой болезнью, а не просто местными последствиями оккультного зла, эти прискорбные симптомы обычно становились хроническими, за исключением тех редких случаев, когда трение, паровые ванны и освежающие напитки ослабляли венерический вирус и постепенно уничтожали его. Вы никогда не выходили из длительного и болезненного лечения без следов не только на теле, но часто и на лице. Так, в результате язв во рту губы распухали и становились синюшными или кровавыми; это настолько деформировало черты лица, что женщину, обезображенную болезнью и чьи отвратительные губы напоминали гримасу гарпии (*spinturnix*), называли *spinturnicium*. Фикалии, мариски и чирьи, постоянно возникавшие при поражениях ануса, сопротивлялись железу и огню периодического лечения; пациент вскоре снова попадал в руки оператора: "Из твоего безволосого подиума, - говорит Ювенал, - врач, смеясь, вырывает раковые бугорки (*podice levi caeduntur humidæ, medico ridente, mariscæ*)". Этот позорный продукт разврата был настолько распространен, особенно среди простого народа, который не заботился о себе и видел, как болезнь передается от отца к сыну, что для описания людей, которые, как известно, были поражены этими язвами и бугорками, были придуманы эпитет и даже превосходная степень - *ficosus, ficosissimus*. В оде из "Пруапеев" мы видим, как среди поэтов гордо расхаживает самый фиктивный либертин (*inter eruditos ficosissimus ambulet poetas*). Марциал в одной из своих эпиграмм под названием *De familia ficiosa* рисует страшную картину этой семьи, а заодно и всех ее современников: "У жены - фиги, у мужа - фиги, у дочери - фиги, а также у зятя и внука. Ни управляющий, ни крестьянин-арендатор, ни поденщик, ни пахарь не свободны от этой позорной язвы. Молодые и старые, все они болеют фигами, и, что удивительно, ни на одном из их полей нет фиговых деревьев". Гнойные выделения и гонорея встречались не реже, чем опухоли, которым они предшествовали или сопутствовали; но врачи, по крайней мере теоретически и письменно, не выделяли среди этих воспалительных поражений уретры и влагалища те, которые возникали в результате нечистой торговли. Мы можем предположить, что последние были вызваны определенными несчастными случаями, в частности, язвой, которая называлась *ржавчиной* (*rubigo*). Рубиго, - говорит древний комментатор "Георгику" Вергилия, - это, как свидетельствует Варро, зло постыдного удовольствия, которое также называется язвой. Это зло обычно возникает от обилия и избытка юмора, который по-гречески называется *σатурίασις*. Так называется язва, которая раньше применялась к ржавчине пшеницы, измененной сыростью и плесенью. Приведенный нами отрывок из Сервия, основанный на авторитете Варрона, в достаточной степени подтверждает мнение,

которое внушило нам изучение сатириазиса древних. Эта болезнь, столь распространенная среди них, была не чем иным, как острой бленноррагией наших дней. Кроме того, существовал вид сатириаза, обычно вызываемый венерическими излишествами, и особенно опасными стимуляторами, которые использовались для этих излишеств. "Этот сатириазис, - говорит Целий Аврелиан, - представляет собой буйное возбуждение чувств (*vehemens Veneris appetentia*); он получил свое название от свойств травы, которую греки называют σατυριον. Те, кто употребляет эту траву, провоцируют Венеру на действия, вызывая эрекцию половых органов. Но существуют препараты, предназначенные для возбуждения чувств к венерическому акту. Эти препараты, называемые сатирическими, едкие, возбуждающие и вредные для нервов". Так описывал сатириаз Целий Аврелиан, основываясь на уроках своего учителя Фемисона, который первым наблюдал эту болезнь и лечил ее с помощью пиявок, которые до него, похоже, не использовались.

Кровянистые, ржавые и беловатые выделения, выделения и лейкорея были настолько распространены среди женщин Рима, что они обращались к Юноне под именем *Флуония*, чтобы богиня избавила их от этих неприятных неудобств, которые не всегда были результатом родов и часто указывали на нечистый микроб. Женщин, страдающих от этих нездоровых выделений, называли *ancunnuentæ* - странное слово, которое, похоже, образовано от непристойного существительного *cunnius*, а не происходит от глагола *cunire* - пачкать пеленки, как утверждает Фестус. Эти различные заболевания почти всегда приводили к увеличению паховых желез и, если их не лечить или не регулировать, к их нагноению. Астра считалась эффективным средством от болезней паха, и растение называлось *бубониум*, от греческого βουβώνιον. Название средства вскоре было применено к болезни или, по крайней мере, к одному из ее симптомов, и все виды гнойников, абсцессов и язв, расположенных в паху, были спутаны под названием *бубониум*. Мы считаем, что можем провести сравнение слов, которое может пролить свет на общие причины этого пахового заболевания. Римляне использовали глагол *imbubinare*, означающий "запятнать нечистой кровью"; этот глагол относился именно к состоянию женщин во время менструального недомогания. То же выражение использовалось и для обозначения любых едких выделений, а знаменитый стих во фрагментах старого Луцилия сравнивает два различных осквернения, которым подвергается развратник с двойной целью: *Hæc te imbubinat et contra te imbulbitat ille*. Однако Юлий Цезарь Скалигер предложил читать *imbulbinat* вместо *imbulbitat* и, соответственно, перевести так, не сумев, однако, передать латинский каламбур: "Она дает тебе бубоны, а он, напротив, дает тебе бугорки".

Мы удивлены тем, что не находим у поэтов больше упоминаний о болезни, которая, тем не менее, должна была быть широко распространена среди римлян, о выделениях из прямой кишки, об этом позорном пятне древнего разврата. По нашему мнению, описание или хотя бы лечение этой позорной болезни следует искать в параграфе, который Цельс посвятил геморрою. Скорее из скромности, чем по невежеству, все подобные выделения, независимо от их причины и природы, были включены в класс геморроя ( ). В этом не приходится сомневаться, когда мы видим, что Цельс предписывает использовать прижигающие и вяжущие пластыри в определенных случаях против геморроидальных выделений и сопровождающих их опухолей. Мы не считаем, что кристаллургию следует признавать в *clazomenæ*, которую ученые классифицируют как заболевание заднего прохода. По мнению Пьерруга, это трещины или разрывы в фундаменте, на которые указывал Цельс, а их прозвище происходит от названия города Клазомены в Ионии, где отвратительные нравы сделали это состояние почти всеобщим, хотя оно не было сосредоточено в этом беспутном городе. Скорее, в *clazomenes* мы видим некие грибковые бугорки, которые росли вокруг лобка, и мы примем этимологию, предложенную Фаччолати, *κλαζόμενος*, сломанный или

разорванный. Здесь же приводится знаменитая эпиграмма Авзония, в которой раскрывается истинный характер *clazomenes*: "Когда ты срываешь растительность, щетинящую твой подиум, омытый горячей водой, когда ты трешь пемзой *clazomenes*, выходящие из твоих почек, я не вижу истинной причины твоего недуга, кроме того, что ты имел смелость принять двойную болезнь, и что, будучи женщиной сзади, ты оставался мужчиной спереди". Такова ужасная эпиграмма, которую аббат Жобер, переводчик Марциала, не решился перевести, и которую комментаторы, похоже, не поняли:

Sed quod et elixo plantaria podice velles  
Et teris incusas pumice clazomenas;  
Causa latet; bimarem nisi quod patientia morbum  
Appetit, et tergo fœmina, pube vir es.

Более того, присутствие болезни Клазомена в Риме вовсе не удивительно, ведь Рим при императорах был захвачен иностранцами, которые, несомненно, принесли с собой как свои болезни, так и свои обычаи. Я не могу терпеть, римляне, - восклицал Ювенал, - я не могу терпеть Рим, ставший греческим; и все же эта ахейская грязь составляет лишь малую часть жителей Рима. Сирийский Оронт давно уже впадает в Тибр, принося нам свой язык, свои обычаи, свои арфы, флейты, барабаны и куртизанок, распутничающих в цирке. Идите к ним, те, кого возбуждает вид варварской волчицы в расписной митре!" Латинские поэты и писатели не забывали осуждать иноземных гостей Рима, которых они обвиняли прежде всего в том, что они развратили его нравы, принеся с собой свои национальные пороки и разврат. Именно Фригия, Сицилия, Лесбос и вся Греция осквернили старую римскую строгость. Лесбос научил римлян всем порокам лесбийской любви; Фригия дала им своих женоподобных женщин (*Fœmineus Phryx*, говорит Авсоний), этих молодых рабынь с длинными струящимися волосами, большими серьгами, туниками с широкими рукавами и красными и зелеными бродекинами. Лакедемония, гордая Спарта, также прислала колонию гитонов и трибадов: Ювенал так описывает лакедемонский позор, который без всякого правдоподобного результата терзает воображение сколистов и переводчиков: *Qui Lacedæmonium pytismate lubricat orbem*; Марциал приводит женскую борьбу, изобретенную Ледой и получившую гордое место в развратной Лакедемонии (*libidinosæ Lacedæmonis palæstras*). И Сибарис, и Таранто, и Марсель! "Сибарис овладел семью холмами!" - пробормотал Ювенал, все еще тоскующий по римской простоте первых веков; Сибарис, королева сладострастия и венерических болезней. Там же был и Таранто (*molle Tarentum*, говорит Гораций) с его прекрасными мальчиками с надушенной кожей, безволосыми конечностями и обнаженными телами под прозрачными одеждами, словно у нимф. Марсель также представлял себя со своими детьми, обученными разврату, но которые часто посвящали свои виновные руки только проституции, о чем свидетельствует отрывок из комедии Плавта: "Где вы, вы, которые просите практиковать марсельскую мораль? Если вы хотите протянуть мне руку (*si vis subigitare me*), то возможность хороша". Список городов и стран, которые внесли наибольший вклад в развращение Рима, не заканчивается. Нельзя забывать о Капуе и опийцах: последние, населявшие часть Кампании, деградировали до такой степени, что их имя стало синонимом самой унижительной проституции. Авсоний написал эпиграмму на Евнуса Сирика, *inguinum liguritor*, бывшего мастера опийского искусства (*Opicus magister*). Нас пугает количество неизлечимых и таинственных болезней, которые, должно быть, существовали в низших областях постыдных удовольствий.

Из Греции приезжало столько же врачей, сколько и куртизанок; но эти врачи, которых римские предрассудки преследовали повсюду с презрением, доходившим до ненависти,

были озабочены не столько радикальным лечением, сколько зарабатыванием денег. Они быстро богатели, как только их репутация указывала им путь к лечению того или иного недуга; но здоровье населения, несмотря на прогресс методичной медицины, не улучшалось. Об этом можно судить по характеру болезней, которые были наиболее популярны для научного изучения. Это всегда была проказа с ее многочисленными разновидностями. Каждый известный врач изобретал новое средство от того или иного местного проявления этой хронической чумы, которая смешивалась со всеми остальными болезнями. Существовало множество глазных капель от глазных болезней, топических средств от язв, полосканий от афт, пластырей от опухолей, что доказывает, что эти более или менее лепрозные и венерические поражения воспроизводились *ad infinitum*. После Мусы самым популярным врачом был Веттий Валенс, который прославился не столько своей иатрикой и хирургическим мастерством, сколько тайными связями с Мессалиной. Благодаря своей любовнице он, несомненно, не раз имел возможность узнать о болезнях любви. В то же время в Риме практиковал еще один ученик Фемисона: Мегес из Сидона лечил, в частности, прокаженную чесотку и успешно справлялся с золотушным набуханием груди. Его затмил его ученик Фессал из Тралл, не обладавший ни его знаниями, ни его опытом, но хваставшийся тем, что он - покоритель древних врачей (*i atrovikḥs*). Этот Фессал, которого Гален назвал безумцем и ослом, имел наглость утверждать, что он проводил внезапные исцеления, используя самые сильные лекарства в больших дозах. На самом деле он добился блестящих успехов в лечении проказы, язв и золотухи. В то время это лечение, казалось, составляло всю медицину, потому что проказа, распространившаяся повсеместно, казалась единственной болезнью. Поскольку число пациентов росло, Фессал счел нужным увеличить и число врачей, а поскольку ему требовалось всего шесть месяцев, чтобы подготовить учеников, столь же искусных, как и он сам, вопрос заключался в том, кто придет слушать его уроки: повара, мясники, кожевники и другие ремесленники бросали свое дело, чтобы следовать за Фессалом, который шел в окружении процессии фанатичных учеников. Врачи лишь еще больше упали в уважении и знаниях. Главной проблемой по-прежнему оставалось лечение проказы. Соран из Эфеса приехал в Рим при Траяне и привез с собой различные препараты, которые успешно помогали при облысении и ментагре. Мосхион, один из соперников Сорана, особенно интересовался женскими болезнями и изучением их половых органов; он лечил белые цветы энергичными средствами, которые немедленно их останавливали.

Наряду с этими врачами-методистами было множество эмпириков, антидотариев и фармакополов. Они вызывали еще большее презрение и отвращение, чем врачи. Гораций не считает, что поступает несправедливо, ставя их в одну категорию с развлекателями, нищими, тунеядцами и проститутками (*ambubajarum collegia, pharmacopolæ*). Эти шарлатаны занимались постыдными болезнями, что открывало широкое поле для фармакопии. Однако среди этих эмпириков было немало сведущих ботаников и гениальных манипуляторов. При Тиберии Менекрат, изобретатель диахилона, составил пластыри, которые часто оказывались эффективными против струпьев, опухолей и золотухи; Сервилий Дамократ изготовил превосходные смягчающие пластыри; Асклепиад Фармацион лечил язвы с плохим вкусом; Аполлоний из Пергама - афты; Андроммах, изобретатель териака, и Диоскорид, автор большого и знаменитого труда по медицине, по-видимому, придавали большее значение укусам змей, чем венерическому яду, который, тем не менее, уносил больше жертв.

Исследование и лечение этого яда представляло больший интерес для школы врачей-пневматиков, процветавшей в Риме во втором веке новой эры и включавшей Галена и

Орибасия. Один из этих врачей, Архигенес, преуспел в борьбе с проказой и иногда прибегал к кастрации, чтобы снизить заболеваемость этой болезнью, которая, безусловно, была венерической в тех случаях, когда он жертвовал мужественностью своего пациента. Он успешно разъяснил доктрину язв матки. Другой не менее искусный пневматик, Геродот, показал себя ревностным сторонником потогонных средств, которые, по его словам, освобождали пневму от всего, что в ней могло содержаться неоднородного: применение потогонных средств было, несомненно, всемогущим против болезней, имеющих сифилитический принцип. Эти болезни начали лучше изучать, а медикаментозное лечение становилось все более рациональным. Один из современников Галена, Леонид Александрийский, который, по-видимому, был столь же успешным врачом, сколь и искусным, отличился в лечении половых органов; его замечания о язвах и бородавках этих частей до сих пор представляют большой интерес, так же как и замечания об опухании и воспалении яичек. По правде говоря, - пишет Курт Шпренгель в своей "Истории медицины", - он не упоминает о торговле с нечистой женщиной; но мозолистые края, которые он указывает как отличительную черту этих видов язв, очевидно, вызваны присутствием внутреннего вируса". Этот вирус, назовем ли мы его *проказой* или *сифилисом*, существовал в большом количестве местных заболеваний, которые Гален и Орибасий не описывали с венерическими симптомами, но лечили эмпирически, на основе древних актуальных средств, которые в большинстве своем пришли с Востока, как и сами болезни, которые были проще и менее неузнаваемы по своему происхождению.

Появление архиатров или общественных врачей мы связываем с развитием проказы и венерических заболеваний в Риме. Первым человеком, носившим титул *архиатра* и выполнявшим свои обязанности в императорском дворце, был Андромех Старший, живший при Нероне. Этот архиатр следил за здоровьем не только императора, но и всех офицеров дворца. Задача была настолько сложной, что одного врача было недостаточно, и число палатинских архиатров (*archiatri palatini*) неуклонно росло вплоть до Константина. Иногда они удостоивались высоких почестей, и император называл их *præsul spectabilis*, почтенные мастера. В Риме и во всех городах империи также были учреждены народные архиатры (*archiatri populares*), которые занимались своим искусством бесплатно в интересах народа и возглавляли, так сказать, санитарную полицию. Сначала в каждой из областей Рима было по одному такому архиатру, так что на весь город приходилось четырнадцать врачей; но это число удваивалось и утраивалось, и вскоре их стало так же много, как жриц Венеры. Антонин Благочестивый упорядочил и дополнил это благородное учреждение; он постановил, чтобы в больших городах было назначено десять народных архиатров, в малых - семь, а в третьих - пять. В каждом городе архиатры создавали медицинскую коллегия, в которой обучались свои студенты. Этот колледж набирал себе учеников, голосуя за кандидата, представленного ему муниципалитетом в случае появления вакансии на должность архиатра. Таким образом муниципалитет гарантировал, что здоровье и жизнь его граждан будут доверены только честным и образованным людям. Архиатры пользовались рядом привилегий, свидетельствующих об уважении и покровительстве, оказываемом им властями. Они получали зарплату за государственный счет от декуриона, который выдавал им жалованье без каких-либо вычетов. Согласно Кодексу Юстиниана, государство выплачивало им это жалованье, чтобы они могли бесплатно лечить бедных и не были обязаны требовать плату за свою помощь, чтобы жить. Однако они могли принять вознаграждение, предложенное им пациентом в знак благодарности, но должны были ждать, пока больной не вылечится. Архиатры были освобождены от размещения войск, от явки в суд в обычном порядке, от принятия должности опекуна или куратора и от уплаты любых военных взносов, будь то деньгами, пшеницей или лошадьми. Наконец, любой, кто осмеливался оскорбить или обидеть их каким-либо образом, подлежал произвольному наказанию, а зачастую и

значительному штрафу. Эти врачи бедняков, вероятно, не были теми прославленными греками, которые приезжали в Рим продавать противоядия, вырезать и прижигать бородавки, промывать и перевязывать язвы, когда они не выполняли самую низкую работу в леноциниуме или не предавались самым мерзким поблажкам для своих пациентов.

Несомненно, что народные архиатры находились в непосредственном подчинении мэра: судебная медицина, таким образом, была результатом этой организации, но невозможно сказать, какие предметы она охватывала и какое действие могла оказывать на проститутку. По этому вопросу у нас нет ни одного текста, который мог бы подсказать или хотя бы просветить нас. Однако есть все основания предполагать, что эти уездные или областные врачи следили за здоровьем зарегистрированных проституток. Возможно даже, что этих женщин обязаны были посещать и наблюдать специальные врачи, ведь у весталок и гладиаторов тоже были свои врачи. В Кодексе Феодосия формально упоминаются весталки и гимнасии. Две древние надписи подтверждают функции цирковых врачей; одна из них называет имя Евтиха, врача утренних игр (*medicus ludi matutini*). Поэтому вполне естественно, что и у меркантильных женщин должны были быть свои врачи, более опытные и сведущие в лечении нечистых болезней, чем другие. Что касается куртизанок, которые не находились под опекой эдила, то они, вероятно, предпочитали этих пожилых женщин, известных как *medicæ*, которые были не только *акушерками*, но и врачами, поскольку они были связаны с магией в той же степени, что и с эмпирической медициной. Тот факт, что они практиковали свое искусство как *медики*, доказывает, что они часто делали это с разрешения эдила и архиатрической коллегии. Грутер сообщает об этой надписи: *Secunda L. Livillæ medica*, но не объясняет ее. Были ли у этой Л. Ливиллы в доме две рабыни, сведущие в искусстве врачевания, две повитухи, два мастера по изготовлению мазей и противоядий, или же это была одна *медичка*, преуспевшая в лечении, *secunda*? Понятно также, что женщины, получавшие при родах помощь не врача, а *акушерки*, не хотели довериться нескромным глазам мужчины, когда их мучила какая-то тайная или постыдная болезнь (*pudenda*). Поэтому для лечения женских недугов требовались женщины-врачи, а когда женщины были достаточно богаты, чтобы содержать определенное количество рабов и слуг, они включали в штат домашнего врача, который должен был руководить и следить за здоровьем своей госпожи. Конечно, были и женщины, свободные или вольноотпущенницы, которые занимались медициной и хирургией за свой счет, и именно к ним обращались простые женщины, у которых хватало скромности не отдавать себя в руки врачей.

В эпиграмме Марциала на Лесбию, греческую куртизанку, пользовавшуюся некоторой популярностью, говорится об одной из этих сексуальных болезней, о которой даже самые бесстыдные женщины постеснялись бы рассказать врачу другого пола: "Каждый раз, когда ты встаешь с кресла, я часто замечаю, несчастная Лесби, что твоя туника прилипает к твоему низу (*pædicant miseram, Lesbia, te tunicæ*), и что, чтобы снять ее, ты тянешь ее вправо и влево с таким усилием, что боль выжимает из тебя слезы и стоны; ибо ткань прилипает к ягодицам и проникает в прямую кишку, как сосуд, попавший между двумя скалами Симплегад. Хочешь ли ты избежать этого постыдного неудобства? Я научу тебя, Лесби: не вставай и не садись!" Цельс и римские врачи часто рекомендовали сидячие ванны при местных недугах того же рода. Для принятия этих сидячих ванн, которые были столь же распространены как в здоровом, так и в больном состоянии, использовалась мебель различной формы, квадратная, круглая или овальная, сделанная из дерева, терракоты, бронзы и даже серебра. Он назывался *солиум*, как будто женщина, занимая его, восседала на троне перед или после самого деликатного акта своего царствования. Древний комментатор Марциала говорит, что римские женщины, матроны или куртизанки, в век роскоши и азиатской мягкости отказали бы во всем своим любовникам или мужьям, если бы им не разрешили помыться (*abluerе*) в

серебряном биде. Эти омовения становились тем более частыми, чем менее здоровыми были женщины, а здоровье мужчин подвергалось большому риску. Многие исцеления от недавних и незначительных болезней можно приписать этим омовениям, а также омовениям, которые постоянно возобновлялись в банях и парных, и трению и разжиганию, которые всегда сопровождали их; в любом случае, развитию венерических заболеваний сильно препятствовало ежедневное и почти непрерывное использование потовых бань.

Врачи, особенно те, у кого была большая и богатая клиентура, конечно же, не опускались до лечения тайных болезней; они брались за это лишь с неохотой, в надежде на щедрое вознаграждение. Такое пренебрежение медиков к этому виду заболеваний, как нам кажется, проистекает из самих привычек этих знаменитых врачей, которые прибывали в дома своих пациентов со свитой из двадцати, тридцати, а иногда и ста учеников, как говорит Марциал. Число этих учеников было пропорционально заслугам или, скорее, репутации их мастера, и все они приходили за ним, чтобы пощупать пульс пациента и определить диагноз болезни. Нет нужды доказывать, что венерический больной не стал бы выставять себя на всеобщее обозрение, подвергаясь медицинским наблюдениям и насмешкам свиты врача. Поэтому существовали врачи или фармакополы, которые присваивали себе лечение тайных болезней и окружали это лечение, которое эмпирическая медицина слишком часто была вынуждена оставить хирургии, тайной и осторожностью. Непристойный недуг, сначала долго игнорируемый, а затем широко лечимый эмпириками, обычно заканчивался ужасной операцией, как это описано Марциалом в эпиграмме: "Баккара, грек, поручает лечение своих постыдных частей врачу, своему сопернику; Баккара будет кастрирован". Другая эпиграмма Марциала, посвященная смерти Феста, позволяет предположить, что больные часто отчаивались в своем выздоровлении и убивали себя, чтобы избежать неизлечимых недугов и мучительных агоний. Таков был конец друга императора Домициана, благородного Феста, который, страдавший от пожирающей его горло болезни, ужасной болезни, которая уже проникала в его лицо, решил умереть и сам утешал своих друзей, прежде чем стоически заколоть себя кинжалом, как великий Катон.

Исцеление было и должно было быть долгим и трудным, как только болезнь успевала распространиться и укорениться. Шарлатаны, продававшие неконтролируемое количество лекарств в таблетках и палочках с собственным клеймом, не могли не воспользоваться неловкостью, с которой сталкивались пациенты, лишенные врача. Во многих случаях только суеверие помогало бороться с болезнью, но оно мало что делало, чтобы остановить ее развитие. Несчастный пациент ходил от храма к храму, от бога к богине с подношениями, молитвами и пожеланиями. Больные, которые могли позволить себе написать для них votivные картины, вешали их в святилищах Венеры, Приапа, Геркулеса или Эскулапа. Можно предположить, что в этих аллегорических картинах соблюдались приличия. Однако вокруг алтарей всех божеств также висели фигурные изображения больных органов, выполненные из гипса, терракоты, дерева, камня или драгоценного металла. Приносились искупительные жертвы, которые всегда включали лепешки из чистой пшеницы (*колифии*) в форме половых органов и самых экстравагантных пропорций. Жрецы некоторых богов и богинь не ели другого хлеба, кроме этих непристойных пирожных, которые распутники также приберегали для своего веселого стола: *Ille silegineis pinguescit adultera cunnis*, говорит Марциал, который приписывает этому кондитерскому изделию благоприятное влияние на тучность. Наибольший приток пациентов и подношений наблюдался в тех часовнях и храмах, чьи священники занимались медициной. В конце концов, в Риме любой мог назвать себя врачом и изготавливать лекарства. Тайные болезни открывали широкое поле для

шарлатанских спекуляций, и среди этих спекулянтов окулисты были не самыми изобретательными; цирюльники тоже не ограничивались расческами и бритвами; цирюльники, эти проницательные ленники, которые протягивали руки ко всем ремеслам проституции, считали болезни, которые возникали от нее, своей собственностью; Рабы бань, *unctores*, *aliptes* обоих полов, естественно, знали все секреты здоровья своих клиентов и, предоставив им средства разврата, обеспечивали их средствами лечения; наконец, болезни Венеры были так многочисленны и так распространены, что каждый сам для себя создавал гигиену и мог лечить себя в случае необходимости, не беря с собой доверенных лиц и не опасаясь никакой неосторожности.

И все же эти болезни, столь многочисленные, столь разнообразные, столь необычные среди древних, оставались в тени, и величайшие врачи древности, похоже, молчаливо согласились скрывать их под мантией Эскулапия. Но мы легко можем представить себе, что они собой представляли, когда подумаем о чудовищном расстройстве нравов в Риме императоров; когда увидим, как Проституция подсматривает за детьми, когда они выходят из колыбели, и с жестокой радостью овладевает ими, прежде чем они достигнут седьмого года. "*Junonem meam iratam habeam, si unquam me meminim virginem fuisse!*". Венерические заболевания были присущи проституции и распространялись повсюду вместе с ней. Если здоровье одного хозяина становилось подозрительным, то здоровье всех его рабов подвергалось большому риску. Разве не осмелился римский оратор Ахерий, современник Горация, громко заявить, выступая по уголовному делу: "Дерзкое потворство - преступление для свободного человека, необходимость для раба, долг для вольноотпущенника (*Impudicitia, inquit Acherius, in ingenuo crimen est, in servo necessitas, in libero officium*)!" Об этой отвратительной апофтегме *педиконов* рассказывает в своей "Античной лекции" Целий Родигин.

---

## ГЛАВА XXI.

Краткое содержание.- Медицина и юриспруденция.- Происхождение повитух.- Афинская Агонодицея.- *Сагэ*.- Обнажение новорожденных в Риме.- *Суппозитории* или обменники детей.- Происхождение слова *повитуха*.- Аборты.- Юлия, дочь Августа.- Благовония, духи, фильтры и проклятия.- Омерзительные практики, с помощью которых *сагэ* пачкали себя, чтобы приготовить любовные зелья.- Парфюмер Гратидия.- Ужасные секреты этой волшебницы, раскрытые Горацием, чьей любовницей она была.- Гора Эсквилино, обычная сцена магических призывов и жертвоприношений.- Гратидия и ее сообщник, старый саган, в Эсквилиях.- *Снадобья-афродизиаки* - *Зелье желания* - Состав любовных зелий - *Гиппомен* - Римская парфюмерная смесь - *Никеротиан* и *фолиатум*.- Различные духи - Косметика - Ванна из ослиного молока Поппеи - Куртизанка Акко - Предметы и утварь, используемые для проституции, продаваемые *сагами* и парфюмерами - *Фашиnum* - *Фибулы* - Как проводилась инфибуляция - Кастрация женщин - Жрецы Кибелы.

Мы ничего не знаем о том, какие услуги оказывали *медики* женщинам в деликатных обстоятельствах, когда их здоровье требовало внимания и руки человека их собственного пола; мы вынуждены строить догадки, весьма правдоподобные, об этой тайной главе искусства врачевания, которую писатели древности оставили покрытой непроницаемой завесой. Но если мы не в состоянии оценить на основе общепризнанных авторитетов ту роль, которую играли *медики* в лечении болезней любви, то нам нетрудно будет отметить их

полезное и активное вмешательство не только в случаи беременности и родов, но и в таинственное приготовление косметики, духов и фильтров. В Риме и в главных городах Римской империи, несомненно, существовали *medicæ juratæ*, как называет их Аниан в своих примечаниях к Феодосийскому кодексу: "Если возникает сомнение в беременности женщины, пяти присяжным повитухам, то есть тем, кто имеет лицензию на изучение медицины (*medicæ*), предписывается посетить женщину (*ventrem jubentur inspicere*)". Однако помимо этих квалифицированных практиков, которые, вероятно, проходили медицинский осмотр и находились под контролем народных архиатров, многие женщины, особенно иностранки, вольноотпущенницы или даже рабыни, занимались оккультной медициной и совмещали это искусство, которому они могли учиться или не учиться, с профессией парфюмера и зачастую преступной практикой магии. Хигин в своем сборнике мифологических басен рассказывает о том, как в Греции медициной впервые занялась женщина. С древнейших времен именно мужчины помогали женщинам при родах, хотя скромность должна была страдать от той помощи, которую они вынуждены были принимать. Но молодая афинянка по имени Агонодис решила освободить свой пол от бесчестного рабства, разгневавшего Юнону: она обрезала волосы, надела мужскую одежду и стала брать уроки у знаменитого врача, который обучил ее искусству родов и сделал отличной акушеркой. Затем она стала помогать своему хозяину и выполнять его планы; она оказалась настолько искусной, умелой и, главное, порядочной, что матроны, нуждавшиеся в ребенке, больше не обращались ни к какому другому врачу. Вероятно, Агонодис рассказала им о своем сексе по секрету, ведь вскоре ни одна женщина в Афинах не прибегала к помощи врачей для своего избавления. Поначалу врачи были поражены, потом раздражились и объединили усилия против молодой соперницы, которая отнимала у них бизнес. Агонодис был единственным человеком, которого видели у кроватей рожениц, которые улыбались ему и говорили с ним со странной фамильярностью. Его молодость, очаровательное лицо, его милости и заслуги вызвали клевету: утверждали, что он владеет искусством превращать родовые муки в удовольствие; в магистрате на него писали доносы как на дерзкого развратителя честных женщин. Он не стал отвечать своим обвинителям и предстал перед Ареопагом. Там, ничего не утверждая в свое оправдание, он распахнул тунику и открыл свой пол, что привело к его оправданию. Врачи были убеждены, а народ потребовал отменить древний закон, запрещающий женщинам заниматься врачебной практикой. Эта история доказывает, что медициной всегда занимались мужчины и женщины без разбора и что женщины в Риме и Афинах почти исключительно сами лечили болезни своего пола.

Поэтому женщины, занимавшиеся медициной, особенно тайной, были очень многочисленны и принадлежали к разным классам: *медики*, наиболее высоко ценимые за свои знания и характер, несомненно, занимались всеми отраслями этого искусства; *акушерки* ограничивались ролью повитух; *аджестрисы* были лишь помощницами или ученицами этих повитух; наконец, к многочисленной и разнообразной категории парфюмеров и магов, все или почти все из которых принадлежали или принадлежали к Проституции. Это было прибежище старых куртизанок; это была любимая работа свах. Различные типы продавцов мазей и фильтров, которые они часто делали сами, используя магические обряды, изобретенные в Фессалии, были объединены под общим названием *sagæ*. Но *sagæ* не все были магами; большинство из них знали лишь самые простые и невинные элементы этого пагубного искусства; многие были совершенно не осведомлены о составе продаваемых ими лекарств, что слишком часто приводило к смертельным случаям, на которые закон охотно закрывал глаза; некоторые были не более чем несанкционированными акушерками, которые делали аборт и окружали рождение незаконнорожденных детей заклинаниями и амулетами. Мы знаем, что таких родов в Риме было немало и что каждое утро трупы новорожденных собирали на улицах, у порогов домов,

под портиками и из печей пекарей и обрекали на верную смерть, выставляя их обнаженными на камень в момент выхода из утробы. Именно *сага* выполняла ужасную миссию детоубийства, задушив в складках своего одеяния невинные жертвы, чьи крики обрекали их на насильственную смерть. Нередко, правда, мать жалела плод своего чрева и довольствовалась тем, что ребенок выставлялся на свет, завернутый в пелену, либо на берегу озера Велабре (*lacus Velabrensis*), либо на овощном рынке (*in Foro olitorio*), у подножия Молочной колонны (*Columna lactaria*); Там, по крайней мере, этих несчастных сирот принимали и усыновляли за счет государства, которое выступало в роли их опекуна, но накладывало на них клеймо бастарда. Случалось также, что бесплодные матроны, *супостаты* (позорные блудницы, промышлявшие подменой детей в яслях) и горожане, опечаленные отсутствием наследников, выбирали среди этих несчастных брошенных детей тех, кто мог бы наилучшим образом послужить их честным или нечестным целям. Велабр часто оглашался причитаниями в тени, и *саги*, сами матери, могли быть замечены проходящими мимо, как призраки, принося свою дань этому отвратительному минотавру, известному как выставление (*expositio*) детей на общественном шоссе. Очевидно, что происхождение слова "*акушерка*" должно быть связано со словом "*сага*", которое было воспринято не совсем правильно и которое Ноний использует как синоним подстрекательницы к разврату (*indagatrix ad libidinem*).

Эти *сагэ* охотно прибегали к абортам в начале беременности (*aborsus*) или в последние месяцы беременности (*abortus*). Эти аборты, которые закон должен был наказывать и которые он избегал расследовать, потому что у него было бы слишком много работы, стали настолько частыми при императорах, что самые бесстыдные женщины не боялись предотвращать таким образом рост своих семей. Существовали снадобья, обеспечивающие быстрый и легкий аборт без всякой опасности; но были и вредные снадобья, убивающие и мать, и ее потомство. В этом случае *акушерка* или *сага*, которая по неосторожности, незнанию или иным причинам совершила двойное убийство, также уподоблялась отравителю : этот негодяй был приговорен к высшей мере мучений. Что касается тех, кто вводил эти абортивные зелья и не действовал без ведома беременной женщины, то часть их имущества могла быть конфискована, а сами они могли быть отправлены на острова, поскольку, по словам юриста Паулуса, их действия подавали дурной пример. Но наказание за это преступление было очень редким и вскоре стало невозможным, потому что все были виновны в одном и том же, а императрица часто подавала пример, как признавался сам император, не имея даже скромности, чтобы скрыть это надругательство над природой. Самой распространенной причиной постоянных абортов был просто страх изменить чистоту полированного живота и красивого горла, принеся их в жертву более или менее неприятным последствиям болезненной беременности и родов. Неужели вы думаете, - возмущалась Аулу-Гель, говоря об этих преступных маразмах, - что природа дала женщинам груди как изящные выступы, предназначенные для украшения груди, а не для питания детей? С этой мыслью большинство наших дивных женщин (*prodigiosæ mulieres*) стремятся иссушить и иссякнуть этот священный фонтан, из которого человеческий род черпает жизнь, и рискуют испортить или отнять у себя молоко, как будто это портит эти атрибуты красоты. Это же безумие заставляет их делать аборты с помощью различных вредных препаратов, чтобы полированная поверхность их чрева не сморщилась и не обвисла под тяжестью их бремени и труда рожениц". Аборт часто мотивировался еще более греховными причинами: в одном случае замужняя женщина хотела уничтожить доказательство своего прелюбодеяния; в другом - распутная женщина, чувствуя, что ее желания и пыл любви угасают из-за беременности, прибегала к преступным средствам, чтобы не потерять то, что она предпочитала радостям материнства. Однако такое оцепенение чувств во время беременности не было всеобщим, и некоторые женщины, чье воображение было возвышено

развратом, наоборот, никогда не находили себя более пылкими в любви, чем во время беременности, которая, кроме того, успокаивала их против препятствий того же рода. Так, Юлия, дочь Августа, отдалась любовникам только тогда, когда была беременна от своего мужа Агриппы, и время ее беременности ничем не помешало ее расстройством. Макробий сообщает, что она отвечала тем, кто удивлялся, что ее дети, несмотря на эти излишества, всегда похожи на мужа: "Действительно, я принимаю пассажиров на борт только тогда, когда корабль загружен (*at enim nunquam nisi navi plenâ tollo vectorem*)". Как только женщина беременела, не было недостатка в советах, предложениях и соблазнах, чтобы убедить ее принести ребенка в жертву своей красоте; ее атаковали и обводили вокруг пальца специалисты по абортам: "Она скрывала от вас свою беременность, - говорит персонаж пьесы Плавта *"Трукулентус"*, - потому что боялась, что вы убедите ее согласиться на аборт (*ut abortioni operam daret*) и на смерть ребенка, которого она носит".

Беременность и аборт, таким образом, давали римским *сагэ* много работы, но это было лишь самое малое из тайн их искусства. Еще больше они получали от своих мазей, духов, фильтров и проклятий. Эти заклинания напоминали те, что издревле происходили в Греции, особенно в Фессалии, и рассказ Горация о магическом заклинании в его *"Эподах"* едва ли отличается от изображения Феокритом подобной сцены тремя веками ранее. Более того, цель этих отвратительных суеверий всегда была одной и той же, во все времена и у всех народов. Маг произносил заклинания или составлял зелья. Главной целью этих зелий было разжечь огонь любви и создать новый, сверхчеловеческий, неугасимый пыл; эти зелья должны были превратить ненависть в любовь или любовь в ненависть и преодолеть все сопротивление скромности или равнодушия. Чаще всего заклинания использовались для борьбы с обидой и местью. Заклинания такого рода, несомненно, встречались у римлян реже, чем у греков; но, с другой стороны, нигде наука любовных зелий не была более развитой или более распространенной, чем в Риме при Цезарях. Гораций рассказывает нам об отвратительных способах изготовления любовных зелий, которые использовали *саги* его времени. Гораций был любовником неаполитанской парфюмерши по имени Гратидия, которую он осудил на публичное отвращение под именем Канидия. Гораций в своем романе с этой Канидией, которую он в конце концов возненавидел так же сильно, как и любил, с ужасом посвятил себя в самые темные тайны колдуний: "Они постоянно общались с куртизанками, - пишет М. Валькенаер в своей превосходной *"Истории жизни и творчества Горация"*, - они были среди них и вмешивались во всевозможные любовные интриги". Гратидия была одной из самых известных римских *саг*, благодаря поэтическому гневу Горация, который не простил ей того, что она продалась старому распутнику по имени Вар; эта парфюмерша была достаточно молода и красива, чтобы еще иметь возможность продавать себя, и ее прелести заслуживали того, чтобы стать предметом сожаления для брошенного любовника. Сколиасты Горация считали, что поэт упрекал Гратидию прежде всего за то, что она использовала над ним роковую силу приворотных зелий и тем самым лишила его молодости, сил, иллюзий и здоровья. Гораций, действительно, постоянно страдал от глазного недуга, который, не обижаясь на Канидию, можно приписать фильтрам и болезни Венеры.

Гора Эсквилино была обычным местом для магических возлияний и жертвоприношений. Этот курган служил кладбищем для рабов, которых хоронили в беспорядке, не надевая савана; по ночам единственными живыми людьми в этом уединенном месте, населенном мертвецами, были воры, которые находили себя в безопасности, и ведьмы, которые приходили совершать темные дела. В дальнем конце Эсквилей, у ворот Меция, в окружении уключин и крестов, с которых свисали трупы замученных, уединенно обитал *карнифекс* или

палач, как бы присматривая за своими подданными; чудовищная статуя Приапе также наблюдала за этим мерзким и отвратительным логовом *саг* и воров. В бледных лучах луны можно было видеть, как туда вбегали Каниди и ее сообщница, старая Сагана, босая, с распущенными волосами, с обнаженной грудью, закутанная в большой плащ. Гораций видел, как они, эти ужасные землеройки, разрывали черную овцу, сливали кровь животного в яму, разбрасывали вокруг себя клочья пульсирующей плоти, вызывая духов и вопрошая судьбу. Вокруг темного жертвоприношения бродили собаки и змеи, а луна закрывала свой кровавый лик, чтобы не освещать это жуткое зрелище. Сам Приапе с отвращением отнесся к тому, что ему показывали, и расколол надвое ствол фигового дерева, из которого было грубо вырезано его изображение. При звуке трескающегося дерева обе колдуньи испугались и убежали, не закончив заклинания, в беспорядке разбросав по дороге: Каниди - свои зубы, Сагана - свой парик в форме пирамиды, свои травы и усыпанные кольцами. Они забрали маленького ребенка из семьи, заживо похоронили его в яме для рабов, и только голова жертвы возвышалась над землей; они преподнесли ему вареное мясо, запах которого раздражал его голод и муки. Ребенок умоляет их именем своей матери, именем своих детей, Каниди и Сагана безжалостны; Канидий сжигает в волшебном огне дикую смоковницу, сорванную с могил, погребальный кипарис, перья и яйца совы, пропитанные жабьей кровью, ядовитые травы Колхоса и Иберии, кости, вынутые из пасти голодной суки; Сагана, щетинясь гривой, танцует перед костром, окропляя его блестящей водой: О Вар, - плачет Каниди, кусая ногти своим оскаленным зубом, - о Вар, сколько слез ты прольешь! Да, неведомые снадобья заставят тебя вернуться ко мне, и все чары марсов не вернут тебе рассудка. Я сам приготовлю и налью напиток, который победит отвращение, которое я внушаю тебе. Да, небеса опустятся ниже морей, земля поднимется выше облаков, где ты будешь гореть для меня, как битум в этих зловещих кострах". Но плачущий ребенок уже близок к смерти; голос его слабеет, погасшие глаза неподвижно смотрят на блюда, выставленные перед его ртом; Каниди вооружается кинжалом и подходит к нему, чтобы вскрыть ему живот в момент последнего вздоха, ибо из его увядшей печени и костного мозга она должна составить любовный напиток (*exsucta uti medulla et aridum jecur amoris esset poculum*): "Я посвящаю тебя фуриям, - плачет несчастный стонщик, - и это проклятие ничто в мире не сможет отвратить от тебя. Я погибну от твоей жестокости; но, ночной призрак, я явлюсь тебе; моя тень разорвет твое лицо своими крючковатыми ногтями, которые являются силой богов; я отягощу твою пытящую грудь и лишу тебя сна, охлаждая тебя страхом. На улицах толпа будет гнать вас пинками, непристойные старухи. А потом волки и вороны Эскилии будут драться за ваши непогребенные конечности!"

Не все заклинания, исполняемые *сагами*, были столь ужасны, и эти заклинатели обычно отправлялись на гору Эсквилино только ночью, чтобы собрать волшебные растения при свете луны, поискать волосы и кости мертвецов и взять жир повешенных. За эти омерзительные практики, запятнанные человеческой кровью, им также приходилось платить большие деньги, хотя жизнь детей в Риме считалась малоценной; но ребенок, которого закапывали живьем, должен был быть украден у кормилицы или родителей, иначе его печень и костный мозг не имели бы той силы, которая дарует любовь. Похищение ребенка, родившегося свободным или бесхитростным, могло быть наказано высшей пыткой. Магические зелья готовились с целью достижения одного из трех следующих результатов, которых любовь или ненависть добивались от искусства *сагэ*: заставить человека, который не любит, любить; заставить человека, который любит, ненавидеть; парализовать, заморозить в человеке всю пылкость и энергию его темперамента. Это третье проклятие, которого так боялись в Средние века под названием "*aiguillette knot*" и которое уголовная юриспруденция постоянно преследует почти до наших дней, было не менее ненавистно римлянам, которые были возмущены тем, что сами подвергались его печальным

последствиям. *Сагэ* прекрасно разбирались в этом виде зла; они знали, как довести до бессилия самые негибкие натуры, и все, что им нужно было сделать, - это завязать узлы веревками или черной проволокой, произнося при этом определенные слова и призывы. Это называлось *præligare*, когда целью было предотвратить первые отношения между любовником и его любовницей, между женой и ее мужем; *nodum religare*, когда намерением было уничтожить и приостановить эти уже существующие отношения. Узел *aiguillette*, который всегда был ужасом любовных отношений, только в призраке воображения; но древние, как и современные, приписывая его невидимой силе, по крайней мере, обеспечивали себе убежище для своего человеческого тщеславия. Римляне испытывали необычайный страх перед этим проклятием, которое казалось им позором для человека, лишенного привилегий своего пола; они считали его настолько ужасным и постоянным, что даже избегали говорить о нем; Они верили, что постоянно находятся под его угрозой, и, чтобы отгородиться от него, если у них на уме была любовь, они образовывали узлы, которые тут же развязывали, с помощью шнуров или ремней, которые сначала закручивали вокруг статуи Геркулеса или Приапа. Жертвоприношения, которые люди приносили этим двум божествам, тайно, на алтаре домашнего очага, не имели иной цели, кроме как разрушить магические узлы, которые вражеская рука могла сделать, чтобы связать чувства и обмануть надежду на удовольствие. Малейшее упоминание об этом роковом магическом заговоре считалось роковым, как будто злой джинн был заговорен сразу после того, как его назвали. Поэты и писатели, какими бы старыми они ни были, боялись затрагивать эту деликатную тему, которая со дня на день могла стать для них личной и причинить им страдания; поэтому они старались не смеяться над несчастьем других. С крайней сдержанностью Тибулл в элегии присоединяется к боли влюбленного, который тщетно ищет и не может найти себя даже в объятиях прекрасной Фолои: "Неужели какая-то старуха своими волшебными песнями и сильными снадобьями, - говорит поэт любви, - околдовала тебя в тихую ночь? Магия заставляет урожай с соседних полей проходить через одно поле; магия останавливает разъяренную змею на своем пути; магия даже пытается вытащить луну из ее колесницы. Но зачем винить в своих несчастьях песни ведьмы? Зачем винить ее зелья? Красота не нуждается в помощи магии; но что сделало тебя импотентом, так это то, что ты слишком много ласкал это прекрасное тело, слишком долго продлевал свои поцелуи, слишком сильно прижимал ее бедро к своему". (*Sed corpus tetigisse nocet, sed longa dedisse oscula, sed femori conseruisse femur*). Тибулл был настолько сдержан в обращении к этой зловещей теме, что элегия, которую он посвящает ей, полна сдержанности и неясности.

Но самыми сильными и страшными зельями были те, которые *саги* и старые куртизанки готовили по неизвестным рецептам, без помощи магии. Единственной целью этих снадобий было пробуждение чувств и усиление любовного возбуждения. В Риме их использовали в огромных количествах, несмотря на опасность такого перевозбуждения природы. Каждый день подобный напиток приводил к смерти, безумию, параличу или эпилепсии, но этот роковой пример никого не останавливал, и жажда удовольствий накладывала отпечаток на разум. Кроме того, эти зелья не все были одинаково смертельны, и обычно несчастные случаи, которые справедливо приписывали им, происходили скорее от злоупотребления, чем от умеренного употребления. Сначала распутники довольствовались минимальной дозой, которая возвращала им весь огонь молодости; но по мере того как этот огонь уменьшался, они постепенно увеличивали дозу яда, которому были обязаны неким симулякрот наслаждения, и вскоре зелье уже не действовало на истощенную природу, которая выдыхалась в последнем усилии любви в безумии. Так погиб друг Цицерона Л. Лициний, не дожив до своего времени. Лукулл, образец блуда и сладострастия, поэт Лукреций и многие другие, прошедшие путь от безумия до смерти. *Афродизиаки* - так назывались все эти зелья, как правило, более или менее вредные, целью которых было

разжечь огонь Венеры. Их давали и женщинам, лишенным здравого смысла, и молодым девушкам, чей амурный аппетит еще не пробудился; но мудрые и честные врачи категорически не одобряли использование этих афродизиаков, особенно для молодых девушек: "Эти зелья, которые делают цвет лица бледным, - восклицает Овидий в своей "Ремеде любви", - не идут на пользу молодым девушкам; эти зелья вредят разуму и содержат зародыш яростного безумия". Большинство этих снадобий приходилось принимать на веру, не зная, какие ингредиенты соединили суеверие или эмпиризм. Несчастный, который подвергал себя отравлению, чтобы вернуть себе несколько мгновений чувственного наслаждения, часто имел единственной гарантией хорошую или плохую репутацию *саги*, у которого он собирался купить это удовольствие. Часто, правда, зелья состояли не более чем из травяных соков и отваров: "Растения, возбуждающие чувства, - говорит Цельс, - это аир, тимьян, чабер, иссоп и особенно парша, а также рута и лук" (точнее, гриб *сера*); но часто в эти смертельные снадобья добавляли минеральные и даже животные вещества, составляя самые ужасные *amatoria*. Подобный напиток, рецепт которого был у Канидия, назывался *rosulum desiderii*, как говорит Гораций, *зелье желания*. Существовали также природные воды, сернистые и железистые, которые считались благоприятными для чувств и безвредными в своем эротическом воздействии. Именно эти зелья медицина противопоставляла зельям парфюмеров и магов. Эти возбуждающие воды, *aquæ amatrices*, как их называли, теряли почти всю свою силу, когда их отвозили далеко от источника. Марциал говорит в одной эпиграмме: "Гермафродит ненавидит воды, которые заставляют любить (*odit amatrices Hermaphroditus aquas*)"; в другой эпиграмме он, кажется, намекает, что эти воды арендовались или принадлежали женщинам, несомненно куртизанкам, которые сделали их модными и эксплуатировали их: "Кто этот подросток, который удаляется от чистых волн фонтана Янтиса и укрывается у наяды, хозяйки этого фонтана (*at fugit ad dominam Naiada*)? Не Хилас ли это? Как удачно, что Гераклу, полубогу Тиринфа, поклоняются в лесах, окружающих фонтан, и что он так внимательно следит за его любовными водами! Аргинус, черпай без страха из источника, чтобы дать нам попить; нимфы ничего тебе не сделают, но берегись, чтобы тебя не схватил Геракл!" Таким образом, эти *aquæ amatrices* не были, как полагают многие ученые, напитками, сочиненными и приготовленными рукой *саги*, а просто минеральными водами, которые, оживляя бодрость уставшего темперамента, естественно подготавливали его к любовным делам и как бы пробуждали новую молодость.

Точных сведений о составе этих снадобий нигде не найти в писаниях древности. Кроме того, легко понять тайну, которой продавцы снадобий окружали свой зачастую преступный промысел, тайну, в которую наука не пыталась проникнуть. Их интересовали только эффекты, которые были поистине невероятными, а не причины. Физиолог Вирей собрал у Диоскорида, Теофраста, Плиния и т. д. все разрозненные и нерешительные элементы, которые позволили ему восстановить историю афродизиаков в древние времена. Он разделил их на два основных класса: растения и животные; среди первых были наркотические, едкие и ароматические стимуляторы, душистые вещества и духи. Мандрагора, колючие яблоки и дикая конопля, в которой узнается гомеровская непенте, вызывали сладострастное опьянение, которое длилось неутомимым удвоением эротических ощущений и восхитительно приводило к потере памяти, тупости и смерти. Грибы, особенно фаллосы и сморчки, агарики, аристолохи, резкие смолы, ароматические травы и семена этих растений мощно стимулировали органы удовольствия; спиртные напитки, в которых настаивались некоторые ароматные цветы, также развивали чувственную активность у обоих полов. Но эти стимуляторы, заимствованные из растительного царства, вскоре перестали действовать на чудовищных развратников, которые всегда стремились превзойти пределы человеческой силы и искали себе образцы среди богов своей амурной мифологии. Поэтому они прибегали к страшным снадобьям, с помощью которых могли целыми ночами убеждать себя, что

Юпитер или Геркулес спустился с Олимпа и превратился в человека. Иногда они умирали, так и не насытившись сладострастием, и их пугающий приапизм продолжался еще долго после их смерти. Насекомые, рыбы и животные вещества, в свою очередь, были призваны внести свой вклад в страшную смесь, известную как *сатирион*. Кантарида, сверчки, пауки и многие другие жуки, растертые в порошок или просто настоянные в вине, жестоко действовали на половые органы и немедленно вызывали их сильное раздражение, часто приводящее к серьезным проблемам с мочевым пузырем. Такого же успеха достигали полынь, сушеница и черепаший яйца, смешанные с амброй; но после чудесных проявлений мужественности, после долгих и неистовых вспышек любви жертва собственного либертинизма впадала в судорожную болезнь, которая заканчивалась только смертью: "Отсюда, - восклицал Ювенал, - эти приступы безумия, отсюда это помрачение рассудка, отсюда это глубокое забвение всего! Ювенал говорит о фессалийских фильтах, которые преступная жена затеяла, чтобы нарушить рассудок своего мужа. Марциал, который не более снисходителен к этим опасным напиткам, лишь советует уставшим или озябшим любовникам использовать луковицы (лук, по мнению одного комментатора; грибы, по мнению другого; специи, по нашему мнению): "Старик, если твой пыл угаснет (*languet anus*), не переставай есть эти щедрые луковицы, и нежная Венера еще улыбнется твоим подвигам!

Qui præstare virum Cypriæ certamine nescit,  
Manducet bulbos, et bene fortis erit.  
Languet anus: pariter bulbos ne mandere cesset,  
Et tua ridebit prælia blanda Venus.

Но из всех приворотных зелий, изготовленных *сагерами*, самым известным и грозным был гиппоман, по поводу состава которого ученые даже не пришли к единому мнению. Древние писатели сделали многое, чтобы поставить под сомнение происхождение гиппомана, поскольку приводят два совершенно разных источника. Вергилий, например, говорит о резком, фецидном вирусе, который исходит из вульвы кобылиц в сезон гона: "Из органа кобылиц выделяется склизкий вирус; это и есть гиппомания, которую одиозные кобылы слишком часто собирают, чтобы смешивать с волшебными травами и заговорами". Ювенал, Лукан, Плиний и Овидий, напротив, называют *гиппоманией* нарост плоти, который иногда появляется на лбу новорожденного жеребенка, и который кобыла срывает зубами и пожирает, прежде чем протянуть соски своему младенцу. Этот нарост черной плоти, размером с фигу, жители деревни поспешно срезали и бережно хранили для продажи *сагэ*, которые использовали его в своих снадобьях. Вероятно, судя по этим разным рассказам, *саги* различали два типа гиппомании; второй изображается более активным и более страшным, чем первый. Ювенал показывает нам Сессонию, которая, чтобы усилить действие зелья, вводит в него весь лоб новорожденного жеребенка (*cui totam tremuli frontem Cæsonia pulli infudit*). Наконец, Ювенал с ужасом изображает страшные результаты гиппомании, которая привела к безумию и смерти Калигулы, воцарению Нерона и преступлениям этого царствования: *Tanti partus equæ!* восклицает он. "И все это - плод кобылы, все это - работа отравителя!"

Это были настоящие отравительницы, эти безжалостные старухи, эти безымянные женщины, эти отвратительные отбросы проституции и разврата, которые подмешивали в свои снадобья не только вещества, выделяемые животными, кастореум, мускус, циветту, сперму оленя, конечности волка, конечности ежа и т. д., но и менструальную кровь женщин и семенной раствор мужчин. Эти жуткие снадобья порождали страшные болезни, но их было недостаточно, чтобы испугать либертинизм или остановить его странные расстройств.

Опытные колдуны всегда добавляли в свои эротические смеси ингредиенты, заимствованные из человеческой природы: костный мозг, печень, яички, желчь ребенка или жертвы пыток, и прежде всего тонкую пленку, которая иногда окутывает голову новорожденных, когда они выходят из утробы матери. Акушерки искусно срывали эту пленку, которой приписывали столько необычных достоинств, и продавали ее по очень высокой цене изготовителям приворотных зелий или адвокатам, которые считали, что станут более разговорчивыми, если будут носить ее как талисман. Очевидно, что торговля *сагами* была очень распространена и очень прибыльна, но ни один из этих ученых операторов не оставил нам книгу рецептов, которая сделала их репутацию и богатство. Искусство парфюмерии и косметики, которым *саги* также занимались с невероятной утонченностью и изобретательностью, известно нам не лучше. Поэты и писатели всех мастей то и дело рассказывают о духах и косметике (*unguenta*), которые повсюду сопровождали ту или иную Венеру; но они почти никогда не идут дальше туманных обобщений и не посвящают нас в бесчисленные секреты древней парфюмерии, как будто эти секреты, известные уже во времена Гомера, который возводит их происхождение к богам и богиням, передавались из поколения в поколение только под клятвой. Ко времени римлян страсть к парфюмерии стала такой же пылкой и необузданной, как и страсть к чувственным удовольствиям, а профессия парфюмеров и *мастеров ногтевого сервиса* достигла необычайного прогресса, Косметические и ароматические ингредиенты росли до бесконечности, увеличиваясь с каждым днем и призывая растения, минералы и даже животных со всего мира, чтобы соединить и создать новые ароматные смеси и, в то же время, новые удовольствия для чувственности и любви.

Древние, особенно римляне, не представляли себе любви без парфюмерии, и резкие, возбуждающие ароматы, которые они в изобилии использовали в повседневной жизни, были прекрасной подготовкой к любви. Мы знаем, что мускус, циветта, амбра и другие животные ароматы, которые они носили с собой в одежде, в волосах и на всех частях тела, оказывали очень активное воздействие на нервную систему и органы генерации. Они не ограничивались только внешним использованием этих духов, ведь, не говоря уже об энергетических зельях, припасенных для особых случаев, они не боялись включать в свой ежедневный рацион ароматические травы и специи в больших количествах. Несомненно, именно этим постоянным причинам мы должны приписать аппетит, постоянный зуд, который мучил римское общество и ввергал его во все излишества физической любви. Азиатская похоть принесла с собой эти духи, и с тех пор в Риме наблюдалось такое невероятное потребление ароматических веществ, что казалось, Аравии, Персии и всего Востока не хватит. Напрасно несколько философов, несколько добродетельных людей и простых, несчастных стариков пытались бороться с этой модой, столь же опасной для здоровья, сколь и для нравственности; напрасно их мудрые советы повторялись в книгах по морали, даже в поэзии и даже на театре: никто не обращал внимания на их советы больше, чем на их упреки и грозные предсказания. Рим вскоре стал таким же благоухающим, как Сибарис и Вавилон. Чем больше в Риме ценили и искали духи, тем больше презирали парфюмеров и парфюмерок; они были не более чем старомодными куртизанками и свахами, не более чем старыми кинедами и позорными ленонами. Честные люди, нуждавшиеся в их услугах, входили в их лавки, скрывая свои лица, только ночью или рано утром. Цицерон и Гораций относятся к ним лишь с глубоким презрением: "Добавьте к этому, если хотите, - говорит первый в своем трактате *De Officiis*, - ваши притирания, прыгунов и жалкую толпу игроков в валеты". Гораций заставляет ленона (*auceps*) и мазь идти рука об руку в гнусном населении тосканской деревни (*tusci turba impia vici*). Что касается парфюмеров, то само их название было величайшим оскорблением, которое можно было нанести женщине, гордившейся тем, что она родилась свободной (*ingenua*) и гражданкой. Парфюмерные мастерские были не чем

иным, как складами *леноциниума* и притонами разврата; богатые люди также имели в своих домах лаборатории, где изготавливались все используемые ими духи, и держали одного или нескольких парфюмеров среди своих рабов или вольноотпущенников.

Несомненно, существовали характерные ароматы, которые давали четкое представление о статусе, ранге, морали и здоровье человека: Сильный, проникающий запах свидетельствовал о необходимости скрыть какой-то неприятный природный запах; такой обходительный, сладкий запах подходил элегантным матронам, людям с хорошим вкусом и приличной жизнью; такой пьянящий запах обличал куртизанку или, по крайней мере, кокетливую, легкую женщину; такой раздражающий, назойливый запах обвинял в проходе гитона; здесь одни духи, там другие, и везде, на улицах, на набережной, в домах, неопределенная смесь ароматических запахов, впитывавшихся в воздух. Фактически каждый мужчина, женщина и ребенок благоухали, вставая с постели, после купания, перед едой и перед сном; они натирали все тело ароматическими маслами, заливали их в волосы, пропитывали эссенциями одежду, жгли пряности днем и ночью, ели их с каждым блюдом и пили с каждым напитком. Сатирик Луцилий, чтобы высмеять эту фармакоманию, притворно удивлялся тому, что его современники, принимавшие столько духов, ничего не отдавали взамен. "Женщина хорошо пахнет, - говорит Плавт в *"Мостеллари*и", - когда она ничем не пахнет, ибо эти старухи, нагружающие себя духами, эти дряхлые беззубые женщины, покрывающие руины своей красоты косметикой, как только их пот смешивается с этими духами, сразу же воняют еще больше, как повар, который готовит рагу из нескольких смешанных соусов". Именно в прелюдиях к палестре Венеры, выражаясь античным языком (*palestra venerea*), парфюмерия приходила на помощь сладострастию. После омовения в благоухающих водах все тела влюбленных помазывались бальзамированными духами; в комнате курились благовония, как для жертвоприношения; ложе окружалось гирляндами цветов и усыпалось листьями роз; постель, как и вся мебель, орошалась нардом и циннамоном. Во время этих долгих часов любовных утех часто повторялись омовения ароматическими водами в атмосфере, более благоухающей, чем на Олимпе.

Понятно, что эти духи были изобретены людьми, знавшими толк в удовольствиях и в том, как их пробудить, продлить и развить. Поэтому, повзрослев, проститутки обоих полов предпочитали посвящать себя именно этому занятию и ремеслу. Когда они создавали новый парфюм или косметическое средство, то гордостью называли его своим именем. Парфюмер Никеротас изобрел *ницеротиан*, чей удивительный аромат восхваляет Марциал (*fragras plumbea nicerotiana*); Фолия, маг, друг и сообщник Канидия, нашел гениальный способ приготовления персидской нарды, которую с тех пор называют *фолиатом*. Но парфюмерия и косметика обычно получали свое название от страны, поставлявшей их основной ингредиент: бальзам Мендеса из Египта, мазь с Кипра, нард из Ахемениума, масло из Аравии, масло из Сирии, *малобатрум* из Сидона и так далее. Большинство духов, по крайней мере наиболее активных, поступало с Востока и особенно с Аравийского полуострова; поэтому люди привыкли включать все парфюмерные изделия без разбора под общим названием *арабских духов* (*arabicum unguentum*): "Сожжем, - говорит Тибулл, - сожжем духи, которые сладострастный аравиец присылает нам из своей богатой страны! Однако это название, *arabus* или *arabicus*, применялось, скорее, к ароматному маслу, которым женщины и слабоумные мужчины помазывали свои длинные волосы. Другое масло, не менее ценное, изготавливалось из семян ароматического кустарника мироболан

(*myrobolani*), произрастающего в Аравии. Ряд других востребованных парфюмерных средств изготавливали также из иудейского дерева, душистая камедь которого называлась *опобальзамом* (*opobalsamum*); из ассирийской амомы, оронтовой мирры, кипрского майорана (*amaracus cyprinus*); из индийской циннамомы и так далее. Но, как мы уже говорили, дозы и принципы этих бальзамических составов, которые, как правило, использовались для каких-то амурных целей, практически неизвестны.

Косметика, в состав которой всегда входили те или иные духи, еще более неизвестна, чем туалетные и любовные духи; корыстная осторожность продавцов и покупателей едва ли выдавала названия некоторых из этих чудесных секретов консервативного, скрывающего и декоративного кокетства. Эти секреты всегда хранились лучше всего. Например, мы ничего не знаем о депиляционном порошке (*dropax unguentum*), который использовался для удаления всех волос на теле, даже бороды; о мази для зубов (*odontotrimma*), предназначенной для придания им белизны и блеска; о *diapasmata*, превращенном Космусом во времена Марциала в таблетки для борьбы с неприятным запахом изо рта; о *malobathrum*, перегоняемом в масло для волос, и т. д. Плиний упоминает лишь несколько рецептов, один из которых - использование пасты для лечения волос. Плиний указывает лишь несколько рецептов: масло айвы (*melinum unguentum*), *мегалиум* и *телиум* и, наконец, царскую мазь, которую парфянские цари использовали для нужд своего величества; но мы не можем определить свойства и преимущества каждого из этих пахучих косметических средств. Однако не все косметические средства рекомендовались из-за их приятного запаха; например, , если люди хотели сохранить свой живот упругим, полированным и белым до преклонного возраста, они натирали его не только мукой из бобов фава и вареными и солеными листьями чернушки, но и мочой; согласно Плинию, только что родившие женщины использовали брожение мочи для удаления морщин и пятен, которые нарушали чистоту их живота (*æquor ventris*). Они также были абсолютно уверены в эффективности молока ослиц для отбеливания кожи. Помнили, что Поппея каждый день купалась в молоке, которое давали пятьдесят ослиц, родивших всего за несколько дней до этого, и которое постоянно обновляли, чтобы молоко всегда было новым. Поскольку не все римские дамы могли содержать в своих конюшнях ослиц, парфюмеры придумали сгущать ослиное молоко в мазь и продавать ее в твердых таблетках, которые можно было расплавить и нанести на кожу: "Однако, как ни отвратительно это зрелище, - говорит Ювенал, рисуя портрет богатой кокетки, - ее лицо нелепо покрыто какой-то пастой; оно источает запах липкой косметики Поппеи, и губы ее бедного мужа прилипают к нему. Она умывается молоком, и чтобы добыть это молоко, она повела бы за собой стадо ослов, если бы ее отправили в изгнание на Гиперборейский полюс. Но это лицо, на которое наносится столько различных лекарств и которое покрывается толстой коркой из вареной и жидкой муки, называем ли мы его лицом или язвой?" Эти эпиграммы, эти оскорбления, эти проклятия поэтов не мешали старухам Рима краситься, покрываться белым и красным, красить волосы и сохранять как можно дольше остатки своей мимолетной красоты; они с каким-то отчаянием цеплялись за последние иллюзии, которые еще давало им косметическое искусство, и пытались обмануть себя насчет непоправимых бедствий возраста. Модные куртизанки, особенно *знаменитые* и *драгоценные*, не умели стареть, а старость женщины начиналась в тридцать лет для римлян, которые обращали внимание только на крайнюю молодость и даже детство. Одна из этих жриц Венеры по имени Акко, напуганная шестью лет, которые уносили с собой свежесть ее лица, блеск волос, эмаль зубов и изящество талии, льстила себе, что забудет о своих метаморфозах, если не будет больше смотреться в зеркало; но однажды любовник, которого она устала жаловаться и упрекать, подарил ей это роковое зеркало, в котором она вдруг увидела свою дряхлость: В тот же миг волосы ее поседели, беззубый рот остался приоткрытым, а глаза стали неподвижными, наполнившись

слезами: она обезумела, пораженная своим уродством; она умерла, увидев себя такой, какой ее сделала дряхлость. Ее имя живет в памяти матерей, которые, чтобы удержать своих детей от сдирания кожи с лица, терзания носа пальцами и вырывания ресниц, грозили им гневом Акко, как пугалом.

*Sagæ* и парфюмеры торговали не только косметикой и духами; они также продавали все предметы и приспособления, которые можно было использовать для проституции: плети, иглы, фибулы и замки целомудрия, амулеты, фаллосы и множество распутной атрибутики, которую античность в ее самом развратном виде не осмеливалась описывать. Если бы отцы Церкви, Святой Августин, Лактанций, Тертуллиан, Арнобий и другие, не раскрыли неслыханные пороки римского разврата, мы бы не поверили, что эти чудовищные утонченности существовали без законов, пытающихся их достичь и наказать. Так что не только в борделях использовался *фасцидум*, фаллос из кожи, льна или шелка, чтобы обмануть природу; он был в спальнях матрон, покинутых мужьями и не смеющих подвергать себя опасностям прелюбодеяния; он был на тайных собраниях лесбийской любви; он был в общественных банях, он был в святилище домашнего очага. Святой Павел в своем Первом послании к римлянам свидетельствует о прогрессе, которого доктрины Сафо достигли в Риме, когда, говоря о недостойных потомках Сципиона и Катона, он заявляет: "Бог предал их страстям бесчестия; ибо женщины изменили естественное использование мужчин на использование, противоречащее природе, и точно так же мужчины, отказавшись от естественного использования женщины, воспылали нечистыми желаниями друг к другу, совершая бесчестие мужчины с мужчиной и получая, как это было необходимо, в самих себе наказание за свою ошибку." (*Propterea tradidit illos Deus in passiones ignominiae. Nam foeminae eorum immutaverunt naturalem usum in eum usum qui est contra naturam. Similiter autem et masculi, relicto naturali usu foeminae, exarserunt in desideriis suis invicem, masculi in masculos turpitudinem operantes, et mercedem quam oportuit erroris sui in semetipsis recipientes*). В связи с этим знаменитым отрывком апостола мы хотели бы заметить, что наградой или, скорее, наказанием, которое получали виновные, могла быть только одна из тех ужасных болезней заднего прохода, которые были так распространены среди *пæдикон*ов и *кинематографист*ов Рима. Наконец, непристойные *fascina*, которые изготавливались и продавались в парфюмерном квартале, цирюльниками и старыми куртизанками, иногда использовались для возбуждения ленивых чувств развратных стариков; мы не чувствуем себя достаточно смелыми, чтобы перевести этот текст Петрония, даже если он замаскирован: *Profert Enothea scorteum fascinum, quod ut oleo et minuto atque urticae trito circumdedit semine, paulatim coepit inserere ano meo*. Как мог представить себе распутник эту раздражающую смесь перца и семян крапивы, измельченных до состояния перца и пропитанных оливковым маслом? Мы можем догадаться обо всех органических происшествиях, которые должны были произойти от этого адского средства и которые, несомненно, входили в наказание, которое виновные получали внутри себя, по словам святого Павла.

Можно предположить, что *sagæ* и парфюмеры также выполняли некоторые операции, которые были столь же постыдными по своей природе и цели, несмотря на то, что предпринимались попытки разрешить их в медицине и проводить врачами: кастрация женщин и инфибуляция обоих полов. Некоторые хирурги, - говорит Цельс, - имеют привычку подвергать молодых людей инфибуляции в интересах их голоса или здоровья. Эта операция проводится следующим образом: крайнюю плоть оттягивают вперед и, отметив чернилами противоположные точки, которые должны быть проколоты, дают целому отступить назад. Затем крайнюю плоть пересекают в намеченной точке иглой с ниткой, два конца которой завязывают узлом и перемещают каждый день до тех пор, пока края отверстий не заживут.

После этого нить заменяют петлей, причем лучшей всегда будет самая легкая. Тем не менее, эта операция чаще бесполезна, чем необходима. (*Sed hoc quidem sæpius inter supervacua, quam inter necessaria est.*) Цельс не осмеливается высказываться далее против этого отвратительного изобретения, которое самая скандальная ревность заставила принять под предлогом сохранения голоса этих молодых рабов в период полового созревания, а иногда и для того, чтобы уберечь их от печальной привычки к ночным поллюциям. Эта пряжка (*fibula*), не позволявшая пациенту демонстрировать свою мужественность, была сделана из золота или серебра, иногда припаяна огнем, иногда закрыта пружиной. Что доказывает истинное назначение этих фибул, так это то, что они также приспособлялись к анусу с помощью операции, подобной той, что описал Цельс. Что касается женской инфibuляции, которая была изменена в Средние века с созданием замков целомудрия, то она практиковалась почти так же, как и у мужчин, а кольцо или фибула, удерживающая половые органы в полузакрытом состоянии, проходила через конец больших половых губ и могла быть открыта только с помощью ключа. Для рабов-мужчин не было ничего более распространенного, чем инфibuляция; но для рабов другого пола предпочитали специальную одежду, называемую *subligar* или *subligaculum*, которая надевалась сзади и служила своего рода защитной эгидой для тех, кого охватывал этот кожаный или подбитый конским волосом пояс. Древний обычай требовал, чтобы актеры не выходили на сцену из уважения к зрителям, не будучи одетыми в эти штаны, которые исключали любую случайность и успокаивали скромность матрон: *Scenicorum mos quidem tantam habet*, читаем мы в трактате *de Officiis, vetere disciplinâ verecundiam, ut in scenam sine subligaculo prodeat nemo*. Эпиграмма Марциала говорит нам о том, что честные женщины соблюдали меры предосторожности, нося везде сублигар: "Общественная молва гласит, Хионе, что ты никогда не знала мужчин и что нет ничего чище твоей девственности. И все же ты скрываешь ее больше, чем следовало бы, когда принимаешь ванну. Если у тебя есть хоть капля скромности, нанеси на лицо сублигар! В другом месте Марциал говорит о черном кожаном поясе, который рабы-мужчины повязывали вокруг чресл, когда сопровождали своего господина или госпожу в баню (*inguina succinctus nigrâ tibi servus alutâ stat*); но в другой эпиграмме он показывает нам инфibuлированного раба, купающегося со своей госпожой: "С конечностью, закрытой латунной капсулой, раб купается с тобой, Кёлия. Почему ты спрашиваешь об этом, ведь этот раб не является ни кифаредом, ни певцом? Конечно, ты не хочешь увидеть, каков он? Так зачем же мыться вместе со всеми? Неужели мы все для тебя евнухи? Остерегайся, Келия, чтобы не показаться ревнивой к своей рабыне: отними у нее фибулу".

Наконец, как мы уже говорили, именно в этих салонах нечистот и злых чар происходила кастрация женщин. У нас нет точной информации об этом виде кастрации, целью которой было сделать бесплодными несчастных женщин, подвергшихся калечащей операции. Эта жестокая и бесполезная операция, впервые примененная у лидийцев, даже считалась басней, если верить историку Ксанфу Лидийскому. По словам древнего сколиаста, операция заключалась в удалении небольших желез у входа в шейку матки, которые древние считали яичками, необходимыми для генерации. Часто эти железы отрезали, сжимая их пальцем. Девушки, подвергшиеся этому варварскому обращению, словно куры, которых откармливали для стола (*simili modo*, говорит Пьерпуж, *Itali et Gallo-provinciales gallinas eunuchant*), таким образом навсегда лишались удовольствий материнства, но, с другой стороны, они становились более пригодными для работы Венеры, поскольку не знали о работе Юноны. Кроме того, подобная кастрация была не слишком распространена, за исключением девушек, предназначенных для проституции в борделях, которые, как считалось, таким образом были защищены от беременности и абортов. Однако по поводу таинственной операции, которой с детства подвергали женщин, доставляющих удовольствие, мы читаем у одного ученого ритора XVI века, что эта операция, проводимая на

субъектах, выбранных из-за их особого телосложения, полностью меняла пол жертвы и вызывала выпячивание частей, которые обычно заключены в органе, так что этот евнух (*eunuchata*) имел вид, если не пол, мужчины. Кастрация мужчин и детей была менее сложной и бесконечно более распространенной; она даже стала настолько жестокой, что Домициан был вынужден запретить ее, за исключением некоторых привилегированных случаев. Не врачи, особенно знаменитые, совершали эти отвратительные калечащие операции, которые так умножили жадность и разврат; это были цирюльники, банщики и, особенно, *сагэ* с их ужасными последствиями, которые работали на работоторговцев, лупанаев и ленонов. В Риме требовалось так много евнухов, чтобы удовлетворить запросы моды и распутства, что у печально известных ленонов не было другого занятия, кроме кражи детей, чтобы сделать из них *кастратов*, *спадонов* или *тлибиев*. Домициан, - говорит Марциал, - не стал мириться с такими ужасами: он не позволил безжалостному либертинизму создать расу бесплодных мужчин (*ne faceret steriles sæva libido viros*). Одиозные виновники и соучастники этих преступлений были приговорены к рудникам, ссылке, а зачастую и к смерти.

Но, как ни странно, суеверие продолжало владеть зверской привилегией, которой императорский эдикт лишил работоторговцев и агентов разврата: жрецы Кибелы продолжали не только калечить себя горшечными палками, но и подвергать такому же насилию несчастных детей, попадавших в их руки. Эти *галли*, в большинстве своем мерзкие развратники, лишившиеся позорных болезней, называли себя *semiviri* и утверждали, что приносят в жертву своей богине гангренозные останки своей отсутствующей мужественности. Когда им нечего было предложить Кибеле, они шли и брали свои нечистые жертвы у первого попавшегося человека, который безропотно предлагал себя их ножу. Марциал описал в стихах приключение, случившееся в его время и свидетельствующее о яростном суеверии *галлийцев*. Мы взяли этот перевод из большого собрания латинских авторов, изданного профессором нормальной школы М. Дезире Нисаром: "Когда Миситий направлялся в Равенну, на свою родину, он наткнулся на отряд тех людей, которые только наполовину являются жрецами, жрецами Кибелы. Его попутчиком был молодой Ахиллас, беглый раб самой раздражающей красоты и доброты. Наши кастраты поинтересовались, какое место он должен занять в постели; но, заподозрив какую-то хитрость, юноша ответил ложью. Ему поверили; после выпивки все засыпают. Тогда злодейская шайка, схватив утюг, изуродовала старика, лежавшего на передней части кровати, а мальчик, спрятавшийся в переулке, был в безопасности от их объятий". Эти отвратительные жрецы Кибелы участвовали во всех бесчинствах тосканского города; любая торговля была для них выгодна, и, всегда пьяные от вина, всегда неистовые, всегда непристойные, они, казалось, сделали культ самого грязного разврата и хотели заменить проституцию женщин проституцией евнухов. Вот как Ювенал изображает великого спадона (*семивира*), входящего в дом матроны во главе фанатичного хора галерников, вооруженных барабанами и трубами. Этот деятель, чье почтенное лицо предается непристойным утехам (*obscæno facies reverenda minori*) и которому уже давно отрезали половину гениталий осколком, носит фригийскую тиару куртизанок и гордится тем, что может соперничать с ними, служа удовольствиям обоих полов.

*Сагеры*, маги, отравительницы и все женские помощницы римского разврата были менее виновны и менее одиозны, чем эти жрецы-гермафродиты, позорящие языческую религию.

## ГЛАВА XXII.

Резюме.- Разврат в римском обществе.- Петрониус *арбумр*.- Афоризм Тримальсиона.- Глагол *vivere*.- Расширение, данное этому глаголу *деликатесами*.- Богиня *Витупла*.- *Vitulari* и *vivere*.- День сладострастника.-Петроний, самый искусный *лакомка* своего времени - *Комессации* или ночные пиры -Этимология слова *comessationes* -Происхождение слова *missa*, месса -Инфамии, происходившие в комессациях дворца цезарей -Мода комессаций.-Кровати для стола. -Греческая куртизанка Китирис. -Вакхиды и ее сестры. - Обращения Сципиона Африканского к Сульпицию Галлу по поводу его развратной жизни. - Трапеза Тримальсиона. -Гистрионы, шуты и *ареталоги*.-Обсценные танцы, происходившие в комессации, описанные Арнобием.-Комессации распутницы Зоилы.-Их описание у Марциала.-Эпизод пира Тримальсиона.-Эротическое здоровье.- *Тезаурохранисонихризиды*, возлюбленные знаменитого застольного шута Гальбы.- Остроумное присутствие и цинизм Гальбы на ужине, куда он был приглашен вместе с женой.- Роли, которые играли цветы в комессациях.- Боги и богини, которые председательствовали на комессациях.- Лары *Промышленности, Счастья и Прибыли*.- Глагол *comissari*.Теогония богов разврата - Конисал, бог пота, вызванного любовными схватками -Бог Трифалл -Пилумнус и Пикумнус, боги-хранители рожениц -Деверра, Деверонна и Интерсидона.-Вириплака, богиня супружеского примирения -Домидук -Суадела и Орбана -Генита Мана -Постверса и Прорса - Куба Деа -Таласса -Ангерона -Фауна, любимая богиня матрон -Югатинус и его непристойные приписывания.

Невозможно составить точное и полное представление о том, каким был разврат в римском обществе, если отвести глаза от развратных сцен, с наивностью нарисованных автором "Сатирикона". Петроний достоверно изобразил то, что происходило каждый день, почти публично, в столице империи, хотя, чтобы избежать аллюзий, он поместил свой странный и живописный роман, посвященный истории сладострастия и проституции во времена правления Нерона, в Неаполе. Петроний был утонченным сладострастником, превосходным судьей (отсюда его прозвище *Арбумр*) в вопросах удовольствий: он повествует о величайших пороках в цветистом и образном стиле, и мы должны верить, что он писал по личным впечатлениям и воспоминаниям. Поэтому достаточно перечислить все картины, все поучения, все тайны либертинизма, которые мы находим накопленными во фрагментах этого эротического и содатического сочинения, чтобы перед нашими глазами предстала верная картина частной жизни молодых римлян. Практическая философия этих неутомимых развратников была подытожена в фразе Тримальсиона: *Vivamus, dum licet esse!* То есть: "Будем вести веселую жизнь, пока нам позволено жить!". Глагол *vivere* приобрел гораздо более широкое и менее специальное значение, чем в те времена, когда он понимался только в смысле материального факта существования и когда он еще не применялся к одному виду жизни, а не к другому. *Деликатесы* Рима (*delicati*) без труда убедили себя в том, что жить - это не значит жить без удовольствий, и что всегда наслаждаться - значит действительно жить, *vivere*. Женщины легкого нрава, в чьей компании они так жили, не понимали иначе этот глагол в своем употреблении, который сами филологи приветствовали с его новым значением. Именно в этом смысле Варрон использовал *vivere*, когда говорил: "Спешите жить, молодые девушки, вы, которым юность позволяет наслаждаться, есть, любить и занимать колесницу Венеры (*Venerisque tenere bigas*)". Чтобы еще больше продемонстрировать прекрасное расширение значения слова *vivere*, сладострастник школы Петрония написал на могиле спутницы наслаждений: *Dum vivimus vivamus*, что практически невозможно перевести: "Пока мы живы, давайте наслаждаться жизнью". Более того, эта жизнь вечного наслаждения стала настолько распространенной среди патрицианской молодежи, что было сочтено необходимым дать ей особую богиню для защиты. Эта богиня,

согласно этимологии, примененной к ней Фестом, получила свое имя *Vитула* от слова *vita* или от радостной жизни, которой она была призвана управлять. Вероятно, у Витулы не было другого культа, кроме того, что ей поклонялись на алтаре домашних богов, в *кубикуле* или *триклинии*, где к ней не раз обращались. Благодаря богине люди вскоре стали говорить *vitulari* вместо *vivere*, и мы склонны предположить, что *vitulari* означало жить, лежа за столом или в постели, так же лениво, как телка (*vitula*) в полевой траве.

На самом деле сладострастники проводили свою жизнь не иначе: "День он отдавал сну, - говорит Тацит о Петронии, самом известном представителе своего рода, - ночь он отдавал обязанностям общества и удовольствиям. Свою репутацию он заработал ленью, как другие зарабатывают ее тяжелым трудом. В отличие от всех рассеянных людей, прославившихся беспорядком и развратом, Петроний считался самым искусным сладострастником". Удивительно, что некоторые энергичные и деятельные натуры могли совмещать бизнес, учебу и политику с непрекращающимся сладострастием, которое поглощало их жизнь. Какую свободу мысли и действий могли иметь люди, которые днем спали и купались, а ночью изнуряли себя пугающими оргиями? Эти ночные пиры, эти ужины, длившиеся до рассвета и порождавшие самые чудовищные эксцессы, назывались *comessationes* или *comissationes*. Это по сути латинское слово, которое не происходит ни от греческого κομειν, кормить, ни от κομη, волосы, ни от κομιδη, еда и т. д., было образовано от *comes*, и правильно означало товарищество, встречу друзей и хороших товарищей. Мы постеснялись бы утверждать здесь с большой долей вероятности, что это нечистое слово, всегда воспринимаемое в дурном свете, было источником слова *missa*, месса, потому что первые христиане собирались ночью, в тайных местах, чтобы отпраздновать священные тайны своего богослужения и подойти к святому столу для причастия. Несомненно, что ночные сборища, допускавшие всевозможные удовольствия, все формы наслаждения и все попытки сладострастия, вполне заслуживали того ужаса, который они внушали мудрецам и матерям. Это были не только сочные и обильные пиры, где человек наедался мяса и вина, где он переставал есть и пить только для того, чтобы упасть мертвецки пьяным; это были слишком часто ужасные примирения разврата, театры и арены непристойности, отвратительные святилища проституции. Невозможно без отвращения и изумления перечислить все, что происходило в долгие ночные часы, когда разгул разворачивался и возвышался среди концертов инструментов, развратных песен, непристойных танцев, непристойных разговоров, криков и непристойного смеха. Суетоний, Тацит, авторы "*Истории Августа*" и рассказывают о бесчинствах, происходивших в комфортных условиях дворца цезарей. Цицерон, оправдывая Целия, объединил прелюбодеяние и комессацию (*libidines, amores, adulteria, convivia, comessationes*). Честный человек мог иногда забыться в подобной оргии, но он не мог похвастаться тем, что принимал в ней участие, и ему часто было стыдно за то, что он был зрителем, а иногда и соучастником этих излишеств.

Это началось, как только римляне, следуя примеру смягченных народов Востока, стали ложиться на подушки и кровати, чтобы поесть. До этого все ели сидя, и даже сиденье, которое подносили к столу, было не слишком мягким; сами женщины сидели на деревянных скамьях или треножниках. "Они назывались *sièges (sedes dictæ)*", - говорит Исидор в своих "Этимологиях", - потому что у древних римлян было принято не есть лежа, а сидеть за столом; но вскоре мужчины стали ложиться на кровати перед столом; одни только женщины оставались сидеть, что заставило Валера-Максима сказать: "Строгие нравы, нынешнее поколение сохраняет их более скрупулезно на Капитолии, во время священной трапезы, устраиваемой там в честь Юпитера, чем в интерьере домов". Женщины, которые позволили себе подражать мужчинам, откинувшись за столом, совершали акт блуда, показывая, что они не останавливаются на этом нарушении приличий. На радостном ужине, на котором

Цицерон не преминул занять место рядом с греческой куртизанкой Цитерис, эта прекрасная драгоценная женщина без притворства уселась на ложе из слоновой кости, не претендуя на серьезность и пристойность матроны, которая должна была сидеть и даже не смела опереться на локоть. Плавт также показывает нам других куртизанок, Вакхиду и ее сестер, занимающих за столом одно ложе. Иногда на одном ложе усаживались два гостя разного пола, и в этом случае они располагались то один против другого, но, так сказать, вразвалочку, так что голова одного покоилась на груди другого; то лежали лицом к лицу, каждый в противоположную сторону, но оба так близко друг к другу, что могли бы есть из одной тарелки. Так можно было увидеть любовника и любовницу, гитона и его хозяина, обедающих бок о бок и борющихся за пищу до самых губ. Нередко жена или подросток приседали позади мужчины, занимавшего переднюю часть ложа, который следил за тем, чтобы еда и вино в изобилии доходили до его спутника: тот, кто обесчестил себя, согласившись разделить пиршественное ложе, занимал место сзади или в середине этого ложа, заваленное мягкими подушками, и это называлось *accumbere interior*, , то есть ложился внутрь ложа. Некоторые сколиасты, однако, считают, что это слово следует читать *inferior*, и что оно указывает на низшее положение, которое занимала куртизанка или *cinæde*, когда опускала голову на лоно своего любовника (*in gremio amatoris*): Сципион Африканский однажды с горечью сказал Сульпицию Галлу, упрекая его в женоподобной мягкости нравов: "Тот, кто сбрасывает брови, выщипывает волосы из бороды и депилирует бедра; кто в юности, облачившись в тунику с длинными рукавами, занимал за трапезой одно ложе со своим развратителем; кто любит не только вино, но и мальчиков, - разве можно сомневаться, что такой человек не сделал всего того, что принято делать кинестетикам?" Аулу-Гелле, который передает эти слова Сципиона Африканского, рассказывает, что сирийская туника, *хиридота*, рукава которой закрывали всю руку и опускались на кисть до кончиков пальцев, была обычной одеждой женоподобных на пирах, где они отказывались от всех признаков своего пола.

Достаточно прочесть описание трапезы Тримальсиона у Петрония, чтобы представить себе многочисленные эпизоды оргии, длившейся всю ночь. Не было непрерывной еды или питья; были интерлюдии разного рода: сначала провокационные, непристойные или сладострастные разговоры; затем музыка, песни, танцы и развлечения всех видов; после или даже во время этих интерлюдий - все расстройство, которые могли придумать пьянство или похоть. Мы скоро устали от гистрионов (*mimi*), которые разыгрывали пантомимы или читали стихи; от шутов и *ареталогов* (*aretalogi*), которые рассуждали на комические темы; мы слушали только рассеянно, и наши глаза, затуманенные парами Бахуса, начали закрываться. Однако внезапно появились баладины и танцовщицы, чтобы оживить внимание усталых посетителей, пробудив их чувства. Эти танцовщицы, в большинстве своем приехавшие из Азии или Египта, были не кто иные, как альмеи, сохранившие в Индии традиции древнего сладострастия; они появлялись обнаженными, если не были покрыты золотыми или серебряными вуалями, которые окружали их наготу как бы пеленой; так Петроний называл одевание в ткань (*induere ventum textilem*) и показ себя обнаженным под облаками льна (*prostare nudam in nebula linea*). Баладины были одеты не более пристойно, демонстрируя свои обнаженные конечности, натертые благовонным маслом и увешанные золотыми кольцами и колокольчиками. Эти баладины разыгрывали пантомимы, делали кувырки, гримасничали и совершали необычайные силовые подвиги; в своих позах они не забывали демонстрировать все формы и мышцы своего тела; свои движения они сопровождали самыми непристойными жестами; они придавали своему рту непристойное выражение, которое завершали быстрой игрой пальцев (*micatio digitum*) на манер этрусков; Таким образом, они обменивались молчаливыми знаками, которые всегда имели более или менее непосредственное отношение к постыдному поступку (*turpitude*), а иногда, разгоряченные

похотью и возбужденные аплодисментами гостей, они переходили от жестов к действиям и вступали в нечистую борьбу, подражая нечистоплотности фавнов, изображенных на этрусских вазах. Что касается танцоров, то они исполняли танцы, которые отец христианской церкви Арноб описал в своей книге "Против язычников": "Похотливый отряд устраивал развратные танцы, прыгал в беспорядке и пел, поворачивался во время танца, а в определенный момент, подняв бедра и поясицу, придавал своим *натам* и поясице вращательное движение, которое могло бы испепелить самого холодного зрителя". Иезуит Буланже не побоялся сказать, что эти непристойные подергивания и эти движения чресл вызывали у всех гостей любовный зуд (*modo nudæ, et fluctuantibus lumbis obsceno motu, pruriginem spectantibus conciliabant*).

Марциал оставил нам зарисовку похождения распутницы, которую он называл Зоиле: эта зарисовка, хотя и сильно ослабленная в классическом переводе, недавно опубликованном М. Д. Нисаром, еще более латинская, чем все описания, которыми мы могли бы наполнить картину фантазии: "Тот, кто может быть гостем Зоиле, может также обедать с меркантильными женщинами Суммениума и хладнокровно пить из обломанного биде Леды. Я бы даже сказал, что в их домах будет чище и приличнее. Одетый в зеленый халат, он растянулся на кровати, которую захватил первым: он отталкивает алые шелковые подушки и расталкивает локтями своих соседей по столу направо и налево. Как только он насытится, один из гитонов, предупрежденный его икотой, преподносит ему розовые ракушки и мастичные зубочистки. Если ему становится жарко, наложница, беспечно лежащая на его спине, нежно охлаждает его зеленым веером, а молодая рабыня отгоняет мух веткой мирта. Массажистка (*трактатрикс*) быстро проводит рукой по его телу и искусно прощупывает каждую конечность. Когда он щелкает пальцами, евнух, знающий этот сигнал и умеющий ловко добиваться выделения мочи, направляет пьяный подбородок своего господина, который не перестает пить (*domini bibentis ebrium regit penem*). В то же время тот, склонившись к группе рабов, выстроившихся у его ног, среди маленьких сучек, вылизывающих гусиные внутренности, делит кабаньи почки между своими камердинерами и отдает черепаший копыта своей сожительнице (*concupino*). И пока нам подают вино с холмов Лигурии или дымных гор Марсея, он раздает своим шутам нектар Опимиуса в хрустальных флягах и мурркинских вазах. Сам он, благоухая эссенцией Космуса, не стесняется делиться с нами в золотой раковине мазью, которой пользуются последние проститутки. Наконец, поддавшись многочисленным возлияниям, он засыпает. Что касается нас, то мы остаемся лежать на своих ложах и, молча по приказу, пока он храпит, знаками передаем друг другу наши добрые пожелания". Петроний в своем "Пире Тримальсиона" показывает нам еще один аспект этой темы - расстройства женщин между собой во время еды: "Пришла Фортуната, жена Тримальсиона, ее платье было свернуто зеленым поясом так, чтобы показать ее вишневую тунику, подвязки, подвязанные золотом, и золотые мулы под ними. Вытирая руки платком на шее, она откидывается на спинку кровати жены Хабиннаса, Сцинтиллы, которая хлопает в ладоши и целует ее..... Обе женщины просто смеются и путают свои пьяные поцелуи, и Сцинтилла провозглашает свою подругу самой лучшей домохозяйкой, а та жалуется на милых девушек и нерадивых мужей. Пока они так обнимались, Хабиннас поднялась на ноги, схватила Фортунату за ноги, которые та протягивала, и повалила ее на кровать (*pedesque Fortunatæ porrectos super lectum immisit*). Ax! Ax!" - кричит она, чувствуя, как туника сползает с колен; и, быстро взяв себя в руки, прячет лицо в лоне Сцинтиллы, что становится еще более неприличным из-за красноты.

Развлечения, кроме того, заимствовали самые разнообразные образы из воображения распутника, дававшего вечеринку, и в большей или меньшей степени отражали вкусы и привычки хозяина дома. Но главной их целью всегда было в высшей степени возбудить

чувства гостей и довести их до невероятных излишеств. Так, иногда вся сервировка стола представляла собой бесстыдную провокацию к действию природы, и куда бы ни устремлялся взгляд, он встречал только сладострастные или непристойные образы. Стены были покрыты картинами, на которых художник без прикрас воспроизводил все изобретения венерического гения: "Первый, чья рука писала непристойные картины, - восклицает нежный Проперций, - и тот, кто повесил эти постыдные изображения в честном доме, он развратил невинность взгляда юноши и не хотел, чтобы она оставалась новичком в расстройках, которым он ее обучил: пусть он вечно стонет от своего искусства, художник, воспроизводивший для глаз эти амурные схватки, тайна которых составляет все удовольствие!" Эти картины по преимуществу вызвали в памяти самые чудовищные сцены мифологии: Пасифая и бык, Леда и лебедь, Ганимед и орел, Глаукс и кавалеры, Даная и золотой дождь. В этих освященных сюжетах художник стремился воплотить под именами богов и богинь грубые и материальные ощущения, которые с удовольствием описывали поэты любви: обычно это была печально известная поэма Элефантиды, которая обеспечивала позы и цвета для этих мифологических эпизодов. Обстановка и убранство комнаты часто соответствовали картинам: Танцы сатиров, вакханалии и эротические пастушки бежали в барельефах по карнизам; бронзовые и мраморные статуи ставили сатиров против нимф, вечных жертв недержания деревенских полубогов; кровати, столы и сиденья украшались ногами и головами козлов, как бы в аллюзии на знаменитую строчку из "Буколик" Вергилия: *tuentibus hircis*. Лампы, свисающие с потолка, и канделябры, расставленные на обеденном столе, напоминали о главной цели собрания в какой-нибудь итифаллической форме, часто приятной и изобретательной. Здесь это была Любовь, восседающая (*equitans*) на огромном фаллосе с крыльями или ногами; там - птицы, голуби-черепахи, клевавшие приапе; в другом месте - гирлянда из атрибутов бога порождения; в другом месте - животные, растения, насекомые, бабочки, все участвующие в этой иератической форме. Что касается кубков, амфор и столовых принадлежностей, сделанных из стекла, терракоты или металла, то они, так сказать, приняли общую ливрею и по своей конфигурации то приближаются, то отдаляются от непристойной эмблемы, возглавляющей трапезу. Вот почему Ювенал показывает *комиссара*, пьющего из стеклянного приапа (*vitreo bibit ille priapo*). Это то, что Плиний серьезно называет питьем во время совершения непристойностей, *bibere per obscenitates*. Хлеб, который ели на этих либидинозных трапезах, был не более честным, чем сосуды для питья: *coliphia* и *cunni siliginei*, сделанные из чистой пшеничной муки, ели гости, которые вскоре не думали ни о чем другом, кроме бога пиршества: "Вы знаете, - мог сказать им хозяин трапезы, используя слова "Квартиллы" Петрония, - вы знаете, что вся ночь принадлежит культу Приапа". (*Sciatis Priapi genio pervigilium deberi.*)

Этот культ включал в себя эротические сенты, которые все по очереди надевали во время этих бесконечных оргий. Они почти всегда пили за успех своих любовных дел и великие подвиги своих любовников. Опустошалось столько кубков, сколько букв было в имени возлюбленной. Об этом общем обычае говорит Марциал в одной из своих прекраснейших эпиграмм: "Выпьем пять кубков за Невию, семь за Юстину, пять за Ликаса, четыре за Лиду, три за Иду; отшлифуем фалерн столько раз, сколько букв в имени каждой из этих дам. Но поскольку никто из них не придет, Соммеил, подойди ко мне". Шут за столом, знаменитый Гальба, взявший на себя обязанность скрашивать все обеды, на которые его приглашали, предложил здоровье своей возлюбленной, чье имя, по его словам, было достаточно, чтобы опьянить всех богов Олимпа; действительно, пришлось бы выпить двадцать семь раз подряд, так как он дал этому любимому рабу знаменитое имя, придуманное Плавтом для характеристики скряги: *Thesaurochrysonicochrysides*. Невозможно сказать, на том ли самом ужине Гальба проявил удивительное присутствие духа и цинизм. Он был приглашен вместе

со своей женой, очень красивой и с очень покладистым нравом. Хозяин дома посадил даму рядом с собой, и в конце трапезы, когда все гости уснули под тяжелыми маками Вакха, он подошел к спящей даме и сделал все необходимое, чтобы разбудить ее. Однако она не проснулась и сдалась без сопротивления. Скурра тоже не спал, хотя и притворялся, и давал волю своему Меценату, когда один из рабов, полагаясь на этот притворный сон, подкрался к постели Гальбы и стал пить из его бокала: "Я не сплю для всех!" - крикнул шут, отрывая ухо негодяю. В этих ночных оргиях все служило поводом для новых сант и новых бокалов вина, которые часто были отголосками или предзнаменованиями любовных поединков следующего или позапрошлого дня. Количество этих битв также подсчитывалось по венкам из цветов, возложенным к статуям Геркулеса, Приапе или Венеры. Венки из цветов играли важную роль во всех обстоятельствах, когда опьянение вином и чувствами нуждались как в стимуле, так и в консерванте: аромат цветов смягчал испарения виноградного сока и в то же время возвышал вдохновения удовольствия. Плиний уверяет, что великие пьяницы, увенчав себя благоухающими цветами, избавляли себя от слепящего света и головной боли. Поэтому ни одна оргия не обходилась без корон на головах и цветов, разбросанных по столу и полу. Красота и обилие венков служили мерилom щедрости и хорошего вкуса *комиссара*. На следующий день после ужина куртизанки и *заслуженные* дети, присутствовавшие на нем, посылали свои увядшие и сломанные венцы своим ленонам, чтобы показать, что они хорошо выполнили свой долг (*in signum paratae Veneris*, говорит старый комментатор Апулея).

Наконец, эти празднества и постыдные действия, которые они поощряли, тем не менее, находились под покровительством определенных богов и богинь, которые для этой цели были отвлечены от своих приличествующих им атрибутов или родились в разгар оргии развратных религиозных фантазий. На пиру у Тримальсиона два раба, одетые в белые туники, вошли в комнату и поставили на стол лары дома, а третий раб, держа патеру с вином, обошел стол с криком: "*Будьте нашими благосклонными богами!* Эти боги - Промышленность, Счастье и Прибыль. Но Петроний не упоминает реальных божеств, которые председательствовали на этих ночных трапезах и принимали участие в них в разных качествах. Прежде всего, это был Комус, который нашел часть своего имени в этих радостных пирах, приготовленных и отпразднованных под его покровительством: он изображался в виде юноши, лицо его было освещено, лоб увенчан розами. Его имя образовано от слова *comes* - товарищ, которое, естественно, породило глагол *comissari* - делать хорошую еду между товарищами. Распутная молодежь, выходившая по ночам с факелами и топорами громить двери и окна куртизанок, ссылалась на Комуса и хвасталась, что записалась под его вакхические знамена; но это буйное ополчение, которое мэр штрафовал и даже порол, не находило оправдания в дурной репутации бога, которого они приняли за своего предводителя. Венера, Геркулес, Приапе, Исида, Геба и Купидон также были богами-покровителями комессаций. Купидон, отличавшийся от Любви, сын Венеры и Марса; Купидон, которого святой Августин обожествляет с титулом *Deus copulationis*, был сыном Хаоса и Земли, согласно Гесиоду; Венеры и Неба, согласно Сафо; Ночи и Эфира, согласно Архезилаю; Раздора и Зефиры, согласно Алкею; он царствовал особенно в конце ужинов. Геба, орошавшая нектаром и бессмертием гостей с Олимпа, должна была быть снисходительна и к смертным за столом. Исида, которую нечестивцы прозвали богиней (*præfecta*), покровительствующей скромным и снисходительным, считалась лучшим советчиком для влюбленных. Венера, Приапе и Геракл помогали Исиде защищать влюбленных. Венера - *Волупия*, *Пандемос* и *Лубенция*; Геракл - *Бибакс*, *Буфагус*, *Памфагус* и *Рустик*; Приапе - бог Лампсаха; *Пантей* - душа вселенной.

Наряду с этими великими богами, занимавшими свое место в пантеоне язычества и возглавлявшими пиры только из снисхождения, существовала целая процессия мелких,

неясных богов, у которых не было храма под солнцем и которые не осмелились бы появиться где-либо, кроме как на алтаре домашних ларов. Своим мимолетным существованием эти боги часто были обязаны шутке пьяницы или фантазии влюбленного. Что касается их лиц, то они были такими, какими их хотел видеть создатель, опираясь на свои собственные представления о физиономиях и атрибутах этих маленьких божеств, большинство из которых были гротескными, нелепыми и отвратительными. Чтобы восстановить теогонию богов разврата, потребовалось бы провести множество археологических исследований. Первым на ум приходит Конисал афинского происхождения, уменьшительное от Приапа, возглавляющий пот (Κονισαλός), вызванный любовными схватками. Его изображали в виде фаллоса, стоящего на козлиных ногах, с головой рогатого фавна. Бог Трифалл, к которому люди обращались за помощью в трудных ситуациях, был не более чем маленьким человечком с *пенисом* высотой до чепца, который, казалось, держал как кол. Пилумн и Пикумн, боги, охранявшие женщин во время родов, были одинаково вооружены от природы. Первый, чье имя происходит от *pilum* - пестик, по словам святого Августина, олицетворял непристойность; Пикумн, брат первого, имел имя и фигуру дятла, птицы с длинным клювом, которая зарывается в стволы деревьев, чтобы спрятать свое гнездо. Три меньшие богини: Деверра, Деверонна и Интерсидона, которым также рекомендовали себя беременные женщины, были равнодушны к таинствам любви: Интерсидона держала топор, Деверра - прутья, Деверонна - метлу. Вириплака, богиня супружеского примирения, казалась римлянам достаточно полезной, чтобы ей была воздвигнута часовня в Риме; но поклонялись ей прежде всего дома, и именно перед ее статуей заканчивались ссоры между мужьями и любовниками, причем им не нужно было идти на гору Палатин, чтобы искать защиты у этой примирительной богини: ее аллегорическая фигура совершенно неизвестна. Бог Домидук, сопровождавший жен в дома их мужей, оказывал ту же услугу любовницам и возлюбленным. Нам кажется, что мы должны узнать этого снисходительного бога в небольшой бронзовой статуэтке, изображающей сельского жителя, одетого в плащ с кукулем, под которым полностью скрыта его голова; этот подвижный плащ поднимается, чтобы показать приапе с человеческими ногами. Богиня Суадела, чьей миссией было убеждать; богиня Орбана, на попечении которой находились сироты; богиня Генита-Мана, которая должна была предотвращать рождение детей с уродствами и подделками; богини Постверса и Прорса, которые следили за положением плода в материнской утробе; богиня Куба-Деа, которая интересовалась всеми, кто лежал; бог Таласс или Талассио, в чьи владения входила кровать и все, что ее окружало; множество других богов и богинь, которые получали подношения и воззвания, когда сладострастники думали, что им нужна их помощь. Анжерона, помещенная рядом с Венерой-Волупией, приказывала молчать, кладя палец ей в рот; а Фауна, любимая богиня матрон, была там, чтобы прикрыть незаметной вуалью все, что не должно быть видно профанам. Наконец, если происходил союз двух полов и исполнялись естественные законы, вино выливалось на непристойное лицо бога Югатинуса: "*Quum mas et foemina conjunguntur*", - говорит Флавий Блондус в своей книге "Рим триумфальный", - "*adhibetur deus Jugatinus*". Святой Августин в своем "Городе Божьем" ограничивает приписывание Jugatinus помощью супругам в брачных делах.

---

## ГЛАВА XXIII.

Краткое содержание.- Римский народ, самый суеверный из всех народов.- Либертины и куртизанки, самые суеверные из римлян.- *Кледонистика* любви и либертинизма.- Недобрые приметы.- Почему непристойные слова были запрещены даже на собраниях развратников и проституток.- *Писсуар* или *камерный горшок*.- Достойный перифраз, использовавшийся

римлянами для его обозначения -Знак, принятый для просьбы о писсуаре во время еды - Хвала, которую римляне извлекали из звука, издаваемого мочой, когда она падала в писсуар -*Матула, мателла и скафий*, соответствующее использование каждого из этих мочеприемников -Двойное непристойное значение слова "*горшок*".-Этимология *matula*. -Честные серифры, используемые Сенекой для обозначения мочи.-Фигуративное и непристойное значение слова *urina*.-Предвестники мочеиспускания во время еды.-Геркулес *Urinator*.-Предвестники руктаций.-Роты хорошего и плохого предзнаменования.-*Крепитум*, бог нечестных ветров.-Раб, отвечавший за толкование отрывки гостей -Маленький бог Пет -Египетского происхождения -Почести, воздаваемые римлянами богу Пет под именем бога Насмешек -Похвалы, происходящие от звука пуканья -Происхождение термина "*сосули*", которым в народном языке называли девушек -Похвалы, происходящие от чихания.Птица Юпитера Хранителя - Демон Сократа - Юпитер и Кибела, боги Вечности - Счастливые предсказания , приписываемые Вечности в любовных делах - Акмей и Септимий - Внезапный звон в ушах и подергивания, считавшиеся плохими предзнаменованиями - Правая и левая стороны тела.-Приметы, возникающие при осмотре постыдных частей тела.-Приметы, возникающие от внешних шумов.-Скрип кровати.-*Lectus adversus* и *lectus genialis*. -Кубический джинн.-Мерцание лампы.-Умение куртизанок объяснять приметы.-Различные приметы.-Удар Венеры.-Император Прокул и сто сарматских девственниц - Встреча с собакой - Встреча с кошкой - Необычные занятия жителей Венеры - Посты и воздержание от удовольствий, налагаемые матронами в честь религиозных торжеств.-Подобные лишения налагались развратниками и куртизанками.- Клятва Венере.- Суеверные средства, использовавшиеся римлянами для выяснения девственности девушек.- Подношение Деве Фортуны кусочков ниток, которые были использованы по этому случаю.- Подношение испачканных тканей и орехов.- Орех, аллегория брака.

Римляне были самыми суеверными из всех народов, и самыми суеверными среди них были мужчины и женщины, которые в силу вкуса, привычки или профессии размягчали свои тела и души в искусстве разврата (*stupri artes*) и во всех капризах морали. Легко понять, как страх перед богами и забота о будущем тревожили этих распутников в разгар их оргий, совесть которых пробуждалась лишь время от времени и как бы случайно; легко понять, как эти наемные существа, бесстыдно торговавшие собой и ожидавшие ежедневной прибыли от этого ужасного ремесла, беспокоились о том, будет ли день или ночь благоприятны для них, и пошлет ли им судьба какую-нибудь благоприятную судьбу. Что касается влюбленных, то им постоянно приходилось строить планы наперед в огромном поле своих тревог и надежд; они выдумывали тысячу химер, и им нужно было в любой момент создать для себя безопасность или тревогу, столь же искусственную, чтобы дать удовлетворение доминирующей мысли, которая их терзала. Отсюда это постоянное наблюдение за предзнаменованиями, постоянный поиск способов узнать и направить судьбу, фанатичная страсть ко всем оккультным и темным наукам. То, что мы можем назвать миром любви в Риме, имело только одну религию - самое доверчивое и активное суеверие; но это суеверие, в этом мире чувственных удовольствий и безымянных расстройств, сильно отличалось от суеверий общего характера, которые не связывали с любовью и распутством эспумизан, гороскопы, заклинания и проклятия. Все римляне, от детей до стариков, как женщины, так и мужчины, как самые мудрые, так и самые простые, были одинаково чувствительны к предзнаменованиям и подчиняли самые незначительные действия в своей жизни этим предзнаменованиям, хорошим или плохим. Люди, для которых сладострастие было главной заботой, были еще более чувствительны к этим предполагаемым предупреждениям судьбы. Знание и оценка предзнаменований составляли настоящее искусство со своими правилами и принципами; оно называлось *кледонистикой*, и в этой науке, полной неуловимых нюансов, глава о любви была длиннее и подробнее всех остальных.

Говорить или слышать непристойные слова было дурным предзнаменованием, поэтому их запрещали даже на собраниях развратников и проституток, согласно пословице, которая бытовала во все времена и у всех народов: "Делать - хорошо, говорить - плохо". Поэтому они тщательно следили за своими поступками, но тщательно избегали выражать их в словах; они не квалифицировали их, не называли их. Плавт в своей комедии "*Служанка*" (*Casina*) говорит: "Произносить непристойные речи - значит навлекать несчастье на слушателя". (*Obscenare, omen alicui vituperare*). Луций Аксий в своей трагедии "*Сенномаüs*" также говорил: "Немедленно и с величайшей осторожностью объявите по городу, что все граждане, населяющие цитадель, чтобы вызвать благосклонность богов счастливыми предзнаменованиями, должны держать на устах все непристойные речи (*ore obscena segregent*)". Поэтому совершенно точно, что самые отъявленные укурки, самые позорные *mascarpiones* и самые бесстыдные либертины воздерживались от устных непристойностей; но они компенсировали это жестами, которые были так красноречивы в Риме и составляли такой богатый безмолвный словарь. Таков был ужас непристойных слов и зловещих выражений, что слово *писсуар* или *горшок* (*vas urinarium*) никогда не произносилось, и даже врачи использовали приличную перифразу для обозначения мочи (*urina*), которая, тем не менее, осмелилась прокрасться в эпиграммы Марциала. На пирах, где сосуд для мочи играл обязательную роль, гости, которые пользовались им за столом и на виду у всех, просили раба об этом, щелкая пальцами (*digiti crepitantis signa*). Иногда, чтобы не привлекать внимания соседей, палец трескался в суставе, если его ловко потянуть, и раб мог видеть этот знак, издававший лишь очень слабый шум. Затем, удовлетворяя эту естественную потребность (*urinam solve*), говорит Плиний), заботились о том, чтобы дать предзнаменование звуком мочи, ударяющейся о стенки вазы: это предзнаменование, в зависимости от звука, который она издавала при падении, могло быть истолковано по-разному. Ювенал презрительно изображает богатого гурмана, который радуется, слыша, как золотая ваза гудит под струей его мочи. Эта ваза, которую Плавт часто называет в своих комедиях, чтобы рассмешить римское население, называлась *matula*, *matella* и *scaphium*. Последняя предназначалась в основном для женщин, которые прятали ее от своих мужей и любовников: нет единого мнения о форме *скафиума*, который, несомненно, часто был непристойным и итифаллическим. Что касается *матулы*, то она представляла собой огромный металлический таз, на отверстии которого можно было сидеть и который служил гардеробом. *Мателла* же использовалась только в переносных целях и имела посредственную вместимость, которую хороший питейщик (*compotator*) мог наполнить несколько раз за ужин. Лексикографы не делают различий между этими тремя видами сосудов, когда говорят для общего определения: "Сосуд, в котором мы опорожняем мочевого пузырь, называется иногда *matella*, а иногда *scaphium*". Название этого сосуда использовалось в переносном смысле, с непристойным значением, которое, что примечательно, перешло во все современные языки. Плавт очень ловко обвинил этот нечистый образ, когда говорит в своем "*Мостелларии*": "Клянусь Геркулесом! если ты не дашь мне горшок, я использую тебя (*tam Hercle! ego vos pro matula habeo, nisi matulam datis*)". В другой аллюзии Перс также образно использует слово *matula* в значении "глупый", поскольку горшок принимает все и почти не жалуется: *Numquam ego tam esse matulam credidi* ("Я никогда не верил, что я тоже горшок!", чтобы перевести буквально в духе нашего языка). Что касается этимологии *matula*, то ее, вероятно, следует искать в *mentula*. Моча, которую Сенека упоминает в откровенных перифразах (*aqua immunda, humor obscenus*), тоже была предметом предзнаменований, в зависимости от того, вытекала ли она туго, без перерывов, струйками, толчками или простынями. . Обильное и легкое выделение этой *непристойной жидкости* перед жертвоприношением Венере предвещало успешное завершение этого жертвоприношения, при котором слово *urina* приобретало новый

образный и еще более непристойный смысл. Ювенал очень близок к тому, чтобы придать ему это значение, когда говорит, что при виде развратных танцев Испании сладострастие проникает через глаза и уши и кипятит мочу, содержащуюся в мочевом пузыре: *Et mox auribus atque oculis concepta urina movetur*.

Эти мочеиспускательные приметы особенно часто встречались на званых обедах, где каждый миг раздавался щелчок нетерпеливого пальца, а к столу иногда подносили статуэтку *Геркулеса-мочеиспускателя*, чтобы расслабить почки и успокоить мочевой пузырь гостей. Не меньшее значение придавалось предзнаменованиям руктаций, которые мы называем *отрыжками* на тривиальном языке, куда переключалась эта нелепость. Римляне, особенно большие едоки, думали не так, как мы. Были отрыжки, которые были хорошим предзнаменованием, которым аплодировали все гости; были и отрыжки, которых было достаточно, чтобы омрачить и сорвать трапезу. Сегодня нам было бы трудно определить, какая отрыжка была хорошим предзнаменованием, а какая - плохим, но ни в коем случае не считалось, что *ructus* - это отсутствие хороших манер. Эти шумные и неприятные взрывы желудочной бури не сдерживались, поскольку эти пары, эти внутренние ветры, которые вырывались через рот или основание, были обожествлены под именем *crepitus*. Цицерон в своих "Семейных письмах" не стесняется превозносить мудрость стоиков, которые утверждали, что жалобы желудка и живота не следует подавлять (*stoici crepitus aiunt æque liberos ac ructus esse oportere*). Представления древних на этот счет сильно отличались от наших. Они судили о звуках отрыжки как о хорошем или плохом, и с невозмутимой серьезностью делали по ним предсказания. Нужно быть римлянином, чтобы не прогнать эту строчку из комедии Плавта: *Quid lubet? Pergin' ructare in os mihi?* Будешь ли ты продолжать рыгать у меня во рту! Собеседник отвечает на это озорство: "Отрыжка кажется мне очень милой, так и всегда". (*Suavis ructus mihi est, sic et sine modo.*) Во время ночных трапез гости, нагруженные едой и напитками, передавали отрыжку от одного к другому, а раб специально присутствовал при этом, чтобы подмечать приметы. Каждый *руктатор* в нужный момент узнавал, благосклонна ли к нему судьба, и не будет ли у него нескольких досадных неприятностей в любовных делах: "Там всегда есть потакатель, готовый дивно кричать, - говорит Ювенал, - если амфитрион хорошо рыгнул (*si bene ructavit*), если он прямо помочился (*si rectum minxit*), если золотой таз гулко отозвался, приняв его подношение".

Множество других предзнаменований, в целом благоприятных, было связано с испусканием *флатуса*, которые обнаруживали себя слуха или обоняния; мы не только были полны взаимного снисхождения к этим случайностям, которые обычно предавали шум или запах, но и аплодировали друг другу за то, что не поставили никаких препятствий на пути воли природы и того всемогущего бога по имени *Гастер*. Всякий раз, когда раздавался *скрип*, присутствующие поворачивались к югу или аустеру, родине ветров, надували щеки и делали вид, что дуют, поджав губы, как Зефир. Только в серьезных или религиозных собраниях приходилось молчать и держать закрытыми непристойные бурдюки Эола. Но везде, и особенно за столом, полная свобода и абсолютная снисходительность. "Когда мы остаемся дома, среди рабов и служанок, - говорил Катон, - если кто-то из них пукнул под тунику, он не причиняет мне никакого вреда; если случается, что раб или служанка во время сна делают то, что не принято делать в обществе, он не причиняет мне никакого вреда". Маленький бог Пет появлялся во всех комессациях под фигурой сидящего на корточках ребенка, поджавшего бока и как бы находящегося при исполнении своих божественных функций. Этого бога представляли себе египтяне, у которых, очевидно, была большая потребность часто обращаться к нему. "Египтяне, - говорит Климент Александрийский, - считают шумы живота божествами" (*Ægyptos crepitus ventri pro numinibus habent*); но, по мнению одного из комментаторов, здесь скорее имеется в виду журчание кишечника, которое на техническом

языке называется *борборигмами*. Святой Иероним выражается более определенно, говоря, что он не будет говорить о пердеже, который является культом у египтян (*taceam de crepitu ventris inflati, quæ pelusiaca religio est*). Сен-Сезер в своих "Диалогах" даже добавляет, что этот культ внушал язычникам, которые его исповедовали, своего рода фанатизм: *Nisi forte de ethnicis Ægyptiis loquamur, qui flatus ventris non sine furore quodam inter deos retulerunt*. Наконец, Минуций Феликс, конечно, не шутил, когда утверждал, что египтяне боялись Сераписа меньше, чем шумов, которые исходили из постыдных частей тела (*crepitus per pudenda corporis emissos*). Хотя бог Пет был египетским, он был натурализован римлянами, которые отвели ему почетное место на алтаре ларских богов. Ему даже выделили часовню за стенами города, у источника Эгерия; но публично ему поклонялись под именем Нелепого бога и в виде злобного маленького чудовища, изображаемого в позе, которая лучше всего соответствовала его действиям. Примета заключалась в звуке пуга (*peditum*, как называл его Катулл), а не в его запахе, поскольку кледонисты предпочитали обращать внимание на звуки. Однако, похоже, женщины не позволяли себе такой вольности и поэтому отказывались от собственных предзнаменований; так, Апулей рассказывает о смоковнице, от которой женщины воздерживались, потому что она вызывает метеоризм (*quia pedita excitat*). Поэтому женщины старались не давать голоса духам своей утробы, которые в конвульсиях наслаждения иногда разрушали все преграды: тогда предзнаменование становилось более значимым. Когда по воле случая эти духи объявляли о беременности, звук обещал ребенка мужского пола, запах - девочку. Возможно, именно в этом кроется загадка того, что в народной речи девочек называют *сосудами*. Кстати, римляне никогда не относились к слову "весс" (*visium*) так же серьезно, как к слову "пук" (*crepitus*). "Слово *divisio* - честное, - говорит Цицерон, - но оно становится непристойным, как только на него отвечают: *intercapedo*". Эти предзнаменования, за которые самая искренняя вера не оправдывает нечистоплотность, пришли от греков по прямой линии; Аристофан в "*Рыцарях*" показывает нам персонажа, которого выводит из задумчивости нелепость нескромного человека, и он благодарит богов за такое счастливое предзнаменование.

Были и другие человеческие звуки, которые поддавались капризным интерпретациям клише: чихание, например, понималось по-разному, в зависимости от того, было ли оно звонким, пронзительным, громким, бурлескным, простым или повторяющимся. Чихание утром, чихание вечером, чихание ночью имели три разных значения: неудачное, хорошее, отличное. Еще более значимым было, если чихающий внезапно появлялся середине работы Венеры: богиня провозглашала свое благосклонное покровительство чихающему, который позаботился о том, чтобы повернуться направо, чтобы чихнуть. Во время трапезы чихатель доставлял радость гостям, которые приветствовали и аплодировали тому, кого посетил бог; ведь, согласно древнему поверью, вновь и вновь появляющемуся у греческих писателей, чихание приписывалось невидимому проходу бога-покровителя: его прозвали птицей Юпитера-хранителя; Сократ говорил, что это демон, и хвастался, что понимает язык чихания этого знакомого демона. Для женщин чихание было не так полезно, как для мужчин, и они боялись его до такой степени, что прибегали к некоторым предохранительным мерам, когда были к нему склонны. Чихание три раза подряд или нечетное количество раз было лучшим предзнаменованием. Дай боги, чтобы я чихнул семь раз, - говорил Опимий, - прежде чем войду в постель моей богини! Чихание всегда объяснялось сверхъестественными причинами; люди хотели видеть в этом бурном клочкотании животных духов выход какого-нибудь джинна, пробравшегося в мозг чихающего. Мифология рассказывает, что Паллас, рожденная во лбу Юпитера, сначала хотела заявить о себе с помощью этернумента, который едва не привел к новому хаосу в зарождающейся вселенной. Мифология, всегда изобретательная в своих аллегорических баснях, предполагала, что Венера никогда не чихала, опасаясь появления морщин. Поэтому Юпитер и Кибела руководили чиханием,

которое считалось благоприятным и которое бросали вправо с максимально возможным шумом. Эти чихания имели немаловажное значение в любви, и им приписывали множество счастливых предсказаний. Когда Катулл показывает нам Акме и Септимия в объятиях друг друга, клянущихся в вечной любви: "Будем служить только одному богу, - кричит Акме в бреду, - если правда, что огонь, текущий в моих жилах, пылче твоего! И поэт добавляет: "Любовь, которая до сих пор чихала налево, отмечает свое одобрение чиханием направо (*Amor, sinistram ut ante, dextram sternuit approbationem*)". Проперций не может лучше описать преимущества такого чихания, чем предположить, что Любовь в день рождения Синтии чихнула именно таким образом на колыбель этой прекрасной женщины:

Num tibi nascenti et primis, mea vita, diebus,  
Candidus argutum sternuit omen Amor.

Влюбленных также очень беспокоили звон в ушах, внезапные подергивания тела (*sallisationes*) и бессвязные движения конечностей. Эти предзнаменования, по крайней мере, обычно не были счастливыми; они рассматривались как признаки неверности или любого другого преступления, которое возмущало любовь. Плиний не был столь доверчив, как его современники; тем не менее он утверждает, что звон в ушах - это эхо речи тех, кто отсутствует. Ревность верила в эти предчувствия больше всего, и любовник, в ушах которого звенело, не сомневался, что добродетель его любовницы находится под угрозой. Иногда это также было симптомом того, что любовь говорит и отвечает сама, как в этих стихах, приписываемых Катуллу:

Garrula quid totis resonans mihi noctibus auris  
Nescio quem dicis nunc meminisse mei?

Люди всегда искали сверхъестественный эффект в чисто физической причине. Достаточно было звона в ушах, чтобы нарушить тет-а-тет влюбленных, помешать им встретиться, придать холодность самой сильной страсти. Звон в ушах был приглашением к недоверию и предвестником несчастья, слез, разрыва отношений или предательства. То же самое касалось нервных колебаний, ощущаемых в конечностях: в руках, ногах, органах генерации, во всем теле - каждое из них имело свое более или менее неблагоприятное предзнаменование. После такого трепета человек, испытывший его, оставался застывшим и бессильным в присутствии самой прекрасной греческой куртизанки или самого провокационного кинематографиста. Эти явления экономики всегда были более угрожающими, когда они затрагивали левую сторону тела; таким образом, все, что происходило в правой стороне, можно было в значительной степени объяснить. Кроме того, существовали весьма странные приметы, связанные с осмотром постыдных частей тела, к которым обычно обращались при выходе из бани; но поскольку эти приметы не переведены на французский язык, мы вынуждены оставить их под завесой латыни: *Mentula torta, bonum omen; infaustum, si pendula* и т. д.

Помимо шумов человеческого тела, людей интересовали все внешние шумы, чтобы придать им благоприятное или неблагоприятное значение; эти шумы были разного характера, в зависимости от людей, которых они касались. Например, шумом, которому друзья и агенты чувственных удовольствий придавали наибольшее значение, был и должен был быть скрип кровати (*argutatio lecti*). В разнообразных шорохах этого предмета мебели, который то плачет, то жалуется, то стонет, словно душа болит; это был таинственный язык, полный предзнаменований и амурных оракулов. Катулл не рисует переносы куртизанки в бреду (*febriculosi scorti*), не рисуя трогательный голос кровати, которая дрожит и движется

(*tremulique quassa lecti argutatio inambulatioque*). Этот голос иногда напоминал треск дерева, иногда скрип железа о железо, иногда молитву, иногда угрозу, иногда вздох, иногда причитание. Каждый звук имел особое значение, счастливое или несчастливое, и очень часто самые нежные ласки нарушались и прерывались этими предупреждениями кубического гения. Кровать, хранившая абсолютную тишину и молчавшая при самых активных уговорах, казалось, хранила будущее и подозревала любовь. Место, занимаемое кроватью, тоже было небезразлично. Ее называли *lectus adversus*, когда ставили перед дверью спальни, чтобы закрыть ее от злых божеств. Ее называли *lectus genialis*, когда посвящали *Гению*, отцу сладострастия. Именно Гений наделял душой и голосом слоновую кость, черное дерево, кедр и серебро, из которых состоял трон наслаждения. Ювенал изображает гнусного потворщика, который согласился восполнить недостаток мужественности мужа, сделав его отцом: "Целую ночь, - сказал он ему, - я мирил тебя с твоей женой, пока ты плакал у дверей. Я призываю в свидетели как кровать, на которой происходило примирение, так и тебя самого, до чьих ушей доносились скрип кровати и прерывистый говор дамы". (*Testis mihi lectulus et tu, ad quem lecti sonus et dominæ vox...*) Если ложе говорило влюбленным добро или зло, то все вокруг них в долгие часы, проведенные под покровительством Венеры, приобретало убедительный и властный голос: мерцание лампы было особенно благоприятным, и влюбленным нечего было бояться, когда пламя, поднявшись выше, вдруг бросало более яркий свет. Овидий в "Героидах" говорит, что свет чихает (*sternuit et lumen*), и этот чих сулит все счастье, какое только можно пожелать в любви.

Куртизанки были самыми искусными в объяснении этих предзнаменований, которые, должно быть, находились в основном в их компетенции: все время, которое они не отдавали любви, они проводили, расспрашивая заклинателей и авгуров; любовь, кроме того, была единственной целью их забот и стремлений. Если обычный ход событий не давал им естественных благоприятных предзнаменований, которые они могли бы истолковать в направлении своих увлечений, у них были различные способы предвидеть события и заставить судьбу выдать свои тайны с помощью определенных шумов, которые они провоцировали. Там они гремели листьями деревьев в полузакрытом кулаке, здесь слушали треск лавровых листьев на раскаленных углях, в других местах бросали в потолок своей камеры яблочные или грушевые семечки, вишневые косточки или пшеничные зерна, стараясь попасть в цель, к которой стремились; Иногда они сжимали в левой руке лепестки роз, которые другой рукой формировали в пузырек; в другое время они считали листья на стебле мака или лучи в венчике маргаритки; наконец, они бросали четыре игральные кости, которые, если на всех четырех выпадали разные числа, предлагали им *coeur de Vénus*. Поэты о любви полны этих гаданий, которые заставляли сердца влюбленных биться. Хотя у них были свои собственные приметы, они были одинаково чувствительны к предзнаменованиям, адресованным всем. Купчиха, которая, выходя в публичный дом или на прогулку, натыкалась на дверные косяки или делала неверный шаг на пороге, спешила домой, не выходила из дома целый день и воздерживалась от работы в этот день. Если, вставая утром, она натыкалась на дерево своей кровати, то возвращалась в постель и не пользовалась этим вынужденным отдыхом. *Амасии* и женщины, занимающиеся проституцией, чаще других наблюдали за приметами, которые попадались им на пути, за полетом или криком птиц, за рокотом воздуха, за формами облаков, за первой встречной и последней вещью, которая попадалась им на глаза; но, кроме того, они привязывались к некоторым приметам, имевшим значение только для них. Голубь, голубка, воробей, гусь, куропатка - эти птицы, дорогие Венере и Приапу, недаром встречались на пути человека, мечтавшего только о любви и верившего, что с этого момента он может успешно взяться за любое дело. Император Прокул, победив сарматов, однажды увидел двух воробьев, резвившихся на фронте храма Юноны: у него хватило терпения считать их крики и хлопанье крыльев; затем он приказал

привести к нему сто сарматских девушек, никогда не знавших мужчин: через три дня он оставил их всех упитанными своими трудами. Если ревнитель мужского разврата слышал крик гуся, он наполнялся пылом и силой; если любящая женщина (*amasia*) видела черепаху во время прогулки по полям, она клялась уступить первому мужчине, который попросит ее поклониться Венере вместе с ней. Достаточно было встретиться лицом к лицу с собакой, чтобы заранее быть уверенным, что все пойдет в соответствии с вашими распутными желаниями. Если же перед вами была кошка, то разумнее было отложить до завтра задуманный амурный отдых, который привел бы вас только к замешательству.

Существовали и весьма необычные суеверия, рассчитанные исключительно на легкоеверие жителей Венеры. Этот причудливый и странный народ не соблюдал постов и воздержания от удовольствий, которые налагали на себя матроны в честь различных религиозных торжеств; но он не избавлял себя от подобных лишений, чтобы удовлетворить угрызения совести, о которых матроны по тем же причинам и не подумали бы. Куртизанка, имевшая слабость сожительствовать с обрезанным мужчиной (*recutitus*), обрекала себя на отдых в течение целой луны. Развратнику, желавшему добиться благосклонности Венеры к мальчику или девочке, достаточно было сформулировать свою просьбу в виде клятвы, обращенной к богине, и он с большей вероятностью был удовлетворен. О моя государыня, о Венера!" - восклицал герой романа Афиней, когда делил ложе с красивым подростком, - "если я получу от этого ребенка то, что желаю, и при этом он не почувствует этого, завтра я подарю ему пару горлиц". Подросток притворился храпящим, и на следующий день у него была пара горлиц. Не только в вопросах брака вопрос девственности казался сложным и важным. Либертины за большие деньги выискивали первоцветы девственниц, и это было прибыльным ремеслом ленонов и ленов, которые иногда брали своих жертв в возрасте семи-восьми лет, чтобы быть более уверенными в состоянии такого хрупкого и редкого товара. Покупатель часто требовал доказательств, которые было бы очень трудно предоставить, если бы суеверие не придавало значения странному обычаю, который даже использовался в обычных браках для подтверждения статуса девственницы. Вот как это делалось: когда девушка, выдававшая себя за *непорочную*, собиралась лечь в постель, где ей предстояло перестать быть таковой, ее воротник измеряли ниткой, которую бережно хранили до следующего дня; затем снова использовали ту же нитку: Если шейка матки оставалась прежнего размера с предыдущего дня и если нить по-прежнему точно обматывалась вокруг нее, то делали вывод, что потеря девственности у этой девушки относится к более раннему времени и не может быть приписана тому, кто считал, что потерял ее; с другой стороны, эта девственность становилась неоспоримой для самых недоверчивых, в случае если шейка матки после дефлорации увеличивалась, а нить была слишком короткой, чтобы полностью ее обойти. Именно на эту процедуру, столь же простую, сколь и наивную, ссылается Катулл в своем эпиграме о Фетиде и Пелее, когда говорит: "Завтра ее кормилица на рассвете уже не сможет обвить шею невесты нитью, оставшейся с позавчерашнего дня".

Non illam nutrix orienti luce revisens,  
Hesterno collum poterit circumdare collo.

Эта нить или шнурок, доказывавшие девственность, часто благодаря покладистости человека, ответственного за измерение шеи девственницы, ставшей женщиной, вешались в храме Девственной Фортуны, построенном Сервием Туллем у Капенских ворот; с этой благословенной нитью другие свидетельства девственности, написанные кровью на белье жертвы, посвящались богине, которую также называли *Virginensis Dea*: "Вы предлагаете Девственной Фортуне запятнанную одежду молодых девушек! восклицает Арнобий с негодованием, которое разделяет Святой Августин в "Городе Божьем". Этой Девственной

Фортуной была не кто иная, как Венера, которой также подносили орехи в напоминание о том, что в первую брачную ночь супружеское таинство совершалось под звуки орехов, которые дети с шумом высыпали на порог спальни супругов, чтобы заглушить крики истекающей девственности. "Рабыня, дай, дай орехи детям!" (*Concubine, nuces da*), - говорит Катулл в брачной песне Юлии и Манлия. "Муж, не жалея орехов!" - говорит Вергилий в своих "Буколиках": *Sparge, marite, nuces!* В глазах римлян, для которых все было аллегорией, орех олицетворял загадку брака, орех, скорлупу которого нужно расколоть, прежде чем узнать, что в ней содержится.

---

## ГЛАВА XXIV.

Резюме.- У куртизанок Рима не было историков и панегиристов, как у греческих.- Почему.- Поэты-комменсалы и любовники куртизанок.- Любовь куртизанок.- Именно в поэтах мы должны искать элементы истории римских куртизанок.- Музы эротических поэтов.- Их жалкая старость.- Любовь Горация.-Неприязнь Горация к матросской галантности.- Купиенна.-Клятва Саллюстия.-Марсей и танцовщица Ориго.-Эпикурейская философия Горация.-Его совет Церинфу о любви к матронам.-Его сравнение этой любви с любовью куртизанок.-Ниера, первая любовница Горация.-Клятва Ниры.-Ее неверность.-Любовные воспоминания Горация о его первой любви -Ориго, Ликорис и Арбускула -Разврат патриция Катия -Его прелюбодеяния -Брак Горация со старой матроной, которую он бросил ради Инахии -Ужасные эпиграммы, которые он написал против этой старой развратницы -Мы ничего не знаем об Инахии -Служанка Чинара -Парфюмер Гратидий -Его снадобья-афродизиаки.Публичный разрыв Горация с Гратидией. - Куртизанка Агна и ее любовник Бальбин. - Любовь Горация к мальчикам. - Батилла. - Лизик. - Любовь Горация к иностранной куртизанке Лисе. - Ода Лисе. - Гораций, обманутый Лисой, пишет стихи против нее. - Пирра. - Гораций, застукав Пирру с молодым человеком, пишет прощальную оду этой куртизанке.- Лалаге.- Гораций делит эту вольноотпущенницу со своим другом Арисием Фуском.- Барин.- Тындарис и ее мать.- Признание Горация в любви Тындарис.- Мать Тындарис, подруга Гратидия, противится роману дочери с Горацием.- Гораций обращается к Гратидию с почетной просьбой, чтобы добиться расположения Тындарис.-Тиндарис тронут и примиряет Горация с Гратидией. -Лидия. - Эта куртизанка обманывает Горация ради Тельфы. -Ода Горация Лидии о ее неверности. -Миртале. -Лидия бросает Тельфу ради Калаиса.- Примирение Горация и Лидии.-Хлоя.-Филис, рабыня Ксанфия.-Какому необычному обстоятельству обязан Гораций открытием красоты этой рабыни.-Ода Ксанфию.-Филис, освобожденная Ксанфием, берет в любовники Тельфа.-Гораций сменяет Тельфа.-Ода Филлису.-Глисир, бывшая любовница Тибулла, оказывает свои услуги Горацию.-Страстная любовь Горация к этой куртизанке.-Ода Горация Тельфу, ставшему его другом.-Гораций, по наущению Глисира, пишет оскорбительные стихи против нескольких своих бывших любовниц.-Попытка Горация сблизиться с Хлоей и заставить эту куртизанку забыть своего любовника Гигеса.-Презрение Хлои к Горацию, который встает на сторону Астерия, своего соперника.-Обожание Горация влюбленными.-Певица Лида, последняя любовница Горация.-Огромная страсть Горация к Лигурину.

У куртизанок, особенно греческих, которые были услугой для сладострастников Рима, не было ни историков, ни панегиристов, подобных тем, чье политическое, философское и литературное превосходство Греция признала, воздав им своего рода культ энтузиазма и восхищения. Римляне, как мы уже говорили, были грубее, материальнее, чувственнее, чем греки века Перикла и Аспазии; то, что они требовали от этих женщин удовольствий, этих иностранцев, чей язык они едва знали, не было блестящей, солидной, глубокой, духовной

беседой, отголоском уроков афинской академии, воспоминанием о золотом веке гетайров; Нет, они искали и наслаждались лишь менее идеальными удовольствиями и причисляли к вспомогательным средствам физической любви только хорошую еду, духи, песни, музыку, танцы и пантомиму. Они также не предоставляли никакого влияния за пределами *triclinium* и *cubile* (столовой и спальни) обычным спутникам своих оргий и разврата. Поэтому жизнь куртизанок никогда не была публичной, а в обществе молодых распутниц почти не происходило ничего интимного. Несомненно, в этом обществе, полностью занятом своими удовольствиями, были поэты и писатели, которые могли бы посвятить свою прозу или стихи биографии куртизанок, с которыми они жили в такой согласии; Но эта развратная тема казалась им недостойной передачи потомству, и, если бы каждый из них согласился воспеть взятую им любовницу, реабилитируя ее, так сказать, через любовь, никто, по крайней мере из уважающих себя авторов, не осмелился бы назвать себя поэтом куртизанок Рима, как и художники, которые не отказывались изображать этих драгоценных и знаменитых женщин, стыдились бы называть себя, подобно некоторым греческим художникам, живописцами куртизанок. Если некоторые произведения, специально посвященные истории и использованию знаменитых римских куртизанок, были написаны под диктовку этих сирен и с целью их увековечения, то мы можем с большим основанием предположить, что такие произведения не выходили из-под выдающихся перьев и что они должны были быть уничтожены вместе с *molles libri* и всеми теми непристойными сочинениями, которые язычество не пыталось опровергнуть справедливыми анафемами евангельской морали.

С другой стороны, поэты, которые тогда, как и всегда, были спутниками и любовниками куртизанок, охотно воздавали им в особенности те почести, которые они постеснялись бы воздать им вообще; в их глазах их любовь возвышала женщину, которая была ее объектом: Отныне она уже не была потерянной женщиной, заклеянной законами и заклеянной именем *meretrix*; она была любимой женщиной и, как таковая, заслуживала внимания и нежной заботы. Со своей стороны, куртизанка, чувствуя себя любимой, иногда забывала о своей профессии и действительно ощущала внушенную ей любовь, которой она гордилась и которая обеспечивала ей единственную почетную репутацию, на которую она могла претендовать. "Таким образом, - пишет М. Валькенер в своей "Истории Горация", которую мы не устанем цитировать с такой же уверенностью, как и первоисточники, - таким образом, несмотря на наставления, которые давали девушкам, предназначенным для профессии куртизанки, те, кто их для этой профессии воспитывал, они были не менее восприимчивы к настоящей любви". Поэтому именно в сборниках классических поэтов, в стихах, которые они адресовали куртизанкам, мы должны найти элементы истории этих корифеев римской проституции. Гораций, Катулл, Тибулл, Проперций и Марциал дают нам единственные документы, которые можно использовать для составления очень краткого и очень полного перечня куртизанок, которые пользовались почестями моды со времени возведения Августа в императоры до правления Траяна (41 г. до н. э. - 100 г. н. э.).С.) Эти куртизанки, которых мы будем называть Музами эротических поэтов, в большинстве своем принадлежали к классу *famosæ*, где их остроумие, красота и мастерство давали им право быть цитируемыми; Но с возрастом большинство из них снова попадали в безвестную толпу низкопробных женщин, а некоторые из них, после того как видели консулов, преторов и генералов армии, сидящих за их столом и соревнующихся за услуги, за которые они платили баснословные цены, после того как были окружены клиентами, рабами, ленонами и поэтами, живя во дворце и тратя золото нескольких завоеванных провинций на всевозможные пиры и расточительство, они постепенно становились настолько заброшенными и нищими, что их находили по вечерам, укутанными в старый центон или разноцветный плащ, бродящими с волками Суммы и предлагающими позорные услуги своей руки или рта неизвестным прохожим. Эти позорные примеры упадка куртизанок не вызывали даже жалости у их бывших поклонников, а те, кто

любил их больше всего, в ужасе отворачивались, как мы узнаем от Катуллы, который таким образом встретил в позоре проституции одну из любовниц, о которых он пел в пышности галантной жизни.

Мы начнем с обзора любовных походов Горация, чтобы познакомиться с великими куртизанками его времени; ведь Гораций, мудрый и благоразумный даже в вопросах удовольствий, был озабочен лишь легкими любовными связями, в которых его покой не мог быть нарушен. Ужасного закона Юлия против прелюбодеяния еще не существовало, но римская юриспруденция, хотя и утратила свою силу в этом деликатном вопросе, все еще оставляла страшное оружие в руках обманутого мужа, или отца, или брата, возмущенного беспутным поведением дочери или сестры. Гораций знал, что нельзя безнаказанно влюбиться в матрону и что любовник, уличенный в прелюбодеянии, рискует быть наказанным на самом месте своего преступления либо потому, что муж довольствуется отрезанием носа и ушей виновника, либо потому, что тот теряет мужественность и лишается атрибутов мужественности, либо потому, что ему перерезают горло в присутствии его сообщника. Гораций в сатире 2-й книги I по поводу Купиенния, который очень любопытствовал о любви матрон (*mirator cunni Cupiennius albi*), перечисляет жертвы, которые эта любовь принесла и чье удовольствие было печально прервано (*multo corrupta dolore voluptas*): "Один бросился с крыши, другой погиб под прутьями; этот, спасаясь бегством, попал в шайку воров; этот выкупил свою кожу экю; другой был запятнан мочой гнусных рабов; более того, случилось, что железо рассекло мужественные части одной из этих потаскушек (*quia etiam illud accidit ut cuidam testes caudamque salacem demeteret ferrum*).". Гораций повторяет клятву, которую часто давал Саллюстий: "Я никогда не прикоснусь к матроне (*matronam nullam ego tango*)"; но он не подражает глупости Саллюстия, который погубил себя из-за вольноотпущенниц, и не подражает Марсею, который растратил свое богатство и продал даже дом, чтобы содержать танцовщицу по имени Ориго: "Я никогда не имел ничего общего с чужими женами", - сказал Марсей Горацию. - Нет, - ответил поэт, - но ты имел дело с балладными девушками, проститутками (*meretricibus*), которые губят репутацию даже больше, чем кошельки".

Однако Гораций не пренебрегал куртизанками и танцовщицами ради себя самого, но при общении с ними щадил свой кошелек и свое здоровье. Он сохранял разум при всех излишествах чувств и всегда достаточно владел собой, чтобы не отдаться на милость женщины, даже если был страстно в нее влюблен. В своих самых сильных страстях, будучи приверженцем эпикурейской философии, он следовал прежде всего побуждениям удовольствия и тщательно избегал всего, что могло бы стать причиной неловкости, неудобства или беспокойства. Вот почему, не говоря уже о постыдном распутстве, которое римская мораль допускала в порядке удовольствий, противоречащих природе, он не сосредоточивал свою привязанность на одном объекте, а обычно делил ее между несколькими подругами, которые последовательно или одновременно были его любовницами. Вот почему, рассматривая этот вопрос с холодным беспристрастием, он предпочитал спокойное обладание наемными любовницами опасной распущенности матронской галантности: "Чтобы не раскаиваться, - сказал он слуге, боготворившему великих дам, - перестань гоняться за матронами, потому что в этом деле больше вреда, чем пользы. У матроны, если можно так выразиться, Церинтус, несмотря на ее камеи и изумруды, нет более отполированного бедра или лучше сделанной ноги; зачастую даже куртизанка лучше (*atque etiam melius persæpe togatæ est*). К этому следует добавить, что товар куртизанки не украшен:

все, что она хочет продать, она показывает открыто; все, что у нее есть красивого, она не кичится этим, а выставляет напоказ; она заранее признается в том, что скрывает, что имеет недостатки. У кучеров, покупающих лошадей, принято подвергать их общему осмотру... У матроны, кроме лица, ничего не видно; остальное, за исключением Катии, скрыто до тех пор, пока не снято платье. Если вы нацелились на этот запретный плод, окруженный столькими укреплениями (и именно это сводит вас с ума), то на вашем пути встанет тысяча вещей: стражники, мусор, парикмахеры, паразиты, и эта шаль, доходящая до пят, и этот плащ, окутывающий ее сверху, - все это преграды, которые не позволяют вам приблизиться к цели".

Гораций в этой сатире, в которой он раскрывает свои вкусы и привычки, сравнивает с этой матроной куртизанку, которая выдает себя до того, как на нее нападут: "С ней, говорит он, ничто не является препятствием; марля позволяет видеть ее как будто обнаженной; вы можете почти измерить ее глазом в самых потайных местах; разве у нее нет плохо сделанной ноги и некрасивой ступни? Неужели вы предпочтете, чтобы вас заманили в ловушку и вырвали у вас цену товара, прежде чем вы его увидите?" Затем Гораций признается, что у него нет терпения, когда огонь желания течет по его жилам (*tument tibi quum inguina*), и тогда он обращается к первой служанке, первому ребенку, который может прийти ему на помощь: "Я люблю, - говорит он откровенно, - легкую и удобную любовь (*namque parabilem amo Venerem facilemque*). Тот, кто говорит: "Сейчас... Но я хочу большего... Давай подождем, пока мой муж уйдет...", я оставляю жрецу Кибелы, как говорит Филон. Он возьмет того, кто не назначит столь высокую цену и не заставит себя ждать, когда ему прикажут прийти. Пусть она будет красивой, хорошо сделанной, ухоженной, но не до такой степени, чтобы казаться белее или выше, чем ее создала природа. Когда мой правый фланг прижимается к ее левому, она - моя Илие и моя Эгерия; я даю ей то имя, которое мне нравится. И я не боюсь, когда занимаюсь любовью (*dum futuo*), что муж вернется из деревни, что дверь расшатается, что собака залаяет, что дом затрясется сверху донизу, что бледная жена вскочит с постели, что она обвинит себя в том, что очень несчастна, что она будет бояться за свои конечности или за свое приданое, и что я сам тоже буду бояться за свой счет; Потому что в таком случае надо бежать, босиком и в растрепанной одежде, иначе берегитесь своих грошей, своего дна и своей репутации!... Горе тому, кого поймают! Я доверяю Фабию". Гораций, в своем приятном эпикурействе, знал скорее удовольствие, чем любовь.

Его первую любовницу, по крайней мере ту, которую он впервые прославил в своих стихах, звали Нира. Он любил ее, вернее, составлял ей компанию более лет, во время консульства Планка, в 714 году по Римом. В то время ему было двадцать пять лет, и он еще не сделал себе имя среди поэтов; поэтому он был слишком беден, чтобы платить много за услуги этой певицы, которая, несомненно, не имела той популярности, которой она достигла впоследствии в комессации. Однажды ночью она обняла своего молодого любовника и дала клятву, которую засвидетельствовала луна: "Пока волк преследует ягненка, пока Орион, ужас моряков, поднимает затянутые бурей моря, пока зефир ласкает длинные волосы Аполлона, я буду отвечать любовью на любовь! Но клятва вскоре была забыта, и Нира посвятила свои ночи более богатому любовнику, который платил лучше. Однако она не хотела ссориться с Горацием, который порвал с ней все отношения, сказав себе: "Да, если во Флакке есть что-то от мужчины (*si quid in Flacco viri est*), я буду искать любовь, которая будет соответствовать моей собственной!" Так он отстранился от неверной Ниры и предсказал своему счастливому сопернику, что и сам будет покинут, даже если будет обладать многочисленными стадами и обширными владениями, если будет красивее Ниреи и если заставит Пактолус катиться домой к своей госпоже. С тех пор она отличилась как певица, и когда Гораций был обязан дружбой Мecenата и благосклонностью Августа ее поэзии, он вспомнил о Нире и часто

посылал за ней, чтобы она пела на пирах, которые он давал своим друзьям: "Иди, юный раб, - говорил он в оде по случаю возвращения императора после испанской войны, - принеси нам духи, короны и амфору времен войны с марсами, если кто избежал банд Спартака. Скажите певице Нире, чтобы она поторопилась и завязала свои волосы с запахом мирры. Если ее проклятый привратник не спешит открыть вам дверь, возвращайтесь без нее. Возраст, который седеет, угасил мой пыл, который когда-то мало боялся ссор и драк; я был бы менее терпелив в моей теплой юности, при консулах Планка!" Он любил Ниру больше, чем других своих любовниц; он хотел отомстить ей, показав, чего она лишилась из-за своей неверности.

"В то время, когда Гораций появился на свет, - пишет М. Валькенер в "Истории своего любимого поэта", - в Риме было три куртизанки, прославившиеся среди всех представителей своей профессии; это были Ориго, Ликорис и Арбускула". К сожалению, древние сколисты не сообщают нам больше ничего об этих трех *знаменитостях*, которых они просто называют, а Гораций, который, похоже, не имел с ними никаких особых дел, рассказывает лишь о том, что первая из них довела до нищеты богатого Марсея. Он также сравнивает эту жадную и распутную куртизанку с патрицианкой по имени Катия, которая была известна своим распутством и тем, что непристойно поднимала низ платья, когда шла по Виа Сакраика. Эта Катия, которая не стеснялась публично состязаться с куртизанками, однажды была застигнута за прелюбодеянием в храме Венеры Театинской, недалеко от театра Помпея, и толпа преследовала ее с камнями. Ее прелюбодеяние, по словам сколиста Порфириона, было необычным, так как она была уличена в потворстве и Валерию, народному трибуну, и сицилийскому хаму (*Valerio ac siculo colono*); другие сколисты, однако, называют лишь одного сообщника в этом вопиющем преступлении. Злоключения Катии также подтверждают мысли Горация о предпочтении, которое он отдавал любви куртизанок. Лишь однажды он отступил от своих принципов и позволил соблазнить себя старой развратнице, принадлежавшей к знатному роду и очаровавшей его фальшивой внешностью философа и ученого. Он с радостью ограничился бы чисто литературной связью с этой стоичкой, но не стал долго уступать любовным требованиям, удовлетворить которые не чувствовал себя достаточно смелым. Кроме того, он привязался к прекрасной куртизанке по имени Инахия, и ему было бы стыдно противопоставлять ее недостойному сопернику. Последняя раздражалась, видя, что ею сначала пренебрегают, вскоре бросают, потом ненавидят и отвергают; она, несомненно, пыталась отомстить Горацию, расстроив Инахию, и Гораций встал на сторону своей любовницы, которой без сожаления и жалости принес в жертву одиозного распутника, державшего его как добычу. Две ужасные эпиграммы, которые он написал против нее на сайте, распространились по Риму, и все стали указывать на нее пальцем: "Ты спрашиваешь меня, светская развалина, - говорил он ей в первом из этих двух произведений, - что смягчает мою бодрость, ты, чьи зубы черны, чей лоб испещрен морщинами, и чей отвратительный анус зияет между твоими истощенными ягодицами, как у коровы, страдающей диареей? Без сомнения, твои груди, твоя гнилая глотка, похожая на вымя кобылы, без сомнения, твой дряблый живот и твои тощие ляжки, посаженные на гидropические ноги, должны были возбудить мои желания!... Но пусть тебе будет достаточно быть пышной; пусть на твои похороны несут триумфальные изображения твоих предков; пусть ни одна женщина не щеголяет жемчугом крупнее твоего... Неужели вы думаете, что, поскольку на ваших шелковых подушках разложены книги по философии, именно это не дает моим нервам напрягаться, моим нервам, которые не очень-то заботятся о литературе, и заставляет томиться мою любовь (*fascinum*)? Продолжайте, вы можете спровоцировать меня, чтобы я удовлетворил вас (*ut superbe provocas ab inguine*); ваши уста должны прийти мне на помощь (*ore ad laborandum est tibi*)". Во второй оде Гораций рисует еще более отвратительную картину этой нескромной женщины: "Чего ты просишь, о женщина, достойная быть спаренной с черными слонами? Зачем ты шлешь мне подарки и письма, я,

который не бодр и у которого не притупилось обоняние?... Потому что, когда нужно вынюхать полип или грязного козла, прячущегося в твоих волосатых подмышках, мой нос острее, чем у гончей, которая чует гнездо кабана. Какой мерзкий пот и миазмы источают все ее иссохшие конечности, когда она стремится удовлетворить ненасытную ярость, предаваемую измученным любовником (*pene soluto*), когда ее лицо отвратительно от мокрого мела и румянца, приготовленного из экскрементов крокодила, когда в своем похотливом неистовстве она ломает свое ложе и занавески своего ложа!" Горацию понадобилось совсем немного, чтобы освободиться от ревности и преследований женщины-слона (*mulier nigris dignissima barris*).

К сожалению, нам известно только имя этой Инахии, которую Гораций трижды за ночь провозгласил богиней наслаждения (*Inachiam ter nocte potes!* - с завистью вскричал недостойный соперник Инахии); но почти в то же время у Горация завязались отношения с другой куртизанкой, не менее прекрасной, чем Инахия, которая, тем не менее, безвозмездно отдалась поэту. Гораций называл ее, вероятно, по этой причине, *доброй* Цинарой. Надолго ее удержать не удалось, и вскоре Цинара отправилась на поиски более пышного любовника. Она без труда нашла его, и безутешный Гораций смог забыть ее, лишь бросившись в угар Вакха. Эта бескорыстная куртизанка имела неуклюжесть стать матерью. Поэт Проперций, который был с ней во время родов, посоветовал ей дать обет Юноне, и тут же, под покровительством этой сострадательной богини, Кинара родила. Этот обет, данный Юноне, похоже, оправдывает мнение сколиастов, которые считают, что Цинара умерла при родах. Гораций тосковал по ней всю жизнь, через все любви, сменившие ту, о которой он постоянно вспоминал. Кинара, добрая Кинара, была связана в юношеских воспоминаниях Горация с его самыми сладкими иллюзиями; Кинара любила его сама, без интереса и без награды: "Я уже не тот, каким был при доброй Кинаре!" - с грустью говорил он, когда ему исполнилось пятьдесят. Гратидии, сменившей Чинару, не суждено было обречь ее на забвение: Гратидия была красива и ухаживала, как она; но годы, рассеяв толпу ее поклонников, посоветовали ей соединить ремесло куртизанки с более безопасным и менее изменчивым занятием. Гратидия была парфюмером и *сагом*, или *магом*: она продавала зелья, а также изготавливала их, и комментаторы Горация утверждают, что она испробовала силу своих афродизиаков на этом любовнике, который, как она думала, станет более привязанным к ней и более непобедимым. Но Гораций, напротив, поспешил сбросить с себя ярмо, которое не смогли сделать приятным и легким чары и снадобья мага. Поэту были отвратительны темные дела, в которые он оказался вовлечен благодаря торговле с *сагой*; он также опасался за свое здоровье, которое могло быть подорвано слишком энергичными стимуляторами, и жестоко разошелся с Гратидием. Все было напрасно, и Гораций, узнав о либидинозных отношениях, которые Гратидия тайно поддерживала со старым развратником по имени Вар, воспользовался этим предлогом, чтобы расстаться с ней по-царски. После этого Гратидия стала громко жаловаться, обвинять его в неблагодарности и угрожать страшной расправой. Гораций знал, на что она способна, и не стал дожидаться мести, которая могла бы поразить его не злыми чарами, а отравлением: в своих стихах он обличает общественное мнение в преступной практике искусства *сагез*, а Гратидия позорит под прозрачным именем Канидия. В другом месте мы уже цитировали зловещие откровения Горация о тайнах горы Эсквилино. Возможно, Гратидию пришлось объясняться и оправдываться перед магистратами; она добилась от Горация, неизвестно под каким влиянием и какой ценой, своего рода поэтического опровержения, в котором по-прежнему сквозила горькая и оскорбительная ирония: "Я со смирением признаю силу твоего искусства, - сказал он в этой новой оде, призванной парализовать ужасный эффект двух других; - во имя царства Прозерпины, неумолимой Дианы, я умоляю тебя на коленях: пощади меня, пощади меня! Слишком долго я терпела последствия твоей мести, о возлюбленная моряков и купцов ! Вот, моя молодость

ушла!... Твои волшебные духи сделали мои волосы белыми... Одолеваемый страданиями, я верю в то, что так долго отрицал..... Да, твои чары проникают в сердце... Хотите, чтобы моя лира, которую вы обвиняете в самозванстве, зазвучала для вас? Что ж, вы будете скромны, сами порядочность! Нет, в твоём рождении нет ничего презренного... нет, ты не будешь, как мудрый маг, по ночам развеивать прах несчастных через девять дней после смерти... Твоя душа щедра, а руки чисты!" На это вынужденное отречение Канидий ответил упреками: "Что! Ты, новый понтифик, мог бы безнаказанно метать молнии на колдовство горы Эсквилино и наполнять Рим моим именем! Ты мог бы, не навлекая на себя мой гнев, разглашать тайные обряды Котитто и насмеяться над таинствами свободной Любви!" Этот отрывок ясно доказывает, что Гратидия, как и большинство *саг*, предавалась невероятному разврату и была не чужда ночных оргий, поощрявших странную распущенность полов, как бы возобновляя нечистый культ Котитто, Венеры Фракийской, древней гермафродитной богини Сирии. "Смерть придет слишком медленно, чтобы тебе понравиться! кричала inferнальная Каниди; ты будешь влачить жалкую и одиозную жизнь, чтобы служить кормом для все новых и новых страданий... Иногда, в муках мрачного отчаяния, вам захочется броситься с башни или вонзить кинжал в сердце; иногда, но тщетно, вы будете наматывать на шею роковой шнурок. Торжествуя, я вскочу с земли, и ты почувствуешь, как я прыгаю на твои плечи".

Горацию нужно было отдышаться после такой любви, рожденной среди эротических зелий и под влиянием магических заклинаний: однако он не простил Каниди, ибо с тех пор не раз метко стрелял в нее и мог радоваться, что превратил данное ей прозвище в псевдоним отравительницы: "Это ужасное блюдо приготовила Каниди?" - говорил он много позже, критикуя чеснок. Гораций был чрезмерно чувствителен к дурным запахам, которые действовали на его нервную систему; так, он невзлюбил очень красивую куртизанку по имени Хагна, от которой воняло из носа и которую не менее боготворил ее любовник Бальбин. Мы обойдем молчанием многочисленные развлечения, которые Гораций искал во владениях мужской Венеры, и оставим на совести римского развратника постоянные измены, которые он совершал со своей Батилией, увенчивая себя розами и попивая *sescibus* или *falerno*. Гораций был не более нравственным, чем его век, и если он непомерно любил женщин, то не менее любил мальчиков, которых часто даже предпочитал: "Красота, где бы он ее ни встречал, - говорит ученый М. Валькенер, - производила на него огромное впечатление. Она поглощала его мысли, нарушала его сон, воспламеняла его желания; он пользовался любой возможностью, чтобы удовлетворить их, не будучи остановлен угрызениями совести и соображениями, не имевшими силы в нравах его времени". В одном из своих эподов, адресованном Петтию, он признается, что любовь постоянно преследует его и воспламеняет его к подросткам и молодым девушкам: "Теперь я люблю Лизика, - страстно говорит он, - Лизика более красивого и более сладострастного, чем женщина. Ни упреки друзей, ни презрение этого подростка не смогли оторвать меня от него; ничего, кроме другой любви к белой девушке или к красивому подростку с длинными волосами". Когда поэт признался в своей постыдной слабости, зима трижды раздевала леса, говорит он в той же оде, поскольку разум его был недостижим для Инахии. Именно в это время, на тридцатом году жизни, он безумно влюбился в Лисию: она была иностранной куртизанкой, занимавшейся проституцией в интересах своего мнимого мужа, и у нее хватило ума поначалу не поддаваться на настойчивые уговоры поэта.

Акрон и Порфирий, собравшие драгоценные сведения обо всех персонажах, названных в поэмах Горация, не сообщают нам настоящего имени этой Ликеи, которую поэт любил больше всех своих любовниц; Они лишь сообщают нам, что она была тирренского происхождения, то есть, что она родилась в Этрурии, где все население, по свидетельству историка Теопомпа, предавалось неистовому разврату. О том, что нравы этой страны не

сильно изменились в его время, говорит Плавт, когда вкладывает в уста персонажа своей "Цистеллари" такие слова: "Тебя не заставят, подобно тосканским женщинам, собирать приданое, непристойно торгуя своими привлекательными сторонами". Таким образом, Лайса следовала принципам своей родины, когда продавала себя тому, кто больше заплатит, и когда ее постыдно приобретенное богатство позволило ей окружить себя атрибутами честной женщины, чтобы симулировать брак и тем самым повысить цену своих побрякушек. Гораций был одурачен, как и все остальные; он думал, что имеет дело с добродетелью, и, несмотря на свое отвращение к прелюбодеянию, ослабил свою строгость до того, что приходил по ночам вешать венки на дверь коварной куртизанки, которая поначалу закрывала глаза и уши. Постепенно он стал смелее и пошел стучаться в эту неумолимую дверь, которая открывалась не для него, а для других, и доступ к которой был возможен только благодаря дарам. Именно одой он был рекомендован притворной суровости прекрасной этрурийки, которая не была во власти мужа, но имела рядом с собой жениха Ленона. Эта ода, написанная в жанре, который греки называли *paraclausithyron*, представляла собой песню, исполняемую под музыку перед закрытой дверью жестокой женщины: "Когда бы ты жила по законам варварского мужа, в далеких источниках Танаиса, - говорит влюбленный поэт, - Лик, ты бы стонала, видя меня, в лице аквилон, лежащего перед твоей дверью! Слышишь, как эту дверь бьют ветры, как стонут деревья в твоих садах, как стонут крыши твоего дома! Посмотрите, как снег, покрывающий землю, застывает под чистым и ледяным небом! Смири свою враждебную гордыню перед Венерой!... Ты не всегда будешь видеть возлюбленную на пороге своего дома, подверженную несчастью времен года".

Гораций, конечно, не знал, что Ликия была куртизанкой, когда показывал ей, чтобы склонить ее разум, ее мужа в объятиях фессалийской наложницы Пиерии; когда говорил ей, что ее отец, уроженец Тиррении, не смог породить Пенелопу, восставшую на любовь; когда он прибегал к молитвам и слезам, чтобы компенсировать бесполезность своих даров. Он был щедр и счастлив, как только может быть, и некоторое время оставался официальным любовником Ликея, который уволил его, чтобы дать место более молодому и богатому человеку. Его нелегко было утешить тем, что его бросили, и он тщетно пытался возобновить роман, который неохотно прервал. Его обида на Лике вышла на первый план, когда красота этой куртизанки пострадала от неумеренного использования ее распутником: "Боги, Лике, услышали мои желания! воскликнул он с радостью, которая не доказывает, что его любовь тогда угасла. Да, Лик, мои желания исполнились. Теперь ты стар, но все еще хочешь выглядеть молодым, и дрожащим голосом, напившись, ты умоляешь Купидона, который сторонится тебя: он упирается в свежие щеки прекрасной Киас, которая умеет так хорошо петь; он презирает засушливые дубы в своем полете; он держится в стороне от тебя, потому что твои желтые зубы, твои морщины, твои белые волосы пугают его. Ни пурпур Коса, ни драгоценные камни не вернут вам тех лет, которые быстрое время как бы похоронило в истории прошлого. Где, увы, ваша красота, ваша свежесть, ваши достойные грации? То сияющее лицо, которое почти сравнялось с лицом Чинары и которое искусство воспроизводило сотни раз, - что от него осталось? Что осталось от женщины, в которой все дышало любовью и которая отняла меня у самого себя? Но судьба дала Синаре короткие годы, а тебе позволила жить дольше столетнего ворона, чтобы пылкая юность могла не без смеха видеть факел, рассыпающийся в прах". В этой пьесе есть злость и сожаление о брошенном любовнике, и нельзя слишком сильно обвинять в гиперболизации портрет, столь отличный от того, который Гораций с энтузиазмом нарисовал несколькими годами ранее. Римские женщины, особенно куртизанки, недолго оставались молодыми: жаркий климат, многочисленные бани, косметика и афродизиаки, пиры и всевозможные излишества вскоре увядали первые цветы весны, которая приближалась к зиме и уносила с собой любовные

утехи. Женщины начинали стареть в тридцать лет, и если огонь эротической страсти еще тлел под белилами и косметикой, его приходилось утолять евнухами, *спадонами*, гладиаторами, рабами или тайными и постыдными компенсациями *фасцинума*.

Даже когда Гораций был одержим чарами Лайса, он не устоял перед соблазнами другой прелестницы и подал пример непостоянства своей новой хозяйке, переступив через ложе Пирры: он не любил ее, не ревновал, ибо однажды застал ее в пещере, где она лежала среди роз, в объятиях красивого юноши с благоухающими волосами. Он не мешал поцелуям этих двух влюбленных, которые не подозревали о его присутствии; он просто любовался ими, опьяненными любовью и пылающими от страсти. Он насладился этим сладострастным зрелищем и тихо удалился, чтобы счастливая пара его не увидела и не услышала. Но на следующий день он отправил Пирру прощальную оду, в которой рассказал о том, чему был свидетелем и что излечило его от неразделенной любви: "Горе тем, для кого ты сияешь, как море, которого они не видели! Что касается меня, то вотивная картина, которую я прикреплю к стенам храма Любви, будет свидетельствовать о том, что я сложил свою мокрую одежду после кораблекрушения!" Люди, потерпевшие кораблекрушение, обычно вешали в храме Нептуна вотивную картину как напоминание об опасности, которой они избежали: Гораций ссылался на этот обычай, когда благодарил бога влюбленных за то, что тот спас его в разгар бури ревности и неверности. Примечательно, что поэт, который никогда не гордился постоянством ради него самого, не терпел ни малейшего вероломства со стороны любовницы, а между тем все его любовницы были куртизанками! Эту нетерпимость, контрастирующую с его эпикурейскими доктринами, мы должны отнести скорее к чрезмерному тщеславию, чем к деликатности нравов. Пожалуй, единственный случай, когда он не ревновал и даже соглашался делиться, - это когда его друг Аристий Фуск положил глаз на вольноотпущенницу по имени Лалаге, с которой он отдыхал от удовольствий Рима и куртизанок на своей вилле в Сабинах. Эта Лалаге едва вышла из детского возраста и, не зная, как противостоять увлечениям Фуска, использовала свой возраст в качестве предлога и тем самым не дала себя уступить ему сразу; но Гораций, пожертвовав любовью ради дружбы, сам занялся интересами своего друга, предложив ему немного потерпеть, пока он не победит отказы Лалаге: "Не собирай еще зеленых гроздей, - сказал он ей, - подожди: Осень созреет и окрасит черный виноград в пунцовый цвет; скоро Лалаге сама разыщет вас, ибо время бежит наперекор нам и приносит ей годы, которые оно крадет у вас в своем бегстве; скоро, с менее робким взором, она вызовет любовь, более заветную, чем Хлорис и кокетливый Фолоэ; она покажет свои белые плечи и засияет, как луна на лоне морей." А пока он воспевал детские прелести Лалаге в своих сладострастных стихах и бродил по Сабинскому лесу, разнося имя Лалаге на все эхо. Несомненно, он был обманут этой вольноотпущенницей, как почти в то же время другой, по имени Барин, менее детской и столь же очаровательной, как Лалаге. По словам сколистов, Барину звали Юлия Варина, потому что она была одной из вольноотпущенниц семьи Юлиев. Гораций все еще был помешан на том, чтобы сделать эту куртизанку верной любовницей, и почти сразу понял, что клятвы, которыми она его ублажала, были лишь средством вырвать у него еще больше подарков: "Барин, - писал он ей, - я бы поверил тебе, если бы за одно твое лжесвидетельство последовало наказание; если бы хоть один твой зуб стал менее белым; если бы хоть один твой ноготь был изуродован; но, вероломная женщина, не успела ты обманными клятвами вернуть свою веру, как предстаешь еще более прекрасной и с еще большей гордостью показываешь себя этому юноше, который тебя обожает! Да, Барин, ты можешь взять в свидетели неутешительные слова морских волн, безмолвных звезд ночи, богов, недоступных холоду смерти. Венера будет смеяться над твоими святотатствами; будут смеяться снисходительные нимфы и жестокий Купидон, постоянно точащий свои огненные стрелы. Правда, все эти подростки вырастают только для того, чтобы дать вам новых рабов. Те, кого

ты держишь в рабстве, винят тебя в предательстве и не могут заставить себя покинуть дом безбожной госпожи!"

Гораций, которому в это время было тридцать восемь лет (27 г. до н. э.), отдавался всему пылу своего темперамента; он искал верную госпожу и не мог найти ее, так как не мог наставлять ее своим примером; он часто удалялся в один из своих загородных домов, в Пренесте или Устике, и брал с собой, чтобы скоротать время, какую-нибудь красивую вольноотпущенницу, которая вскоре уставала от такого рабства и покидала его, чтобы вернуться в Рим. Когда он собирался отправиться в Устику, свое поместье в Сабинском регионе, он встретил на Виа Сакра молодую женщину в тоге и белокуром парике: она была так удивительно красива, что все взгляды следили за ней с восхищением, но ее красота еще больше усиливалась благодаря спутнице, которая была старше ее, но не менее блистательна в своей привлекательности. Сходство этих двух куртизанок, отличавшихся только возрастом, было достаточным доказательством того, что одна из них была дочерью другой. Гораций был поражен и сразу же влюбился в обеих; но когда он узнал, что подругой матери был парфюмер Гратидий, за которым закрепилась столь печальная репутация, он решил интересоваться только дочерью по имени Тындарис, певицей по профессии, которую содержал некий Кир, ревнивый и злой, и бил ее. Он послал Тындарис такое признание в любви: "Боги охраняют меня, боги любят мои благовония и мои стихи. Приди ко мне, и Изобилие выльет все сокровища полей из своего плодородного рога". Там, в одинокой долине, укрывшись от палящего зноя, ты будешь петь на лире Анакреона о верной Пенелопе, коварной Цирцее и их беспокойной любви к одному и тому же герою. Там, под сенью, ты без опаски выпьешь чашу Лесбоса, и битвы Вакха не закончатся, как битвы Марса; тебе больше не придется бояться, что разгневанный и ревнивый любовник, злоупотребляя твоей слабостью, осмелится наложить на тебя жестокие руки, сорвать цветы с твоих волос и разорвать твою невинную вуаль". Получив эту оду, певица пошла посоветоваться с матерью, которая рассказала ей о неблагоприятном поведении поэта по отношению к Гратидии и посоветовала не подвергать себя такому обращению. Тындарис ответила Горацию, что не может, не обидев мать, принять почтение обидчика Гратидии. Тогда Гораций с помощью лести попытался склонить на свою сторону мать Тындарис, которой он написал: "О ты, от такой прекрасной матери, еще более прекрасная дочь, я оставляю тебе свои виновные ноги; прикажи сжечь их в огне или похоронить в волнах... Успокойте свою разгневанную душу. Я тоже в счастливые дни своей юности знал обиду и в бреду доводил себя до кровавых разборок. Сегодня я хочу заключить мир вместо войны: я отрекаюсь от этих оскорбительных стихов, но верни мне свое сердце и стань моей любовницей!" Тындарис позволила растрогать себя и примирила Горация со старой Гратидией, заплатив за примирение сама.

Именно после Тындарис Лидия вдохнула в непостоянного поэта одну из самых ярких страстей, которые он когда-либо испытывал. Лидия была влюблена в очень молодого человека, которого она отвлекла от гимнастических упражнений и тяжелого труда патрицианского воспитания: Гораций упрекал ее в том, что она таким образом потеряла будущее этого юноши, которого ему удалось заменить, показав себя более либеральным, чем он был на самом деле. Но не успел он сменить этого безбородого Сибариса, как Лидия, столь же капризная, как и он сам, выдала ему в соперники некоего Телесфея, который завладел ею и пленил ее своими чувствами. Гораций не был человеком, способным поддержать такое соперничество, но он устоял на ногах и пытался уговорами и нежностью бороться с сильным соперником, который к вечеру разрушил все его планы на утро. Его самая пылкая поэзия была бессильна против действий этого обильного любовника: "Ах, Лидия!" - восклицал он в очаровательной оде, которая не тронула даже эту нечеловеческую красоту: "Когда ты восхваляешь передо мной розовый цвет лица и руки из слоновой кости

Телефа, горе тебе! Мое сердце воспаляется и раздувается от гнева. Тогда мысли мои путаются, я попеременно то краснею, то бледнею; по щеке скатывается тайная слеза и выдает тайный огонь, которым меня медленно сжигают. О боль! Когда я увижу твои белые плечи, позорно избитые им в ярости пьянства; когда я увижу твои губы, которые кусает его жестокий зуб! Нет, если хочешь послушать меня, не доверяй варвару, чьи поцелуи терзают эти божественные уста, где Венера изливает свой сладчайший нектар. Счастливы, трижды счастливы те, кто соединен нерасторжимыми узами, кого не разлучают печальные ссоры и кого только смерть приходит разлучить слишком рано!" Лидия презрела молитвы и советы Горация: она не отстранилась от любовника, который кусал и бил ее, но закрыла дверь перед назойливым советчиком.

Гораций ни дня не мог оставаться без любовницы. И хотя он любил неверную женщину, которая гнала его все сильнее, он хотел заглушить эту любовь, которая еще ярче разгоралась в его сердце от количества галантных развлечений, которым он предавался. Он устроил парад своих новых любовниц: "Когда более достойная любовь звала меня, - говорит он в одной из од, - я был удержан в заветных узах Миртале, освобожденной Миртале, более сметенной, чем волны Адриатики, когда они яростно рассекают заливы Калабрии." Но его не утешила потеря Лидии. Он вернулся в Рим и с радостью узнал, что у жестокого Телесфея появился преемник, а за Лидией присматривает Кале, сын Орнита из Фурий; Кале, молодому и красивому, не стоило опасаться соперника. Гораций отправился к Лидии, и она встретила его не без эмоций: они упали в объятия друг друга. Поэт воспел их примирение в этом восхитительном диалоге: "Пока я был в состоянии доставить тебе удовольствие и ни один любимый любовник не обвивал твою слоновую шею, я жил счастливее великого царя. - Пока ты не сгорал по другому и Лидия не уступала Хлое место, Лидия жила горделивее и славнее матери Ромула - Хлоя теперь царствует надо мной; я люблю ее сладкий голос, обвенчанный со звуками ее лиры; я не побоялся бы смерти за нее, если бы судьбам было угодно пощадить ее жизнь. - Я разделяю огонь Кале, сына Орнита Турийского; за него я бы приняла тысячу смертей, если бы судьба захотела пощадить его жизнь - Что, если он вернется, первая любовь? если он вернет наши разделенные сердца под ярмо? Что, если я убегу от белокурой Хлои, а моя дверь все еще будет открыта для Лидии? - Хотя он прекрасен, как день, а ты легче листа, раздражительнее волн, именно с тобой я хотел бы жить, с тобой я хотел бы умереть!"

Любовь куртизанок была изменчива: Лидия вскоре вернулась в Кале, а Гораций - к Хлое, все время сожалея о Лидии, все время скорбя о том, что не смог ее исправить. Белокурая Хлоя была еще ребенком, когда продала свой цветок поэту, который вскоре пренебрег ею в пользу двух других, более зрелых и менее невежественных любовниц - Филлиды, освобожденной Ксанфием, и Гликерии, бывшей возлюбленной Тибулла. Он обнаружил скрытые прелести Филлиды и почувствовал ревность к обладанию ими благодаря одному необычному обстоятельству. Однажды он отправился к своему другу Ксанфиасу, молодому греку из Фокеи, эпикурейцу и сладострастнику, как и он сам; он не хотел, чтобы кто-нибудь сказал ему о присутствии приятного гостя, к которому он пришел и который, как ему сказали, был заперт в библиотеке его дома, среди бюстов и портретов его предков; он задумал удивить его и действительно удивил, так как не нашел его с головой, склоненной над книгой: Ксанфий распустил всех слуг, чтобы уединиться с рабыней, которую он сделал своей наложницей. Гораций, стоя на пороге, не мешал тет-а-тет, за эпизодами которого он с любопытством наблюдал и в какой-то мере разделял удовольствия. Ксанфий понял, что у него есть молчаливый свидетель его счастья, когда узнал себя и свое положение; он покраснел от стыда и грубо прогнал прекрасную Филлиду, которая упрекала себя за брошенность и удалилась, устыдившись гнева своего господина. Среди римлян был очень распространен закоренелый предрассудок, по которому интимные отношения между свободным человеком

и рабыней считались бесчестными. Ксанфия не утешало то, что он раскрыл свою тайну вопреки себе, и он почти не слушал доводов Горация, пытавшегося оправдать в глазах друга слабость в любви, которую тот с радостью принял бы за свою собственную. Гораций превозносил сообщницу Ксанфия в самых недвусмысленных выражениях, и у Ксанфия осталось впечатление, что ревность реабилитировала Филлиду. Следуя совету Горация, Ксанфий начал с эмансипации рабыни, чтобы больше не стыдиться приблизить ее к себе. Гораций прислал ему оду, в которой самым нежным образом льстил Филлиде, сравнивая ее с белой Брейзе, которую любил Ахилл, с Текмессой, которую любил Аякс, ее хозяин, с троянской девой, в которую влюбился Агамемнон после падения Трои: "Не стыдись любить свою рабыню, о Ксанфий! сказал он; знаешь ли ты, нет ли у белокурой Филлиды знатных родителей, которые были бы гордостью их зятя? Без сомнения, она оплакивает царское рождение и строгость кающихся богов. Нет, та, которую вы полюбили, не из порочной крови; такая верная, такая самоотверженная, она не могла родиться от матери, которой бы она стыдилась. Если я хвалю ее руки, ее лицо, ее хорошо вывернутую ногу, мое сердце здесь ни при чем. Не стоит подозревать друга, чье время поспешило закрыть восьмую люстру". Гораций в сорок лет был не менее любопытен, чем в двадцать, и увиденная им Филлис мучила его тайным нетерпением вновь увидеть в своей тарелке столь очаровательную девушку. То, что в своей оде Ксанфию он старается объявить себя свободным от вожделения, казалось бы, доказывает обратное, и вполне вероятно, что Филлис была благодарна ему за то, что он способствовал ее освобождению. Эта свобода освободила ее от Ксанфия, которого она не любила, и, став хозяйкой самой себя, она влюбилась в Телесфея, которого Гораций уже имел в качестве соперника. Этот Телесфей недолго оставался привязанным к ней и уступил место Горацию, который написал белокурой Филлиде утешительную оду, приглашая ее приехать и отпраздновать с ним на одной из его вилл апрельские иды, месяц, посвященный Венере Морской: "Телеф, которого ты желаешь, рожден не для тебя; молодой, сладострастный и богатый, он достался другой женщине, которая держит его в сладком рабстве, по примеру Фаэтона, пораженного молнией, и Беллерофона, которого Пегас, не терпящий ограничений смертного, сбросил на землю: этот пример должен подавить слишком амбициозные надежды. Не смотрите выше себя и, боясь вознестись слишком высоко, ищите только равного себе. Придите, о мои последние возлюбленные, ибо после вас я не буду гореть ничем другим". Выучите мелодии, которые ваш любимый голос будет повторять мне: песни смягчают черные печали". Филлис стала куртизанкой, и ее талант аулетриды выделил ее среди певиц, которых восхваляли на пирах; хотя Гораций назвал ее своей последней любовью (*meorum finis amorum*), он дал ей не одну любимую соперницу.

Больше всего он любил Глицеру; от Тибулла, который любил ее до него, он знал, чего она стоит как любовница; он не успокоился, пока не заменил Тибулла ею, вернее, молодым подростком, сменившим Тибулла. "Не печалься, Альбий, при воспоминании о суровости Глицеры? писал он своему другу Тибуллу. Должен ли ты вздыхать вечные элегии, потому что более молодой человек затмил тебя в глазах неверных?" Гораций был достаточно богат и добр, чтобы Гликера закрыла глаза на седые волосы, скрытые от нее венцом из роз; она приняла подношения и поклонение Горация; она назначила ему свидание в восхитительном доме, где она основала центр своей любовной империи; Гораций послал ей эту записку, как раз когда она совершала свой туалет среди своих *ancillæ* и *ornatrices*, чтобы принять своего нового любовника: "О Венера, царица Гнид и Пафоса, презри заветную обитель Кипра; приди в блистательное жилище Глицеры, которое взывает к тебе потоками благовоний! Возьми с собой кипящую Любовь, Граций с распущенными поясами, нимф, и Меркурия, и Юность, которая без тебя не имеет больше прелести!" Эта Гликера обладала всеми качествами искусной куртизанки; она оказала неотразимое влияние на чувства Горация, и он отдался пылкой страсти с таким энтузиазмом, что здоровье его пошатнулось, а

раздражительность усилилась от этих излишеств. Тогда он впадал в спазматические припадки, которые истощали его еще больше, чем амурные увлечения, и часто, покидая объятия любовницы, предавался мрачным грезам своего рода черной болезни, которую породила ревность и грозила усугубить с каждым днем. Но эта ревность так часто оказывалась роковой для него в любовных делах, что он старался скрыть ее и впадал в оцепенение посреди пиров: "Я хочу сойти с ума", - говорил он своей бывшей сопернице Телефе, ставшей его подругой и спутницей по трапезе. Где флейты Бересинта? Что делает этот гобой, висящий рядом с немой лирой? Я ненавижу ленивые руки: сеять розы! Пусть шум наших глупостей разбудит глупого Лика и юную соседку, так плохо относящуюся к этому старому мужу. Твои черные волосы, о Телеф, твои нежные глаза, сияющие, как вечерняя звезда, привлекают влюбленного Роде, а я тоскую, я сгораю по моему Гликеру..." Упомянув о зеленой юности Тельфе, он с грустью возвращается к своим сорока трем годам, седеющим волосам, лысине, покрасневшим глазам, морщинам и пожелтевшему цвету лица. Гликерия, как искусная куртизанка, избегала вызывать эти печальные мысли, и иногда Гораций, сидя или, скорее, лежа с ней за столом, мог поверить, что с возрастом он потерял не больше, чем вино. Тогда в нем разгорался поэтический пыл, и он снова становился молодым, воспевая Глицеру: "Сын Юпитера и Семелы, сладострастные желания и их жестокая мать приказывают мне вернуть мое сердце любви, которую я считал для себя конченной. Я сгораю от любви к Глицере! Я люблю ее ослепительный цвет лица, чистый, как мрамор Пароса; я люблю ее очаровательные капризы и опасную живость ее глаз. Венера преследует меня и всецело привязывается ко мне; вместо того чтобы петь о диких племенах Скифии и парфянском всаднике, столь страшном в своем бегстве, моя лира поет только песни любви. Рабы, положите на алтарь из зеленой травы вербену, ладан и чашу с вином: кровь жертвы обезоружит богиню". Комментаторы уделили много внимания этому жертвоприношению, но так и не смогли прийти к единому мнению о богине, которой Гораций хотел его принести. По мнению одних, это была Венера, по мнению других - обожествленная Гликера. Другой момент, столь же трудно проясняемый, вызывает много споров: какова была жертва, которую поэт намеревался обезвредить (*mactata hostia*)? Ученый Дасье утверждает, что греки и римляне никогда не окрашивали кровью жертвы, приносимые Венере. В ответ на этот ученый аргумент последний историк Горация процитировал отрывок из Тацита, согласно которому нельзя оспаривать, что алтари Венеры были окровавлены, как и алтари других богов и богинь: они лишь следили за тем, чтобы приносимые в жертву животные - козы, телки и голуби - не были самцами. Жертвоприношение, о котором говорится в оде Горация к Глицере, вполне могло иметь более эротический характер: влюбленный, который боялся злых чар и хотел прежде всего защитить себя от уз импотенции, сжигал ладан и вербену на алтаре своих богов-ларов, вливал в пламя пинту вина, а затем превращал свою любовницу в жертву, которую он должен был предать Венере.

Во время своего романа с Гликерией Гораций безжалостно рассорился с несколькими любовницами, которые были у него и которые намеревались остаться его друзьями. Можно предположить, что именно по наущению Гликерии он не проявил милосердия ни к Хлорис, ни к Фолоэ, ни к Хлое, ни даже к своей возлюбленной Лидии. Он оскорбил в своих стихах тех, кого раньше воспевал с наибольшей нежностью. Невозможно не узнать ненависть Гликера к Лидии в этой оскорбительной оде: "Молодые развратники приходят реже, чтобы с удвоенной силой бить в ваши окна и тревожить ваш сон; ваша дверь по-прежнему прикована к порогу, который так легко покатылся на петлях. Уже все реже слышится, повторяющий этот припев: "Пока я смотрю в долгие ночи, Лидия, ты спишь! Скоро, старая и увядающая, на углу одинокой улицы, ты тоже будешь оплакивать презрение самых мерзких любовников. Когда в твоём изъеденном язвами сердце зажгутся желания, когда в нем вспыхнет жар, разжигающий кавалеров, ты будешь стонать, глядя на этого жизнерадостного юношу, который венчает

себя миртом и зеленым плющом, а увядшие кроны посвящает ледяной Гебре". Гораций, который имел смелость оскорбить Лидию и представить ее в виде *мериканки* на перекрестке, провоцирующей прохожих на углах улиц, не испытывал ни малейших угрызений совести, когда принес старую Хлорис и ее дочь Фолоэ, которая в то время была одной из *известных модниц*, в жертву какой-то обиде Гликера: "Жена бедного Ибикуса, положи наконец конец твоим распутствам и гнусным трудам. Когда ты так близка к смерти, перестань играть среди молодых девушек и бросать тень на эти белые звезды. То, что хорошо подходит Фолоэ, больше не подходит тебе, о Хлорис! Пусть твоя дочь, подобно Вакху, возбужденному звуками кимвалов, осаждает дома молодых римлян; пусть ее любовь к Нотусу заставляет ее резвиться, как развратную козу. Что касается тебя, старуха, то тебе подходят шерстинки Лукерии, а не кифары, и не розы с их пурпурными цветами: из бочки вина не пьют до дна". Гораций, вместо того чтобы вырвать несколько страниц из книги своих од, добавил несколько очень горьких, очень жестоких, которые не стерли любовных песен его юности. Ему было сорок семь лет, он был безумно влюблен в Гликерию, и, издавая сборник своих од, он перемешал их так, что хронологическую последовательность его любовниц и его любовных походов уже нельзя было найти в стихах, которые он сочинил, чтобы увековечить их; но Гликера все еще не была довольна местом, которое поэт отвел для нее в этом сборнике: Она раздражалась, отстраняла своего слишком послушного возлюбленного, и что бы он ни делал, чтобы вернуться к милости, она не прощала ему его мнимых обид.

Гораций тщетно пытался внушить ей ревность и доказать, что может обойтись без нее: он обратился к прежней любовнице, которую ничуть не оскорбил, и не пожалел ничего, чтобы снова стать ее любовником. Этой любовницей была Хлоя, прекрасная фракийская рабыня, которой он впервые овладел и которая не смогла удержать его под престижем наивной детской нежности. Белокурая Хлоя приобрела опыт, став модной куртизанкой; в то время она была во всем блеске своих граций, талантов и репутации: вокруг нее был блестящий двор жаждущих обожателей; она появлялась с ними повсюду, на набережной, в театре, в морских купальнях; ее роскошь превосходила роскошь соперниц, и все же ее содержал только молодой купец по имени Гигес. Этого Гигеса она, несомненно, любила, потому что он был непревзойденно красив, но особенно привязалась к нему из-за его огромного состояния. Они жили вместе как муж и жена, когда Гигес встретил другую куртизанку по имени Астерия: он сразу же влюбился в нее и не думал ни о чем другом, кроме как расстаться с Хлоей, которая оберегала его как сокровище. Под предлогом поездки в Вифинию его позвали дела. Он уехал, пообещав Астерии, что вернется только ради нее. Как только он уехал, его любовь к Астерии разгорелась в подарках, которые стали предметом ревности Хлои. Астерия беспрестанно получала письма от путешественника, а Хлоя - ни одного; она даже не знала, где он находится, и была полна решимости вернуться в Рим, чтобы никогда больше не покидать свою Астерию. Хлоя была вне себя от гнева и отчаяния; она услышала, что Гигес отправился из Вифинии в Эпир: она послала к нему эмиссара, нагруженного умоляющими и страстными письмами.

Это был неподходящий момент, чтобы заставить Хлою забыть об отсутствии Гигеса; Гораций был отвергнут этой покинутой красавицей, которая не жалела для него своего презрения. Гораций отомстил не только эпиграммой на превосходную Хлою, но и встал на защиту Астерии, чьим другом и защитником он себя сделал. Он обратился к ней с одой, в которой призывал ее хранить верность своему верному Гигесу и не бояться козней брошенного соперника: "Астерия, позаботься о том, чтобы твой сосед Энипей не радовал тебя больше,

чем следовало бы? Правда, никто на Марсовом поле не управляется с конем искуснее и не плавает по Тибру быстрее. Ночью закрывайте дверь от звуков пронзительной флейты, не выходите на улицу, и когда он сто раз назовет вас жестокой, оставайтесь непреклонной!" Он рассказал ей, что посланник Хлои тщетно пытался тронуть сердце Гигеса, сердце, которое теперь принадлежало одной только Астерию; он мог наслаждаться отчаянием Хлои, но неудачные попытки его любовных утех с этой куртизанкой оставили в его собственном сердце горькое уныние; он думал, что поступает справедливо, обращаясь в последний раз к Венере, которая так часто была благосклонна к нему: "Когда-то я наслаждался своими победами над молодыми девушками и не без славы служил под флагами Любви. Сегодня я посвящаю свое оружие и свою лиру, которая уже не годится для этих битв, Венере Морской; я вешаю их слева от богини на стены ее храма. Положите туда же факелы, рычаги и топоры, которые угрожали закрытым дверям. О богиня, царящая на счастливом острове Кипр и в Мемфисе, где никогда не знали снегов Ситонии, о властительница любви, коснись лишь своей божественной плетью надменной Хлои!"

Но Гораций слишком рано простился с Венерой: он с радостью осознал, что еще может рассчитывать на благосклонность богини. Он увидел, а может быть, и снова увидел Лиду, искусную певицу, игравшую на лире на пирах; он не замедлил завязать с ней любовные отношения и, конечно, позаимствовал из ее кошелька самые лучшие средства обольщения. Для начала он обратился к Меркурию, богу поэтов, воров и торговцев: "Вдохнови меня, - сказал он этому богу куртизанок, - вдохнови меня на песни, которые пленят слух дикой Лиды! Как молодой кавалер скачет по равнине и бежит от приближения коня, так и Лида бежит от меня, и любовь все еще пугает ее". Но вскоре она приручилась и часто приходила петь на пиры, где Гораций черпал свою скептическую и легкомысленную философию из глубин старых амфор. Оды, обращенные им к Лиде, - это прежде всего приглашение выпить: "Что может быть лучше в день, посвященный Нептуну? Приди, Лид, достань куб, спрятанный в погребке, и доведи свою трезвость до предела... Мы будем петь по очереди: я - Нептуну и зеленым волосам nereид; ты - на своей лире из слоновой кости - Латоне и быстрым стрелам Дианы. Наши последние песни будут посвящены богине, которая царствует в Гниде и на блистательных Кикладах, и которая летит в Пафос на колеснице, запряженной лебедями. Мы также споем гимны, посвященные Ночи. В оде Квинту Гирпину Гораций, который имеет белые волосы и венчает их розами, все еще полагается на певицу Лиду, чтобы скрасить трапезу, на которой Вакх рассеивает грызущие заботы: "Раб, быстро освежи огненную палочку в этом источнике, который течет далеко от нас? А ты приведи из дома Лиды кавалера, которого она подцепила по дороге (*quis devium scortum eliciet domo Lyden*)? Скажи ей, чтобы она поторопилась. Пусть она придет со своей лирой из слоновой кости, с волосами, небрежно завязанными на манер женщин Спарты!"

На этом любовная карьера Горация была закрыта Лидой: он больше не искал общества куртизанок; он больше не любил женщин; он знал, что у него больше нет того, что нужно, чтобы доставить им удовольствие, поэтому он больше не будет подвергать себя их презрению и отвержению; но он все еще взывал к Венере: "После долгого перемирия, о Венера, ты снова объявляешь мне войну! Я уже не тот, что был в царствование любезной Кинары, я насчитаю десять зонов; не пытайся больше, жестокая мать нежной любви, склонить под твоё иго, некогда столь нежное, сердце, ставшее мятежным! Иди туда, куда зовут тебя страстные желания юности; неси на крыльях своих ослепительных лебедей наслаждения и сладострастие в дом Максима, если ты ищешь сердце, созданное для любви... Что касается меня, то прощайте мальчики, прощайте женщины, прощайте

легковерные надежды на нежное возвращение! Прощайте винные бои и новые цветы, которыми я любил украшать свою голову! Но, увы, Лигурин, к чему эти тайные слезы, стекающие по моим щекам? К чему, в разгар моей речи, мой голос теряется в тишине смущения? Ночью, в моих снах, я обнимаю именно тебя; тебя я преследую на лужайке Марсова поля, жестокий, и в водах Тибра!" Гораций был влюблен в красавца Лигурина, и эта постыдная страсть заполнила последние годы его жизни. Любимец куртизанок, поэт граций и любви, обесчестив свои белые волосы, предается самым отвратительным излишествах римской проституции.

---

## ГЛАВА XXV.

Краткое содержание.- Катулл.- Пристойность и непристойность его поэзии.- *Больной* Аврелий и кинед Фурий.- Эпиграмма против его хулителей.- Его любовницы и друзья.- Клодия или Лесби, дочь сенатора Метелла Целера, любовница Катулла.- Воробей Лесби. Почему Катулл дал Клодии прозвище Лесби -Каким был воробей Лесби -Смерть этого воробья, воспетая Катуллом -Отчаяние Лесби -Быстрая страсть Катулла к Лесби -Разрыв двух любовников -Увольнение Катулла.-Любовница Мамурры -Совокупление Лесби -Катулл снова видит Лесби в присутствии ее мужа -Уловки Лесби, чтобы не вызвать ревность мужа - Куртизанка Квинтия в театре -Стихи Катулла против Квинтии.-Катулл не дал Лесби соперника в его поэзии - Греческая куртизанка Ипситилла - Галантная записка Катулла этой куртизанке - Эпиграмма Катулла завсегдатаям публичного дома, где укрылась одна из его любовниц.- Гнев Катулла на Ауфилену.- *Гнилая шлюха*.- Преждевременная старость Катулла.- Лесби у смертного одра своего любовника.- Пропертий.- Цинтия или Хостилия, дочь Хостилия. Ее любовь к Пропертию.-Статилий Тавр, богатый претор Иллирии, содержатель Синтии.- Пророческие замечания о любовной связи его любовницы со Статилием Тавром.-Уши Лигдама.-Пророческие советы его любовнице.-*Ученая* Синтия.-Элегии Катулла о привлекательности его любовницы.-Аксиома Пропертия.-Ночь в любви с Синтией.- Любовники Синтии.-Его ночи с Исидой и Юноной.-Пропертий стонет от поведения Синтии.- Баня в Байе.-Любовь Галла.-Пропертий предается разврату, чтобы забыть свою любовницу - Пропертий примиряется с Синтией - Смена ролей - сваха Антиса - ревность Синтии - Лицинна - уловки Синтии, чтобы обеспечить верность любовника - веселые куртизанки. Филлис и Тея - Проперций попался в ловушку - Ярость Синтии - Отравитель Номас - Поспешные похороны Синтии - Смерть Проперция - Его прах воссоединился с прахом Синтии.

Гораций едва успел родиться, когда Катулл, этот великий поэт любви или, скорее, сладострастия, умер в возрасте тридцати шести лет, став жертвой злоупотребления удовольствиями, как утверждают некоторые из его историков, но, по мнению других, поддавшись слабости своей тонкой и болезненной натуры, несмотря на предосторожности спокойной и целомудренной жизни. Эта жизнь, во всяком случае, не всегда была такой, поскольку стихи Катулла, как бы ни были искажены и изгнаны цензорами первых веков христианства, все еще дышат эротической разнузданностью и эпикурейской философией. Поэт, друг Корнелия Непота и Цицерона, писал свои стихи среди распутников и куртизанок Рима; он даже говорит на их языке в этих стихах, украшенных всеми грациями стиля; Он никогда не уклоняется от непристойного слова, которое он заставляет нагло звучать в изящной и гармоничной фразе; он восхищается образами и тайнами самого смелого разврата, но у него есть оправдание в том, что он наивен в том, что он осмеливается говорить и изображать. Очевидно, что его путешествия и пребывание в Азии, Греции и Африке не оставили его в неведении относительно всего того, что должно было быть использовано для

составления нечистой мозаики римской проституции. И все же в эпиграмме на своих недоброжелателей, *терпеливого* Аврелия и цинеда Фурия (*Патиция*), которые на основании его сладострастных стихов (*molliculi*) считали его слишком скромным, он без колебаний защищает свою скромность: "Хороший поэт, - говорит он, - должен быть целомудренным; но так ли необходимо, чтобы его стихи были такими? В них достаточно соли и удовольствия, какими бы сладострастными и непристойными они ни были, когда они могут пробудить чувства не только юных мальчиков, но и тех варваров, которые уже не знают, как двигать своими измученными чреслами". Катулл был слишком хорошо осведомлен о тайнах Венеры, чтобы не приобрести эти знания и опыт ценой своей скромности и здоровья.

В своих стихах, половина из которых до нас не дошла, он знакомит нас с тремя или четырьмя греческими куртизанками, которые были его любовницами и друзьями; они были модны в его время (50-60 гг. до н. э.), но их репутация красоты, ума, таланта и грации, какой бы блестящей она ни была в период их любовных походов, не продержалась достаточно долго, чтобы мы могли найти ее отражение в произведениях Горация. Только Лесби, чье имя увековечил Катулл, пережила воробья, которого она так оплакивала; да и то, по мнению комментаторов, эта Лесби, дочь сенатора Метелла Целера, звалась Клодией и не принадлежала к классу куртизанок. Более того, в стихах, обращенных к Лесби или ее воробью, поэт, кажется, избегает признавать любые детали, которые могли бы относиться к ней лично: он не пишет портрет этой прекрасной женщины, даже не раскрывает цвет ее волос; он ограничивается перечислением поцелуев, отданных и возвращенных тысячу раз, число которых он путает настолько, что завистник никогда не сможет их сосчитать: "Ты спрашиваешь меня, Лесби, сколько твоих поцелуев нужно, чтобы мне хватило и стало слишком много? Столько, сколько песчинок насыпано в Ливии, в пустынях Киринеи, от храма Юпитера Аммона до священной гробницы старика Баттуса; столько, сколько звезд, которые в тишине ночи свидетельствуют о тайной любви рода человеческого!" Лесби, которую Катулл прозвал так в связи с ее лесбийскими наклонностями и которую он сравнил с Сапфо, переводя для нее оду знаменитого философа с Лесбоса, больше известна своим воробьем, чем галантным нравом. Этот воробей, услада Лесби, который играл с ней, которого она прятала в своей груди, которого дразнила пальцем, и чьи укусы она любила провоцировать, когда ждала своего любовника и пыталась отвлечься от томительного ожидания; Этот воробей, о смерти которого поет Катулл, не был птицей, если верить преданию, сохраненному сколиастами; это была молодая девушка, спутница Лесби, которая любила ее так же сильно, как и ее возлюбленный: "Плачьте, о грации, возлюбленные и все, кто прекрасен среди людей! Погиб воробей моей госпожи, воробей, который был ее отрадой и которого она любила больше, чем зеницу ока!" Но сколиасты Катулла, возможно, злоупотребляли привилегиями толкования, основываясь на его прекрасном подражании оде Сапфо, которую поэт не побоялся посвятить Лесбии; не будем спорить с ними, что Катулл слышал только плач воробья: "О жалкий воробей! вот твое дело: глаза моей госпожи опухли и покраснели от плача".

Катулл был так страстно влюблен в Лесби, что не предвидел конца этой страсти, которую разделяла и она: "Будем жить, о моя Лесби!" - взывал он, - "Будем жить и любить!" Но юная девушка, хотя и была любима больше, чем кто бы то ни было, первой устала от такой любви и отвергла своего возлюбленного. Последний не пытался вернуть сердце, из которого был отвергнут; он не жаловался на этот разрыв, который считал неизбежным; он просто решил забыть Лесби и никогда больше не любить с таким же самоотречением: "Прощай, Лесби! сказал он печально; Катулл уже ожесточил свое сердце; он больше не будет преследовать тебя, не будет умолять тебя; но ты будешь стонать, неверная, когда твои ночи пройдут без молитвы. Какая судьба ждет тебя теперь? кто будет искать тебя? кому ты покажешься

прекрасной? кого ты будешь любить? кем ты будешь? кому достанутся твои поцелуи? чьи губы ты будешь кусать? А ты, Катулл, раз уж такова судьба, закаляйся!" Катулл вскоре понял, что слишком понадеялся на свою стойкость и что его не утешит непостоянство Лесби; он любил ее без нее, он любил ее через сотню любовниц: "О боги! бормотал он, утирая слезы, - если ваша божественная природа позволяет вам жалеть и если вы когда-нибудь приходили на помощь несчастным в предсмертных муках, посмотрите на мои страдания и, как цену чистой жизни, заберите это зло, этот яд, который, как оцепенение, вползает в мозг моих костей и изгоняет все мои радости из моего сердца!" Однажды он возмутился, увидев, как любовницу Мамурры сравнивают с Лесби, у которой не было ни маленького носика, ни хорошо очерченной ноги, ни черных глаз, ни длинных пальцев, ни нежной кожи, ни соблазнительного голоса, как у настоящей Лесби: "О глупый и грубый век!" - повторял он со вздохом.

Лесби вышла замуж, вернее, вступила в одну из тех супружеских связей, которые римское право классифицировало как брак по узупапиону. Она жила с человеком, которого называла своим мужем (*maritus*) и который был, возможно, не более чем ревнивым хозяином. Иногда она принимала Катулла в присутствии этого мужа, которого не осмеливалась обмануть, хотя у нее было огромное желание сделать это. Чтобы притвориться, что забыла о прошлом, и успокоить мужа, о котором она втайне жалела, что предпочла его своему любовнику, она громко упрекала и даже оскорбляла Катулла: "Это великая радость для этого глупца! сказал поэт, утешая себя тем, что написал эпиграмму на мужа. Осел, ты ничего не слышишь! Если бы она замолчала и забыла наши любовные похождения, она бы вылечилась; когда она ругает и поносит меня, дело не только в том, что она помнит, но и, что гораздо серьезнее, в том, что она раздражена; дело в том, что она все еще горит и не скрывает этого!" Однако в стихах Катулла мы не видим, чтобы он просил у Лесби более веских доказательств того, что она сохранила к нему страсть. Если это была иллюзия, он ничего не делал, чтобы ее устранить, и довольствовался тем, что видел в Лесби потенциального мужа, не пытаясь сделать ее неверной. Однажды в театре ропот восхищения сопровождал появление куртизанки по имени Квинтия, которая встала на трибуне рядом с Лесби, как бы затмевая ее и превосходя ее в красоте; все взгляды, действительно, были прикованы к новенькой, и никто больше не смотрел на Лесби, кроме Катулла, который смотрел только на нее. Возмущенный тем, что народ несправедливо предпочитает Квинцию, он достал свои скрижали и сымпровизировал этот кусок стиха, который распространил среди зрителей, чтобы отомстить Лесби: "Квинция красива для большинства людей; для меня она белая, длинная и жесткая. Я охотно признаю, что у нее есть некоторые достоинства, но я категорически отрицаю, что она красива; ибо в этом крупном теле нет ни грации, ни привлекательности. Лесби, напротив, прекрасна, причем настолько прекрасна с головы до ног, что кажется, будто она лишила других всякого изящества".

Lesbia formosa est: quæ quum pulcherrima tota est,  
Tum omnibus una omnes surripuit veneres.

Можно сказать, что в своей поэзии Катулл не дал соперницы этой Лесбии, которую он не перестал любить, как только перестал ею обладать. Можно было бы подумать, что его муза постеснялась бы произнести имя другой любовницы. Есть только одно имя - Ипситилла, которая на мгновение засияла рядом с Лесбией, а затем исчезла, как метеор, после дня амурного безумия. Эта Ипситилла, судя по имени, была греческой куртизанкой, и чтобы передать на нашем языке галантную записку, которую однажды послал ей Катулл, нам потребуется не менее сдержанный перевод университетского профессора: "Во имя любви,

милая Ипситилла, моя прелесть, очарование моей жизни, даруй мне свидание, о котором я прошу, в середине дня; и, если ты его дашь, добавь эту услугу, чтобы дверь была закрыта для всех. Прежде всего, не выходите никуда!... Оставайтесь дома и приготовьтесь к тому, что мои любовные подвиги будут повторяться девять раз (*paresque nobis novem continuas futationes*). Но если вы скажете "да", скажите это сейчас, ибо, растянувшись на постели после хорошего ужина, я в порыве страсти топчу свою тунику и свое одеяло". Эта эпиграмма, которая помогает нам понять, почему Катулл умер таким молодым, - единственная, в которой он упоминает одну из своих любовниц по имени. В другой эпиграмме, обращенной к завсегдатаям плохого заведения, он горько оплакивает потерю не названной им любовницы, которую он любил так, как никогда не полюбит, и за которую много раз сражался. Эта женщина оставила его, чтобы укрыться в доме разврата, девятом по счету, который можно найти, покинув храм Кастора и Поллукса. Там она без разбора предавалась проституции с презренными гостями этого борделя (*omnes pusilli, et semitarii mœchi*), которые согласились охранять свою добычу и не позволили Катутлу войти в дом, где их было сто человек: "Неужели вы думаете, что вы одни мужчины? гневно кричал он на них (*solis putatis esse mentulas vobis?*). Неужели они думают, что только они имеют право часто посещать публичных девушек и смотреть на весь остальной мир, как кастраты?" Он бросает им вызов, он грозит написать на стенах этого скверного места, где ему отказывают в том, что всегда можно получить за бесценок; он готов помериться силами с двумя сотнями противников. Но сколько бы он ни настаивал, сколько бы ни кричал, сколько бы ни молился, слушая голос любовника, предающегося *совокуплениям*, он всю ночь томился у дверей.

Конечно, Лесби - не героиня этих развратных походов, не скандальная хозяйка этой дурно прославленной таверны. Муж Лесби, этот Лесбий, к которому Катулл относится с таким презрением, возможно, и продавал ее по очереди, но не позволял ей опускаться до такого уровня проституции. Сколько бы Катулл ни говорил Лесбии, что он думает о ней меньше, он вынужден был простонать и признать, что любит ее больше: *Amantem injuria talis cogit amare magis, sed bene velle minus*. Однако он продолжал проводить свою жизнь в обществе куртизанок и часто становился жертвой их обманов: так, мы видим, как он сильно раздражен некой Ауфиленой, которая потребовала от него предоплату за услуги, в которых она ему тогда отказала: "Честь требует, Ауфилене, чтобы человек держал свое слово, как скромность хотела, чтобы ты ничего мне не обещала; но красть обманом еще хуже, чем поступок скупой куртизанки, prostituteующей себя для всех желающих." В другом месте он возмущается позорной проституткой, укравшей у него таблетки; он называет ее *гнилой шлюхой* (*putida mœcha*); он бросает ей оскорбления, но таблетки не возвращает. Она не растрогалась и только посмеялась над ним; в конце концов он и сам рассмеялся и сменил тон: "Целомудренная и чистая девушка, - обратился он к ней, - верни мне мои таблетки? Катулл чувствовал напряжение своих физических сил; ему едва исполнилось тридцать четыре года, и он приближался к дряхлости: ему пришлось отказаться от всего, что за столь короткие годы привело его к преждевременной старости; но он не отказался от Лесби. Она была не более чем воспоминанием, с которым он вновь открыл для себя удовольствия своей пылкой юности; это была все та же любовь, которую он изливал в нежных или страстных стихах: Иногда он проклинал Лесби, доходил до того, что возмущался ею; затем, как бы желая получить ее прощение, он восхищался ею, возвышал ее, взывал к ней, как к божеству: "Ни одна женщина не могла сказать, что ее любили так нежно, как тебя, о моя Лесби! Никогда верность договоров не соблюдалась так религиозно, как наши клятвы в любви, данные мной! Но посмотри, куда ты завела меня своей ошибкой и какую жертву принесла моей верности... Ведь я не мог ни уважать тебя, когда ты стала самой добродетельной из женщин, ни перестать любить тебя, когда ты стала самой развратной!" Чувства у Катутла молчали; говорило одно лишь сердце, и этот высший голос отозвался в душе Лесби. Она узнала, что

ее бывшему возлюбленному осталось жить совсем недолго; она поверила, что горе ее болезнь, и захотела вылечить его: она вернулась к нему с распростертыми объятиями; Катулл бросился к ней, забыв обо всем на свете. Лесби видела, как он снова умирает; Катулл оживился, чтобы дрожащей рукой написать эти восхитительные стихи:

Restituis cupido, atque insperanti ipsa refers te  
Nobis. O lucem candidiore notâ!  
Quis me uno vivit felicior, aut magis hæc quid  
Optandum vita, dicere quis poterit!

"Ты вернулся ко мне, кто желал тебя! Ты вернулся ко мне, кто всегда надеялся на тебя! О день, который должен быть отмечен самым белым камнем! Кто же счастливее меня на земле, и кто может сказать, что в жизни есть что-то предпочтительнее этого счастья?" У Катулла остались только стихи, чтобы выразить свою радость и благодарность; его погасшие глаза снова загорелись; необыкновенный румянец заиграл на впалых щеках, испещренных слезами; он прижимал к груди эту любимую госпожу, которая плакала, глядя на него. Он испустил последний вздох в стихах, в которых все еще льстил себе, что доживет до любви к Лесби: "Ты обещаешь мне, о жизнь моя, что наша любовь будет полна очарования и продлится вечно? Великие боги, пожалуйста, пусть она умеет обещать и выполнять свои обещания, и пусть она скажет мне об этом искренне и от всего сердца! Чтобы эти священные узы вечной дружбы длились всю нашу жизнь!" Какими же куртизанками они должны были быть, которые умели заставить себя любить с такой изысканной нежностью, с такой почти религиозной преданностью! Катулл умер в возрасте тридцати шести лет, счастливый от того, что снова нашел свою Лесби (56 г. до н. э.). Самая высокая похвала, которую можно воздать этой Лесбии, - вспомнить, какую нежную и неизменную любовь она внушала поэту-распутнику, который всегда уважал ее в своих стихах и не боялся завести свою музу в самые тайные глубины римской проституции.

Проперций родился до смерти Катулла. Проперций, который также был, по причудливому выражению одного ритора, "одним из триумвиров любви", родился в Этрурии, в городе Перуджа или Мевания, в 702 году Рима, 52 г. до н.э. Проперций стал поэтом, прочитав стихи Катулла; он влюбился, увидев Синтию. Ее настоящее имя было Хостия или Хостилия. Ее льстецы даже утверждали, что она происходит от Тулла Гостилия, третьего царя Рима; но, как бы то ни было, она могла с большей уверенностью похвастаться тем, что является прямым потомком своего отца Гостилия, ученого писателя, написавшего историю Истрийской войны. Эта Хостилия, чья красота, грация и таланты сделали ее одной из самых выдающихся женщин своего времени, тем не менее была не более чем куртизанкой. Она искренне любила Проперция, но при этом не стеснялась давать ему столько соперниц, сколько могла удовлетворить. Она старалась не позволять ему пользоваться ею так же свободно, как и своей; она даже требовала от него строжайшей верности. Однако она публично жила с богатым претором Иллирии по имени Статилий Тавр, который построил амфитеатр за свой счет и тратил на нее столько же денег, сколько на борьбу с дикими животными. Проперцию, не обогащенному поэзией, было бы трудно обеспечить расточительность своей Делии; поэтому он принял как необходимость невыразительное соперничество за благосклонность Гостилии со стороны претора Иллирии; По привычке он закрывал глаза и уши всякий раз, когда видел или слышал этого постоянного соперника; других же он не терпел, или, по крайней мере, производил дурное впечатление на тех, кто мимоходом разделял с ним благосклонность своей госпожи. Однажды вечером, неожиданно вернувшись из Мевани и с нетерпением ожидая оказаться в объятиях своей хозяйки, он услышал звуки флейты и увидел дом, сверкающий огнями. Он подходит с трепетом, входит с изумлением: рабыни прячутся

при виде его; никто не смеет остановить его, и все хотели бы помешать ему пройти дальше. Они празднуют в триклинии; танцуют, поют, жгут благовония; он окликает вольноотпущенника, который не отвечает ему. Он хватается за уши, когда тот пытается убежать; он спрашивает властным голосом, кто этот великолепный гость, которому оказан такой прием в доме Синтии? Консул ли он? Сенатор? Гистрион, гладиатор, евнух? Лигдамус молчит; вместо того чтобы открыть рот, он позволяет оторвать себе оба уха; но Проперцию не нужны уши Лигдамуса; он идет прямо в триклиний, отдергивает занавески и заглядывает в комнату, где запах еды и специй открыл ему, что происходит. Перед роскошно сервированным столом - ложе из слоновой кости, пурпура и серебра, на одних подушках сидят Хостилия и Статилиус Тавр, обнявшись и улыбаясь друг другу. При этом виде он снова стал спокоен и серьезен; он закрыл занавес и удалился тихим шагом: "Глупец!" - сказал он Лигдамусу, который все еще опасался за свои уши, - "почему ты сразу не предупредил меня, что претор прибыл из Иллирии?" Он вернулся домой и провел ночь, которую отводил для более мягких занятий, в обществе муз - единственная неверность, которую он позволил себе по отношению к неверной. На следующий день он послал ей элегию, которая начинается так: "Он вернулся из Иллирии, этот претор, твоя богатая добыча, Синтия, и мое величайшее отчаяние! Почему он не оставил свою жизнь среди скал Акроцераунии? Ах, Нептун, какие предложения я бы сделал тебе тогда! Сегодня и без меня за столом пир, и всю ночь, кроме меня одного, твоя дверь открыта. Да, если ты мудр, не оставляй ни на минуту этот урожай, который тебе предлагают, и лиши эту глупую овцу всего ее руна. А потом, как только его богатства закончатся и он останется нищим и обездоленным, скажи ему, чтобы он отплыл в другой Иллирий". Этот совет от любовника не отражал его крайней деликатности.

Синтия была не только красива; ее любовник называл ее *ученой* и несколько раз говорил о ее образованности, остроумии и талантах; мы также знаем, что она была поэтом, и ее вкус к поэзии, должно быть, был главным узлом, связывавшим ее с Проперцием. Проперций мог платить ей только стихами. В своих элегиях он часто набрасывает портрет этой выдающейся куртизанки; он рассказывает, что у нее была величественная фигура, светлые волосы и восхитительная рука. Ах! Ее привлекательность, - писал он другу, - наименьшая пища для моего пламени! О Бассус! У нее есть много других совершенств, за которые я готов отдать жизнь: это ее бесхитростный румянец, это сияние тысячи талантов, это те восхитительные сладострастия, что скрыты под ее скромным платьем (*gaudia sub tacitâ ducere veste libet*). Он находил свою Синтию достаточно совершенной, чтобы отказаться от туалетных принадлежностей и даже от вуали, когда имел счастье обладать ею днем или ночью: "Милая душа, - говорил он ей взволнованно, - зачем столько украшений в твоих волосах? Зачем эта мирра из Оронты, которой ты посыпаешь голову? К чему это занятие - заставлять складки твоего нежного платья, сотканного на острове Кос, играть друг с другом? Зачем продаваться этой варварской роскоши? Зачем под столь дорогим нарядом заглушать красоту природы и не позволять своим чарам сиять в собственном великолепии? Поверьте, вы слишком красивы, чтобы прибегать к подобным уловкам. Любовь обнажена: она не любит престижа". Аксиома Проперция всегда была аксиомой нежного и чувствительного любовника: "Девушка, которая радуется только одного, достаточно украшена". Но Синтия настаивала на том, чтобы неловкая атрибутика ее одежды и драгоценностей оставалась в самом интимном тет-а-тет. Проперций, знакомя нас с таинствами ночи любви, горько сетует на эту привычку к скромности или ханжеству, которую он мог бы объяснить обнаружением какого-то скрытого уродства или недостатка; он изображает Синтию постоянно натягивающей тунику на грудь, даже если светильник погашен: "Какой смысл, - говорит он ей, - обрекать Венеру резвиться в темноте? Если ты не знаешь, глаза - наши проводники в любви. Именно обнаженной, покидая ложе Менелая, Елена в Спарте разожгла в сердце Париса огонь, который его поглотил; именно обнаженным Эндимион пленил сестру Аполлона; именно обнаженной

богиня спала с ним (*nudæ concubuisse deæ*). Если же ты будешь упорствовать в том, чтобы спать одетым, то увидишь, способны ли мои руки разорвать тунику на куски. Более того, если вы доведете мой гнев до предела, то на следующий день покажете матери свои ушибленные руки. Неужели ваше подвешенное горло мешает вам предаваться этим забавам? Возможно, если бы ты стыдилась демонстрировать следы материнства". Синтия не обратила внимания на эти прекрасные доводы, и Проперсу пришлось довольствоваться тем, что ему предложили: "Пусть она любезно предоставит мне несколько таких ночей, - говорил он, опьянев, - и моя жизнь будет длиннее одного года; пусть она даст мне еще много, и в эти ночи я буду считать себя бессмертным. За одну ночь каждый может стать богом!"

Однако эта любовь не была безоблачной. Синтия должна была удовлетворять повседневные потребности своей профессии, ведь, помимо иллирийского претора, у нее были любовники, которые обеспечивали домашние расходы. Поэтому она не оказывала Проперцию всех тех услуг, которых он требовал как объявленный любовник; она часто не пускала его к себе, закрывала перед ним дверь, по крайней мере ночью, что относилось к наемным любовным связям; но она, насколько возможно, прикрывала честными предложениями бесчестную правду, которая ранила сердце поэта; она винила праздники Изиды, Юноны или какой-нибудь богини за то, что она навязывала себя, говорила с сожалением: "Эти печальные торжества Изиды уже вернулись! писал Проперций. Уже Синтия провела десять ночей вдали от меня! Погибла дочь Инаха, которая с теплых берегов Нила передавала свои тайны матронам Авзонии, которая так часто разлучала двух влюбленных, жаждущих воссоединиться! Кем бы ни была эта богиня, она всегда была роковой для любви!" Однако Проперс не сомневался, что в угрызениях и отказах Синтии виновата только Исида, и тщетно пытался смягчить ее, говоря: "Конечно, ни одна женщина не ложится в одинокую постель с удовольствием; есть что-то, чего любовь заставляет желать. Страсть всегда острее для отсутствующих любовников; долгое наслаждение всегда вредит усердным любовникам". Синтия позволила ему сказать это и ничего не изменила в своем образе жизни. Она не только резервировала для соперников Проперция ночи, которые, как она утверждала, отдавала Изиде, но и проводила часть своих ночей в пьянстве, пении и игре в кости. Проперций не мог не знать о роскоши своей любовницы, а поскольку у него не было сокровищ Аттала, чтобы оплатить эту роскошь, о нечистом происхождении которой он знал, ему оставалось только поэтичнее всех стонать: "Видел ли Коринф когда-нибудь такой наплыв народа в дом Лаис, когда вся Греция вздыхала у его дверей! восклицает он, признавая, что его Синтия была всего лишь модной куртизанкой. Был ли когда-нибудь более многочисленный двор у ног этой Таис, изображенной Менандром, которая так долго оживляла досуг жителей Эрихтея! Разве у этой Фрины, которая могла бы поднять Фивы из пепла, было больше поклонников! Нет, о Синтия, ты превосходишь их всех и, более того, по своей прихоти заводишь себе родственников, чтобы узаконить поцелуи, которые ты так боишься пропустить!" Эти довольно туманные упреки, несомненно, означают, что Синтия выдавала своих любовников за родственников, которых принимала с самым трогательным гостеприимством. Более того, Проперций так ревновал ее, что иногда подозревал, что она прячет любовника в своем платье (*et miser in tunicâ suspicor esse virum*).

Не только в Риме Синтия собирала вокруг себя толпу более или менее любвеобильных и более или менее щедрых соперников; она также была в банях Баиса, где проводила курортный сезон. Город Байес и его окрестности в то время были переполнены элитой богатства, разврата и удовольствий. Известные греческие куртизанки считали бы себя падшими, если бы не выставляли напоказ свою наглую роскошь среди оргий этого места наслаждений; они приходили туда в поисках новых интриг и новых прибылей. Поэтому Проперций ревновал Баис к ней, как ревновал бы к десяти соперницам сразу: "О Синтия! Я

тебе дорог?" - писал он ей во время своих отлучек, когда питал себя лишь воспоминаниями о прошлом и надеждами на будущее. Помнишь ли ты все ночи, которые мы провели вместе? Какое место занимает в вашем сердце? Возможно, в этот момент враг-соперник хочет, чтобы я вычеркнул ваше имя из своих стихов". Проперций, не имевший ни права, ни, возможно, средств присоединиться к ней в Баисе, возмущался против этого развращенного Баиса, против этих берегов, ставших свидетелями стольких любовных ссор, против этого камня преткновения для женского целомудрия: "Ах, погибни навсегда, - кричал он, - погибни Баис и его воды, которые порождают все преступления любви!" Кроме того, он вряд ли питал иллюзии относительно цели путешествия Баиса; к тому же он не знал, что у Синтии нет другого дохода, кроме доходов от ее чар; он даже знал ее, видел ее за работой: "Синтия не ищет лучшей, - опубликовал он в минуту гнева, - она не заботится о почестях: она всегда оценивает кошелек любителей... Так вы можете торговать любовью! О Юпитер! О бесчестье! И наши дочери развращены этой торговлей! Моя госпожа постоянно посылает меня ловить жемчуг в море; она приказывает мне ехать в Тир и собирать для нее еду! О, дай боги, чтобы никто в Риме не был богат!" Когда Проперций поддался этому порыву дурного настроения, Цинтия, озабоченная своим мерзким претором, семь ночей подряд запрещала любовнику своего сердца спать.

Синтия была первой любовницей Проперция: он поклялся ей, что она будет его последней. И действительно, надо полагать, что он долго и тщетно ей пример постоянства. В нескольких местах своих элегий он заявляет, что остался верен этой очаровательной неверной женщине, и мы видим, что он простил ей все, как только она позволила ему вернуться в постель, где накануне вместо него царила другая; у него было так мало иллюзий в этом отношении, что он сказал ей, целуя ее: "Ты, негодяй, не можешь ни одной ночи спать один и ни одного дня провести один!" Однако между ними было несколько ссор, несколько разлук, которые привели к сближению и удвоению их любви. Во время одной из таких ссор суровый Проперций хотел забыть Синтию, от всей души предавшись разврату, посещая самых доступных куртизанок; он потерял свою обычную скромность с того дня, когда его друг Галлус, желая отвлечь его и утихомирить сердечные страдания, заставил его на целую ночь стать свидетелем своих собственных любовных походов с новой любовницей: "О ночь, о которой мне так сладко вспоминать! сказал поэт, потрясенный этим зрелищем: - О ночь, которую я часто буду вспоминать в своих пылких клятвах, та сладострастная ночь, когда я видел тебя, Галлус, сжимающего в объятиях свою юную любовницу, умирающего от любви, говоря ей прерывистые слова! После этого опасного сеанса Проперций был неверен Синтии. Он и не думал давать ей соперника, выбранного из числа матрон; он был слишком озабочен своим покоем, чтобы желать чего-то, кроме легких удовольствий. Он стал, по его собственному выражению, ходить по путям, проторенным вульгарными людьми, и пить длинными струями из нечистых источников публичной проституции (*ipsa petita lacu nunc mihi dulcis aqua est*); он принял максиму, совершенно противоположную любовной: "Горе тем, кто с наслаждением осаждает закрытую дверь!". Он твердо решил больше не любить, не отказываться от своей свободы: "Пусть все девушки, которых Оронт и Евфрат, кажется, послали за мной в Рим, пусть эти сирены овладеют мной!" И все же он не утешался тем, что оставил Синтию, и продолжал петь о ней, проклиная ее: "Старость никогда не разлучит меня с моей любовью, - тихо шептал он, - когда я стану Титоном или Нестором!" Вдруг он услышал, что Синтия заболела; он побежал к ней в дом и не отходил от постели; он ухаживал за ней так нежно, что ему казалось, он вырвал ее у смерти. Когда она поправилась, он сказал ей: "О свет моей жизни, раз ты вне опасности, отнеси свои приношения к алтарям Дианы! Воздай должное и богине, превращенной в телицу (Ио): десять ночей воздержания для этой богини и десять - любви для меня!"

После этого примирения роли между влюбленными поменялись; ревность утихла в сердце Проперция, но разгорелась в сердце Синтии. Наконец-то он освободился от одиозной злобы, которая стремилась нарушить его любовную жизнь: Акантис, сваха, имевшая такую власть над Синтией, добывавшая для нее духи, снадобья и косметику, отвечавшая за ее послания, прирожденная защитница богатых поклонников и непримиримый враг лишенного наследства поэта, Акантис, эта ужасная сварливая женщина, выдохнула свою мерзкую душу в приступе кашля; ее больше не было рядом, позорной советчицы, чтобы сказать Синтии: "Пусть твой привратник следит за теми, кто приносит; если кто-то стучится с пустыми руками, пусть спит, как глухой, прижавшись лбом к закрытому замку. Не отвергай ни мозолистой руки моряка, если она полна золота, ни грубых ласк солдата, который платит, ни даже рабов-варваров, которые с табличкой на шее резвятся посреди рынка. Смотрите на золото, а не на руку, которая его дает. Что останется у вас от стихов, которые они вам поют? Будь глух к этим стихам, которые не сопровождаются даром великолепных тканей, к этой лире, чьи аккорды не смешиваются со звуками золота". Проперций присутствовал при последних минутах жизни Акантиды и на ее позорных похоронах, на которых были видны ленты ее редких волос, выцветшая митра, измазанная грязью, и собака, так хорошо обученная сторожить куртизанок: "Пусть старая амфора с обрезанным горлышком станет урной для этой мерзкой ведьмы, - восклицал Проперций, - и пусть дикая смоковница обхватит ее своими корнями! Пусть каждый влюбленный приходит и забрасывает ее могилу камнями, а камни сопровождаются проклятиями!" Синтия, больше не слушая ядовитый голос Акантиса, дала волю своей нежности к Проперцию и одновременно своей ревности. Она следила за ним, она сама шпионила за ним; она обвиняла его в злодеяниях, которых он не имел против нее, и предполагала, что у него столько же любовниц, сколько у нее любовников. Проперций тщетно доказывал свою невиновность. Она осыпала его упреками и оскорблениями, кусала, била, царапала, а в конце концов приняла мученическую смерть, словно в наказание за то, что больше не была достаточно красива и любима.

Эта смутная ревность поселилась в куртизанке Лицинне, чьим любовником был Проперций, прежде чем стать ее. Вскоре Синтия пришла в такую ярость против бедной Лицины, что Проперций был вынужден умолять ее пощадить эту бывшую соперницу, которую не в чем было упрекнуть; он признался, что в юности имел дело с этой Лициной, но почти не помнит, чтобы когда-либо знал ее, хотя Лицинна в те ночи любви научила его науке, с которой он был слишком хорошо знаком. Твоя любовь, моя Синти, - сказал он, не убедив ее, - стала могилой для всех моих других loves! Так прекратите же свои гонения на Лицину, которая их не заслужила. Когда ваша обида, о женщины, делает карьеру, она никогда не возвращается!" Проперций, чтобы иметь покой, столь необходимый для трудов ума, избегал делать что-либо, что Синти могла бы истолковать в направлении его ревности; но, поскольку он сам перестал проявлять ревность, он выглядел равнодушным, и его хозяйка тем более желала узнать причины этого равнодушия. Однажды она воспользовалась предлогом, что дала обет принести жертву Юноне Аргинской в ее храме в Ланувиуме. Этот храм находился справа от Аппиевой дороги, недалеко от стен Рима; в священном лесу, окружавшем храм, было глубокое логово, служившее убежищем дракону, которому девы каждый год приносили пшеничные лепешки, подносимые с закрытыми повязкой глазами; если они были чисты, чудовище принимало жертву, если нет - отвергало ее со страшным шипением. Синтии нечего было предложить этому дракону: она могла иметь дело только с богиней. Кроме того, ее путешествие было лишь способом скрыться, оставив поле боя для своего любовника. Проперций провожал ее в колеснице, запряженной мулами с длинными гривами, за рулем которой сидел небритый мужчина, а впереди ехали молоссы с богатыми ошейниками. "После стольких бесчинств, совершенных над моей постелью, - говорит поэт, рассказывая о своем приключении, - я пожелал, также сменив ложе, разбить свой лагерь на другой земле".

Поэтому он послал за двумя веселыми куртизанками - Филлис, которая была не слишком соблазнительна в трезвом состоянии, но очаровательна в подпитии, и Тейей, белой как лилия, но ее пьянство не удовлетворялось одним любовником. Первая жила на горе Авентин, возле храма Дианы, вторая - в Капитолийских рощах. Оба они пришли в район Эсквилей, где находился маленький домик Проперция. Все было готово, чтобы встретить их достойно. Проперций пообещал себе, что это облегчит его печаль и возродит его чувства в неведомых ему удовольствиях (*et venere ignotâ furta novare mea*).

Пир был устроен на траве в глубине сада; не было недостатка в метимнском вине, пряностях, ледяных снадобьях и розах с ошипанными листьями; Лигдамус председательствовал над бутылками. Стол-кровать был всего один, но достаточно большой, чтобы вместить троих гостей. Проперций сел между двумя гостями. Египтянин играл на флейте, Филлис - на кротале, а изуродованный карлик дул в самшитовый флажолет. Но вся эта музыка только усиливала рассеянность поэта, который следовал за Синтией в храм Ланувия. Однако Филлис и Тейя были пьяны, свет ламп померк; стол был перевернут для игры в кости. Проперцию выпадали только несчастливые числа, например, то, которое называлось *собаками*; удача не соизволила послать ему ход Венеры, то есть число один. Сколько бы Филлис ни обнажала горло, а Тейя ни закатывала тунику, Проперций был слеп и глух (*cantabant surdo, nudabant pectora cæco*). Внезапно входная дверь заскрипела на петлях, и в коридоре послышались легкие шаги. Это вбегает Синтия, бледная, волосы в беспорядке, кулаки сжаты, глаза полны молний: это женский гнев, и он подобен городу, взятому штурмом (*spectaculum captâ nec minus urbe fuit*). Свирепой рукой она швыряет лампы в лицо Филлис; Тейя, охваченная ужасом, кричит о пожаре и просит воды; Синтия преследует их обеих, рвет на них платья, вырывает волосы, бьет и оскорбляет. Они едва вырвались из ее рук и укрылись в первой попавшейся таверне. Однако шум разбудил всю округу; люди прибежали с факелами; они видят, как Синтия, словно вакханка в ярости, набрасывается на Проперция, дует на него, кусает его до крови и хочет выколоть ему глаза. Проперций, чувствуя свою вину, принимает наказание с тайной радостью; он целует колени Синтии, умоляет ее успокоиться, просит прощения; она дарует его при условии, что он больше не будет ходить, богато украшенный, под портиком Помпея или на Форуме; что он больше не будет обращать свой взор на последние ярусы амфитеатра, где сидят куртизанки, и что его Лигдамус будет продан, как неверный раб, с ногами, связанными двойной цепью. Проперций соглашается на все, чтобы искупить свою бессильную попытку неверности; он целует руки своей деспотичной госпоже, которая улыбается этому триумфу. Затем она сжигает духи и моет чистой водой все, что после общения с Филлидой и Теей стало нечистым в ее глазах; она приказывает Проперцию сменить одежду, особенно рубашку, и трижды подвергнуть его волосы воздействию серного пламени. Наконец, она велела постелить на кровать свежие одеяла, на которых и легла со своим возлюбленным: на этом мир между ними закончился (*et toto solvimus arma toro*).

Проперций должен был пережить свою Синтию. Соперница, гнусная куртизанка по имени Номас, продававшая свои ночи по низкой цене на дорогах, вылила яд, который один из ее любовников приготовил у колдуньи, в отместку за оскорбление, нанесенное ему этой гордой госпожой. Проперций в это время отсутствовал, он не смог руководить похоронами, которые были проведены поспешно и без помпезности: в костер не бросили никаких духов, не разбили вазу с вином о тлеющий пепел жертвы столь черной напасти: казалось, будто хотели стереть следы преступления. Когда Проперций вернулся в Рим, Синтию похоронили на берегу Анио, по дороге в Тибур, на том самом месте, которое она выбрала для своей могилы. Проперций был ошеломлен этой внезапной смертью, но не попытался наказать виновных;

его день и ночь преследовал призрак Синтии, требовавший отмщения; но он не осмелился обвинить отравителя. Должно быть, это был влиятельный человек, потому что Номас, которая была орудием преступления, внезапно разбогатела и смахнула пыль своим расшитым золотом платьем; с другой стороны, друзья Синтии, которые подняли голос, чтобы выразить сожаление или защитить ее, были безжалостно расправлены, кто знает, по какому приказу или с помощью какой силы: Старый Петале был привязан к цепи позорной колодки за то, что принес несколько венков к ее могиле; прекрасную Лалаге били прутьями, подвешивая за волосы, за то, что она упоминала имя Синтии. Наконец, Проперс, терзаемый совестью и призраками, тревожившими его сон, воздвиг колонну и выгравировал эпитафию на могиле своей любимой госпожи; он также исполнил последнее желание этой несчастной женщины, взяв в свой дом старую кормилицу и любимую рабыню Синтии; но, несмотря на высшие предупреждения, приходившие к нему через двери его снов, он не сжег стихи, которые посвятил ее любви. Однажды ночью меланхоличная тень Синтии явилась к нему и сказала: "Будь теперь чьим-то другим. Скоро ты будешь принадлежать только мне, ты будешь моим, и наши кости будут лежать в одной могиле". При этих словах плаксивая тень исчезла в объятиях поэта, который думал схватить ее и унести из царства духов. Проперций ненадолго пережил женщину, которую не переставал оплакивать: он умер в возрасте сорока лет и воссоединился с Синтией в гробнице, которую построил для нее в одном из самых красивых мест у водопадов Тибура. Синтия, разделившая бессмертие своего поэта, так и осталась лишь знаменитой куртизанкой.

---

## ГЛАВА XXVI.

Краткое содержание.- Тибулл.- Его сладострастная жизнь.- Вольноотпущенница Плания или Делия.- Муж этой куртизанки.- Мать Делии защищает любовную связь дочери с Тибуллом.- Платоническая нежность Тибулла.- Рекомендации поэта матери своей возлюбленной.- Привороты и чары.- Наскучив проповедями Тибулла, Делия закрывает перед ним дверь.- Тибулл обличает проступок жены перед мужем Делии.-Немезида.-Любовник куртизанки.- Любовь Тибулла к Немезиде.-Цена услуг проститутки.-Церинф мешает Тибуллу погубить себя ради Немезиды.-Тибулл влюблен в Нееру.-Неера отказывается выйти замуж за Тибулла.- Нира берет любовника.-Отчаяние Тибулла.-Признание в любви Сульпиции, дочери Сервия.- Сульпиция оказывает Тибуллу свои услуги.-Неверность Тибулла.-Глицера.-Серьезная любовь Тибулла к греческой куртизанке.-Отчаяние Глицеры.-Утешительные слова Горация к Тибуллу.-Смерть Тибулла.-Делия и Немезида на его похоронах.- Цитерис.- Корнелий Галл.- Цитерис.- Ликорис.- Галл на парфянской войне.- Его поэма к Ликорису.- Возвращение Галла.Неверность Ликориса.- Гентия и Хлоя.- Лидия.- Ликорис Максимиана, посол Теодориха.- Овидий.- Коринна.- Предположения о настоящем имени этой куртизанки.-Муж Коринны - Мы так и не узнали, кем была эта куртизанка.- Любовные маневры, которые Овидий посоветовал Коринне.- Коринна у Овидия.- Ревность и жестокость Овидия.- Его отчаяние от того, что он ударил Коринну.- Сваха Дипсас.- Инсинуации этой ужасной старухи.-Евнух Багоас.- Напе и Кипассис, парикмахеры Коринны.- Любовь между Овидом и Кипассисом.- Аборт Коринны.- Возмущение Овида при известии об этом одиозном нападении.- Спешка Коринны, чтобы вернуть сердце Овида.- Холодность Овида.- Гордость и

злорада Коринны. - Овида выгоняют. - Жалобы и настойчивые просьбы Овидия простить его поведение. - Коринна и римский капитан. - Стоны Овидия. - Овидий удаляется в страну фалисков. - Возвращение в Рим. - Коринна становится бесстыдной куртизанкой. - Последнее письмо Овидия к Коринне. - Овидий сочиняет свою поэму "Искусство любви" под взглядами и по вдохновению куртизанок. - Его предполагаемая тайная связь с дочерью Августа - Овидий сослан на берега Эвксинского моря - Изгнание объясняется его предполагаемой прелюбодейной страстью - Овидий узнает, что Коринна опустилась на самый низкий уровень проституции - Овидий умирает от горя, и его последняя мысль - о Коринне.

Любовь к куртизанкам была и в жизни и славе современника Проперция: Тибулл любил и пел о своих любовницах. Тибулл, друг Вергилия, Горация и Овидия, был, как и они, великим поэтом и нежным любовником. Он родился в Риме за сорок три года до христианской эры, в тот же день, что и Овидий. Его поэтический вкус проявился рано, а с семнадцати лет он понял, что не создан для военной карьеры, но его темперамент заставляет его броситься в мир удовольствий: "Вот где я хороший вождь и хороший солдат! На самом деле сладострастная жизнь, ставшая его призванием, вскоре истощила его физические силы и развила нервную чувствительность; его цвет лица не был достаточно крепким, чтобы долго сопротивляться злоупотреблению этими удовольствиями, которые римская коррупция так чудовищно усовершенствовала: среди молодых развратников, оргии которых он разделял, он каждый день печалился о своей материальной неполноценности и вскоре осознал свое бессилие. С этого момента он решил заново открыть для себя через сердце те удовольствия, которые уже не могла дать его обветшавшая природа. До этого момента он рассеивал всю активность своих блуждающих страстей по сотне любовниц; теперь же он сосредоточил их на одной-единственной женщине. Этой женщиной могла быть только куртизанка, потому что в Риме закон и мораль противились любой незаконной любви к свободной женщине, которая не привела к браку. Тибулл не заботился о женитьбе и не искал таинственной и виновной интрижки, которую он должен был бы скрывать даже от друзей; напротив, он хотел, чтобы свидетелем и доверенным лицом его любовных походов была публика.

Его первым выбором стала куртизанка, которую он называет Дели в первой книге своих элегий, но которая, несомненно, носила другое имя. Согласно наиболее вероятному мнению, это была вольноотпущенница по имени Плания, чей покладистый муж умело пользовался ее красотой и кокетством. Тибулл был недостаточно богат, чтобы этот скупой муж, ревновавший его лишь к непродуктивной неверности, мог принять его или даже терпеть; но мать Делии, возмущенная позорным рабством, навязанным ее дочери, приняла сторону Тибулла, которого он любил и не жаловал. Именно она привела Делию к Тибуллу в темноте и, боясь и молча, тайно соединила их дрожащие руки; именно она руководила ночными свиданиями, ждала любовника у дверей и узнавала далекий звук его шагов. Правда, эти свидания, возможно, были не слишком опасны для добродетели жены или чести мужа, ведь сам Тибулл вспоминает, что прежде чем он коснулся сердца Делии, он уже перестал быть мужчиной: "Не раз, - говорит он, - я сжимал в объятиях другую красавицу; но, когда я уже готов был вкушать счастья, Венера напомнила мне о моей госпоже и предала меня огню; тогда эта красавица покинула мое ложе, сказав, что я нахожусь под властью проклятия, и обнародовала, увы! мое печальное бессилие". Есть основания полагать, что Тибулл не изменился, когда стал любовником Дели. Несомненно, поэтому, недовольный собой и переживающий из-за своего бессилия, он советует старой матери Делии "научить его целомудрию (*sit modo casta doce*), даже если святая повязка не поднимет его волосы, даже если драная мантия не скроет его ноги". Таким образом, любовь поэта была скорее идеальной, чем материальной, и сердце несло почти все издержки. Однако влюбленные иногда виделись по ночам, без ведома мужа, и Тибулл, возвышенный своей совершенно

платонической нежностью, терпеливо ждал у двери Дели, пока эта дверь, часто молчаливая и неподвижная, незаметно поворачивалась на петлях, когда ревнивый муж отсутствовал или спал: "Мне не больно от оцепенелого холода зимней ночи, - говорил он, проклиная неумолимую дверь, - не больно от дождя, который льет потоками. Эти суровые испытания находят меня бесчувственным, если только Дели наконец отодвигает засов и молчаливый сигнал ее пальца зовет меня к себе".

В этой любви были все взлеты и падения, свойственные другим любовям: ревность, разрывы, сближение, слезы и поцелуи; но поэту было очень трудно привыкнуть к работе, которую выполняла его любовница. Он чувствовал, что не может дать ей цену за ее ласки, что должен закрыть глаза или порвать с ней: "О ты, которая первая научила продавать любовь, - гневно восклицал он, - кто бы ты ни была, пусть могильная плита отяготит твои кости! У него не было золота, чтобы удовлетворить жадность бесславного мужа его Дели; он прибег к помощи филтров и чар в надежде отвести соперников и заставить любовницу хранить ему верность, но чары и филтры не помогли: "Я сделал все, все, - писал он Дели, - а твоей любовью владеет другой, другой, который наслаждается, который счастлив плодами моих заклинаний!" Дели, уставшая от жалоб и упреков, которые, как она знала, заслуживала с избытком, закрыла дверь перед покинутым поэтом: "Твоя дверь не откроется, - с горечью сказал он, - стучать надо рукой, полной золота!" В отчаянии он дошел до того, что рассказал о своих любовных похождениях мужу, который сделал вид, что не замечает их, и предложил помочь ему охранять жену, как это мог бы делать преданный раб. Делия, привычка к пороку которой сделала ее проницательной, лишь посмеялась над обличениями Тибулла и нагло заявила, что никогда не проявляла к нему ничего, кроме жалости. Муж сделал вид, что поверил ей, и заставил молчать своего обвинителя; но тот, раздосадованный и раздраженный таким отказом, пустился в самые подробные объяснения своей связи с вероломной женщиной: "Часто, - рассказывал он мужу, притворяясь, что любит ее жемчугом и кольцом, - мне случалось под этим предлогом пожимать ей руки; часто, запивая чистым вином, я насылал на тебя сон, в то время как в моем более трезвом кубке незаметная вода обеспечивала мне победу!" Муж пожал плечами и улыбнулся, ничего не ответив, как бы говоря: "Как безумны эти поэты!" Тибулл, мучимый ревностью, осмелился дать совет этому мужу, который был обманут и был счастлив, что стал таковым: "Берегись, - сказал он ему, - чтобы она не оказывала молодым людям благосклонности в частых беседах; чтобы платье с широкими складками не оставляло, когда она отдыхает, ее грудь неприкрытой; чтобы от тебя не ускользнули ее признаки ума и чтобы влажным пальцем она не выводила на столе любовные символы!" Тибулл забыл, что именно у него Делия научилась искусству обманывать своего Аргуса: он даже открыл ей секрет соков и трав, которые стирают яркий отпечаток, оставляемый зубом любовника в битвах Венеры (*livor quem facit impresso mutua dente Venus*).

Тибулл слишком сильно обидел Дели, чтобы она могла простить ему его обиды; разрыв между ними был окончательным, и муж от этого только выиграл, поскольку его жена больше не будет отвлекаться на другие, более выгодные любви. Когда Тибулл убедился на сайте в невозможности примирения, он не стал напрасно добиваться его; он полюбил другую. Она все еще была куртизанкой, более жадной и несгибаемой, чем Делия. Тем не менее он поставил себе задачу писать для нее стихи; он льстил себе, что сможет покорить это скупое сердце соблазнами тщеславия: он воскурял свои поэтические благовония у ног прекрасной презрительной женщины, которой поклонялся под именем Немезиды. Эту куртизанку содержал богатый вольноотпущенник, которого несколько раз продавали на невольничьем рынке и который был обязан своим богатством презренным промыслом. Она не обращала внимания на этого выскочку, которого едва прибрала к рукам судьба; но у нее не было вкуса к любви, которая ничего не принесет ей: "Увы! - печально воскликнул Тибулл, - я вижу, что

красоту любят богатые! Ну что ж, пусть меня сделает богатым насильник, раз Венера любит роскошь! Пусть Немезида отныне купается в роскоши и ходит по городу, демонстрируя ослепленным глазам мое богатство! Пусть она носит те прозрачные ткани, в которые рука женщины из Коса вплетает золотые нити! Пусть она привяжет к своим ногам тех черных рабов, которых сожгла Индия и которых солнце, приближаясь к земле, иссушило своим огнем! Пусть Африка, предлагая ей свои самые прекрасные цвета, подарит ей алый, а Тир - пурпурный!" Это были лишь планы поэта, и Тибулл, напыщенно изложив их в элегии, не спешил воплощать их в жизнь. Он ждал год, целый год, милостей этой Немезиды, которая, несомненно, заставила его заплатить за них тем или иным способом, но вряд ли внушила ему желание просить их и получить во второй раз по той же цене. Он собирался продать скромное наследство своих предков, чтобы удовлетворить запросы своей новой любовницы; его друг Церинф помешал ему совершить эту глупость, и он попытался заплатить только деньгами поэта: он был презрительно отвергнут. Это гнусное сватовство, - писал он своим друзьям Церинфу и Мацеру, - которое стоит на пути моей любви, ибо Немезида добра. Это печально известная Фрина, которая отвергает меня без жалости; она тайно носит и возвращает в своем лоне послания любви. Часто, когда я узнаю голос моей госпожи с порога, где я тщетно умоляю ее, она говорит мне, что Немезида отсутствует; часто, когда я прошу о ночи, которая была мне обещана, она говорит мне, что моя возлюбленная больна и напугана угрожающим предзнаменованием. Тогда я умираю от беспокойства; тогда мое заблуждающееся воображение показывает мне соперника в объятиях Немезиды и то, как разнообразны его удовольствия; тогда, печальная Фрина, я клянусь тебя перед Эвменидами!" Друзья утешили его и дали понять, что в Риме нет недостатка в куртизанках, которые гордились бы тем, что их любит и поет такой поэт, как он.

Тибулл сразу же влюбился в юную и непорочную Нееру, которая, вероятно, не была женой Горация. В третьей книге своих "Элегий", которую он посвятил ей, Тибулл изображает ее невинным ребенком, воспитанным самой нежной матерью и самым любящим отцом. Она была и могла быть только дочерью вольноотпущенников, и все же Тибулл предложил жениться на ней или, по крайней мере, взять ее в свой дом в качестве наложницы. Хотя седые волосы еще не пробились на его черной голове, хотя старость с ее согнутой спиной и поздней походкой еще не пришла за ним, он чувствовал, что близок к концу: это была лампа, в которой закончилось масло и которая бросает свой последний луч. Целомудренная Нира, , как он ее называл, отказалась соединить свою свежую и пылкую юность с этой остывшей и опустошенной молодостью. Она с удовольствием принимала знаки внимания, оказываемые ей благородным поэтом; она слушала его стихи и вздохи; она не требовала иного подарка, кроме сборника элегий Тибулла, написанного на белом пергаменте и покрытого золоченым переплетом. Но она была в возрасте любви, и поэтому завела себе любовника, не отменяя дружбы с Тибуллом, который надеялся на лучшее: "Верная или постоянная, - сказал он ей, - ты всегда будешь моей дорогой Нирой! Не без слез и борьбы он смирился с тем, что он не более чем брат своей Ниры; он думал, что умирает от горя; он хотел, чтобы на его надгробии были высечены такие слова: "Боль и отчаяние от того, что Нира отнята у него, стали причиной его смерти!" Его друзья, старые собутыльники по застольям и развлечениям, поэты любви и куртизанки, снова привлекли его, чтобы отвлечь, на свои веселые сборища; они пригласили его воспеть хвалу Вакху, который приходит на помощь страданиям влюбленных: "О, как сладко было бы мне, - пробормотал Тибулл, осушая свой бокал, - отдыхать рядом с тобой ночи напролет, сторожить тебя дни напролет! Не верная тем, кто заслуживал ее любви, она отдала ее тем, кто не был достоин! Вероломная! Но, хоть и вероломная, она все равно дорога мне!" Вакх, постепенно овладевая им, заставлял призрак Ниры терять сознание: "Давай, раб, давай!" - вскричал Тибулл, протягивая свой кубок виночерпию, - "Пусть вино течет быстрее! Я

уже давно должен был оросить голову благовониями Сирии и увенчать лоб венками из цветов!"

Тибулл прекрасно понимал, что ему уже не стоит ожидать от любовницы этого сладостного обмена чувствами, в котором его воображение все еще грезило о счастье: "Молодость и любовь, - говорил он, сожалея, что еще молод и уже не влюблен, - молодость и любовь - вот настоящие чародеи!" Он больше не прибегал к магии и снадобьям, чтобы восполнить все то, что отняла у него болезнь истощения и томления; он пытался доказать Неере, что способен стать мужем и даже, если понадобится, любовником; он признался в любви Сульпиции, дочери Сервия, и набросал портрет этого нового божества: "Грация тайно сочиняет каждый ее жест, каждое ее движение, приковывает к себе каждый ее шаг. Когда она распускает волосы, нам нравится наблюдать за плывущими косами; когда она искусно поднимает их, эта прическа по-прежнему подчеркивает ее красоту. Она воспламеняет нас, когда приходит в мантии тирийского пурпура; она воспламеняет нас, когда приходит к нам в платье, белом как снег". Сульпиция пожалела умирающего поэта; она дала ему больше, чем он просил, и собрала последние отблески угасающего сердца: "Ни одна другая женщина, - восторженно говорил он ей, - не сможет отнять меня у твоего ложа!...". Это было первое условие, которое поставила Венера для нашей связи! Ты одна знаешь, как доставить мне удовольствие, и после тебя в Риме нет другой женщины, которая была бы прекрасна в моих глазах... Если бы Небо послало Тибуллу другую возлюбленную, оно послало бы ее напрасно, и сама Венера была бы бессильна!" Но в тот самый момент, когда поэт произносил эту клятву верности, ему изменили, и Гликерия, одна из самых восхитительных греческих куртизанок в Риме, тоже захотела получить малую долю бессмертия в стихах Тибулла. Тибулл, удивленный удачей, которой он не искал, решил, что обязан ей одной из своих личных заслуг, и счел своим долгом серьезно полюбить Гликерию, поскольку она любила только его элегии. Впервые в жизни Тибулл решил любить как любовник, а не как поэт; он не сочинил ни одного стиха для Гликерии, у которой не хватило терпения дожидаться поэтического настроения и которая отвернулась от бедного умирающего. Эта жестокость глубоко задела Тибулла, чье хрупкое здоровье подорвалось настолько, что друзья поняли, что он получил смертельный удар. Гораций написал ему утешительную оду, в которой умолял забыть жестокую Гликерию (*ne doleas plus nimio memor immitis Glyceræ*), и Тибулл почти сразу узнал, что Гораций сменил его на благосклонности этой капризной женщины. Тибулл так и не оправился; в возрасте двадцати четырех лет он окончательно скончался. Мать и сестра закрыли ему глаза, а в день похорон явились две его любовницы, Делия и Немезида, одетые в траур и демонстрирующие признаки глубочайшей скорби: эти две соперницы вместе шли за похоронной процессией и проливали слезы у костра своего возлюбленного, каждая из которых боролась за славу самой любимой.

Этот период правления Августа был триумфом поэтов и куртизанок, которые так хорошо ладили друг с другом, что казались неразлучными: где была куртизанка, там всегда был влюбленный поэт, по крайней мере в его стихах. Блистательная Гликера делила свет и обожание публики с очаровательной Цитерис, другой греческой куртизанкой, которая вполне могла быть дочерью той, которую любил Юлий Цезарь. Гораций тоже любил некую Цитерис, в которой мы не смеем узнать ни Цезаря, ни Корнелия Галла. Последний, друг Тибулла, Овидия и Вергилия, такой же поэт, как они, и, как они, весьма востребованный в обществе куртизанок, привязался к Цитерис, которую воспевал под именем Ликорис, и воспел ее любовные похождения в поэме в четырех песнях, от которой до нас дошли лишь несколько страстных фрагментов: Чего хочет эта сваха, - возмущался он, - когда пытается вмешиваться в мои любовные дела и когда носит богатые подарки, спрятанные в ее груди? Она восхваляет молодого человека, который посылает эти подарки; она говорит о его

благородном характере, о его свежем лице, которое еще не затенено никаким пухом, о его светлых волосах, которые развеваются вокруг его головы волнистыми локонами, о его таланте играть на лире и петь!... О, как я боюсь, что моя госпожа окажется неверной! Женщина по своей природе изменчива и всегда подвижна; никогда не знаешь, любит она или ненавидит!" Галл отсутствовал в Риме, и война унесла его с римскими орлами к далеким народам, против которых он сражался, вызывая в памяти свою возлюбленную: "Мою Ликорис, - взывал он, - не соблазнит ни свежее лицо юноши, ни подарки; авторитет отца и строгие приказы матери будут тщетно уговаривать ее забыть меня: ее сердце остается непоколебимым в своей любви!" В этом любовном настроении он быстро сообразил, что самая славная победа над парфянами не стоит ночи, проведенной в объятиях его любовницы: "Что мне до войны! сказал он, застонав: пусть воюют те, кто ищет богатства или завоеваний в трудах Марса! Что касается нас, то мы сражаемся другим оружием: это любовь трубит в горн и дает сигнал к бою, а я, если не буду сражаться как храбрец от восхода до заката, пусть Венера поступит со мной как с трусом, отняв у меня оружие! Но если мои желания исполнятся и все обернется к моей чести, пусть любимая женщина станет наградой моего триумфа, пусть я прижму ее к своему лону и покрою поцелуями до тех пор, пока буду чувствовать себя достаточно сильным, чтобы любить и не стыдиться этого! Пусть щедрые вина, смешанные с нардом и розами, воспламеняют мой пыл, пусть волосы мои, увенчанные цветами, будут осыпаны духами! Я не буду стыдиться спать в объятиях своей госпожи и не вставать с постели до полудня!"

Когда Галл вернулся с парфянской войны с несколькими ранами и седыми волосами, он уже не нашел свою Ликорис такой, какой оставил ее: она не вышла для него, как он надеялся, еще один плащ для предстоящей кампании, потому что ей было бы неловко представлять себя в этом рукоделии, со слезами на глазах, бледную и отчаявшуюся. У нее были любовники; она даже не думала, что Галлус должен к ней вернуться. Галлус понял, что живет уже не в золотом веке, когда, как он сам говорил, "женщины были достаточно целомудренны, если умели молчать о своих слабостях на людях". Он не сжег стихи, написанные им для Ликорис, которые, к тому же, хранились в памяти всех влюбленных; но на неверность он ответил неверностью, и ему было чем утешиться в кругу куртизанок. Он хотел, чтобы Ликорис скучала по нему, и его любовные элегии сделали модными несколько молодых девушек, чья красота еще не сделала их знаменитыми. Сначала были две сестры, Гентия и Хлоя, которыми он овладел одновременно: "Не спорьте больше с завистью, - сказал он им, чтобы они согласились, - не спорьте больше о том, у кого из них белее или менее смуглая кожа; спорьте только об этом: кто из них больше зажигает своего любовника - одна глазами, другая - волосами?" Волосы Гентия были светлыми, как золото; глаза Хлои стреляли тысячью вспышек. После этого Галлус полюбил прекрасное и наивное дитя по имени Лидия, чьим любящим воспитателем он стал сам: Покажи мне, дева, - говорил он ей с восхищением, - покажи мне твои светлые волосы, которые блестят, как чистое золото; покажи мне, дева, твою белую шею, которая грациозно поднимается от твоих белых плеч; покажи мне, дева, твои звездные глаза под дугой твоих черных бровей; покажи мне, дева, твои румяные щеки, на которых иногда вспыхивает пурпур Тира; протяни ко мне свои губы, твои коралловые губы; подари мне сладкие поцелуи голубки! Ах, ты высасываешь часть моей опьяненной души, и твои поцелуи проникают глубоко в мое сердце! Разве вы не высасываете мою кровь и мою жизнь? Спрячьте эти яблоки любви, спрячьте эти бутоны, источающие молоко под моей рукой! Твое неприкрытое горло источает аромат мирры: во всем твоем облике нет ничего, кроме восторга! Спрячьте эту грудь, которая убивает меня своим снежным великолепием и красотой! Жестокая женщина, неужели ты не видишь, что я падаю в обморок?... Я полумертва, а вы меня бросаете!" Галлус сделал все, что мог; в своих стихах он не дал соперницы Ликорис, о которой так любовно пел и чье имя оставалось в фаворе среди

любительниц удовольствий. Спустя четыре с лишним века другая Ликорис вдохновила музу поэта Максимиана, который заслуживал того, чтобы его путали с Корнелием Галлусом, так же как его Ликорис путали с той, которую любил и о которой пел Галлус. Но этот Максимиан, посол Теодориха, был не более чем бессильным стариком, который жаловался на то, что является игрушкой своей госпожи, и укрывался в далеких воспоминаниях своей юности, чтобы согреть свое сердце и сделать себя менее смешным в собственных глазах: "Вот она, та прекрасная Ликорис, которую я слишком сильно любил, - говорил поэт, сетуя, - та, которой я отдал свое сердце и свое состояние! После стольких лет совместной жизни она отвергает мои ласки! Она удивлена, увы! Она уже ищет других юношей и других любовей; она называет меня немощным и дряхлым стариком, не желая вспоминать о былых удовольствиях, не думая о том, что это она сама сделала меня стариком!"

Друг настоящего Галла, ценитель прелестей настоящей Ликорис, великий поэт также посвятил первые вдохновения своей музы любви: можно сказать, что Овидий, кантор, законодатель искусства любви, научился своему ремеслу в ремесле куртизанок. Овидий принадлежал к роду Насо: выдающиеся носы были отличительной чертой и эротическим атрибутом мужчин этого рода. Фамилия *Насо* переходила от отца к сыну вместе с ужасным носом, прославившим одного из их предков. В этом отношении, как и во всех других, последний из Насонов не деградировал. Он был сластолюбцем, который с ранних лет начал жить в соответствии со своими вкусами: "Мои дни, - говорил он сам, вспоминая происхождение своего поэтического прозвища, - мои дни прошли в праздности; постель и безделье уже опустошили мою душу, когда желание доставить удовольствие юной красавице положило конец моей постыдной апатии!" Эта юная красавица не была, как принято считать, дочерью Августа, Юлией, вдовой Марцелла и женой Марка Агриппы; очевидно, это была простая куртизанка, которую он воспеваает под именем Коринна. У Коринны, как рассказывает сам Овидий, был муж, точнее, ленок (*lenone marito*); этот муж, как и все куртизанки, нечестно зарабатывал на жизнь галантностью своей жены. Овидий, который был не богаче, чем всегда были поэты, несомненно, радовал свою жену, но непременно вызывал недовольство мужа. Поэтому его положение в отношении Коринны было таким же, как у Тибулла в отношении Делии и Немезиды; только его репутация поэта ставила его выше других, и поэтому куртизанки соперничали за славу ради его любви и его стихов. Вполне вероятно, что он дал своей Коринне много соперниц, но не исполнил желания ни одной из них, поскольку Коринна была единственной, кто назван в элегиях, которые, несомненно, вдохновляла не она одна. Однако, чтобы объяснить эту необычность, не следует забывать, что Овидий написал пять книг элегий, а две из них сжег, исправляя оставленные им части. Как бы то ни было, мы никогда точно не знали, кем была эта таинственная Коринна, и этот секрет так хорошо охранялся во времена Овидия, что его друзья тщетно просили его раскрыть его, и не одна куртизанка, пользуясь благоразумием любовника Коринны, узурпировала псевдоним этой прекрасной неизвестной и публично выдавала себя за героиню песен поэта. Согласно одному из мнений, которое отнюдь не является наименее вероятным, Коринна была всего лишь воображаемым олицетворением нескольких куртизанок, которых Овидий любил одновременно или последовательно.

Если верить рассказу Овидия, любовь чудесным образом подготовила его к тому впечатлению, которое произвела на него встреча с Коринной: "Кто бы мог мне сказать, - спрашивал он себя, - почему моя кровать кажется такой жесткой? почему мое одеяло не может удержаться на моем ложе? почему эту ночь, которая показалась мне такой длинной, я провел, не вкусив сна? почему мои усталые конечности переворачиваются во всех направлениях, испытывая резкие боли?" Он видел Коринну, он любил ее, он желал ее. Он должен был быть с ней на одной из тех комессаций, где хорошая еда, вино, духи, музыка и

танцы благоприятствуют уму сердца и слабости чувств. Но муж Коринны, ее любовник, тоже должен был сопровождать ее, и ревность Овидия разгорелась еще до того, как обладание любовницей дало ему право ревновать ее. Поэтому он написал ей письмо с нежными наставлениями о том, как она должна вести себя во время ужина; он научил ее множеству маленьких любовных маневров, которые она, возможно, знала лучше него: "Когда твой муж будет лежать на ложе у стола, ты со скромным видом подойдешь и расположишься рядом с ним, и пусть тогда твоя нога тайком коснется моей". Он попросил ее передать ему чашку, из которой она пила, чтобы он мог приложиться губами к тому самому месту, которого касались ее губы: "Не позволяйте, - сказал он, - вашему мужу обнимать вас за шею; не кладите вашу очаровательную головку на его волосатую грудь; не позволяйте ему просовывать руку в ваше горло и осквернять кончик вашей груди; прежде всего не давайте ему ни одного поцелуя, потому что если вы дадите ему хоть один, я уже не смогу скрыть, что люблю вас. Эти поцелуи - мои! Я бы закричал, пришел и забрал их. Эти поцелуи, по крайней мере, я могу видеть; но ласки, скрывающиеся под скатертью (*quæ bene pallia celant*), - вот чего страшится моя слепая ревность. Не приближай свое бедро к ее бедру, не соединяй свою ногу с ее ногой, не смешивай свои нежные ступни с ее грубыми ногами". Но бедный любовник, создававший себе столько же мучений, сколько и предвкушавший, был огорчен и возмущен вольностями, которые муж, опьяненный вином, мог совершать в его присутствии и без ее ведома, не смея проронить ни слова: "Чтобы избавить меня от подозрений, - сказал он красавице, - убери от себя эту скатерть, которая была бы сообщницей того, чего я боюсь, потому что я сам двадцать раз испытывал это с моими любовницами".

Sæpe mihi dominiaëque meæ properata voluptas  
Veste sub injectâ dulce peregit opus.  
Hoc tu non facies; sed ne fecisse puteris,  
Conscia de gremio pallia deme tuo.

Овидий надеется в интересах своей любви извлечь пользу из пьянства и сна этого мужа, который шпионит за ними; но внезапно он понимает тщетность столь изысканных предосторожностей: когда трапеза закончится, муж уведет жену и будет распоряжаться ею без ограничений и свидетелей! Отдайся хотя бы нехотя, ты можешь, - болезненно кричит он, словно поддаваясь насилию. Пусть ваши ласки будут немые, и пусть Венера будет для него горькой!" Но уже на следующий день Коринна решила, что должна воздать дарителю советов должное; она пришла к нему домой, как раз когда он отдыхал от дневного зноя, растянувшись на ложе: "Вот идет Коринна, туника ее приподнята, волосы струятся по алебастровой шее. Как прекрасная Семирамида, говорят, идущая к брачному ложу; как Лаис, известная своими многочисленными любовниками. Я сорвал с нее одежду, которая нисколько не скрывала от меня ее красоты; но она сопротивлялась и хотела оставить тунику; но так как ее сопротивление было сопротивлением женщины, которая не хочет победить, то она вскоре без сожаления согласилась быть побежденной. Когда она предстала перед моими глазами без всякой вуали, я не заметил ни малейшего изъяна во всем ее теле! Какие плечи, какие руки я видел и трогал! Какое восхитительное горло мне дали сжать! Под этой безупречной грудью - какой отполированный, белый живот! Какие широкие бока, какие юные бедра! Зачем останавливаться на каждой детали? Я не видел ничего, что не заслуживало бы похвалы, и держал ее обнаженной, прижимая к своему телу. Кто не догадается об остальном? Мы оба заснули от усталости. Пусть у меня часто будут такие мерсыюшки!"

У него была любовница, но он еще не был счастлив: он ревновал; у него были соперники, которые дорого платили за счастье, за которое он не платил; он ссорился, он оскорблял, он

плохо обращался со своей Коринной; он бил ее! "Ярость заставила меня поднять на нее безрассудную руку, - говорит он, ненавидя себя, - теперь она плачет, та, которую я ранил в своем бреду!" Он никогда не простит себе этой жестокости: "Я имел ужасную смелость лишить ее лба волос, - рассказывает он, - и мой безжалостный ноготь избородил ее детские щеки. Я видел ее бледной, уничтоженной, ее лицо обесцветилось, как мрамор, который резец стачивает с гор Пароса; я видел, что черты ее лица безжизненны, а конечности дрожат, как лист тополя, колеблемый ветром, как слабый тростник, сгибающийся под легким дыханием зефира, как волна, поверхность которой морщится от дыхания Нотуса; ее слезы, долго сдерживаемые, бежали по щекам, как вода при таянии снегов!" У Коринны часто бывал старый сват по имени Дипсас, который использовал всевозможные уловки, чтобы вбить клин между ней и Овидием, чтобы по крайней мере удержать Овидия на расстоянии и продать мгновения, которые она украла у него, более богатым любовникам: "Скажи мне, - спросил Дипсас, усмехаясь, - что дает тебе твой поэт, если не несколько стихов? Сам бог стиха, укутанный в великолепный золотой плащ, перебирает гармоничные струны золотой лиры. Неужели тот, кто дарит вам золото, должен быть в ваших глазах выше великого Гомера? Поверьте, это весьма гениальная вещь". Овидий выслушал вероломные инсинуации этой отвратительной старухи, с трудом удержался от нападок на ее редкие белые волосы, заплаканные от вина глаза, изборожденные морщинами щеки и ограничился проклятиями в таких выражениях: "Пусть боги лишат тебя убежища, пошлют тебе несчастную старость, бесконечные зимы и вечную жажду!" Поэту понадобилось все его красноречие и, прежде всего, нежность, чтобы бороться с отвратительным влиянием Дипсаса, который стремился еще больше развратить наивную Коринну: "Проси у бедняка только заботы, услуг и верности, - писал он своей любовнице, которую оставил в задумчивости, - влюбленный может дать только то, чем владеет сам. Восхвалять в своих стихах прекрасных женщин, которых я считаю достойными, - вот моя судьба; той, которую я выберу, мое искусство сделает имя, которое никогда не умрет; ткани будут рваться, золото и драгоценные камни разбиваться, но слава, которую принесут мои стихи, будет вечной". Это соображение было небезразлично Коринне, которая гордилась тем, что на прогулках, в театре, в цирке ее называли музой Овидия.

Муж приставил к ней евнуха по имени Багоас, который сопровождал ее повсюду и никогда не позволял соблазнить себя, не посоветовавшись с хозяином. Овидию не удалось соблазнить Багоаса, но он покориł двух парикмахеров Коринны - Напе, который доставлял ей письма, и Кипассиса, который тайно вводил ее в дом. Последний был красив и хорошо сложен; однажды Овиде заметил это, ожидая свою госпожу, и сократил ожидание, потакая всему, что позволял ему Кипассис. Коринна, вернувшись, заметила в спальне какой-то обвинительный беспорядок; румянец Кипассиса, казалось, подтвердил подозрения, которым не противоречило выражение лица Овидия: "Вы подозреваете ее в том, что она испачкала мной постель своей госпожи!" - воскликнул он, пытаясь вернуть себе самообладание. Да сохранят меня боги, если желание быть виновным когда-нибудь придет ко мне, чтобы я не был виновен с женщиной презренного положения! Какой свободный мужчина захочет познать рабыню и сжимать в объятиях тело, изборожденное плетью!" Ему не составило труда убедить Корина, и в тот же вечер он написал Кипассису письмо с просьбой о новой встрече. Коринна, правда, уже не стеснялась, и не раз любовнику казалось, что она знает больше, чем он ей преподавал: "Такие уроки можно давать только в постели (*illa nisi in lecto nusquam potuere doceri*), - нежно говорил он себе, наслаждаясь чуждым его привычкам поцелуем, - я не знаю, какой господин получил бесценную цену за такие уроки!"

Коринна держалась от него на расстоянии под разными предлогами - религии, здоровья, настроения. Овиде искал причину своего отчуждения в новой галантности и не спешил с несколькими камеристками, которые были не менее красивы, чем их хозяйка, но с которыми

сердце не было в опасности. Вдруг он узнал от этих девушек, что Коринна сделала аборт и что этот аборт поставил под угрозу ее жизнь; Овидий был возмущен одиозным нападением, которое она совершила на себя: "Та, кто первой попыталась вытолкнуть из своих боков нежный плод, который они несли, - сурово сказал он ей, - заслужила смерть жертвой своего собственного оружия. Что! Чтобы ваш живот не был омрачен несколькими морщинами, вы должны опустошать печальное поле любовных битв!" После этого события Коринна удвоила свое внимание и нежность к поэту; она никогда не была с ним достаточно часто или достаточно долго; евнух Багоас закрывал глаза или отворачивал голову; муж не появлялся; собаки больше не лаяли: они посылали за отсутствующим Овидием, они почти задерживали его; они не позволяли ему просить о чем-либо, не говоря уже о том, чтобы желать чего-либо. Он устал от монопольного владения своей госпожой: "Спокойная и слишком легкая любовь становится для меня безвкусной, - сурово говорил он ей, - она для моего сердца - то же, что слишком безвкусное блюдо. Если бы бронзовая башня не заключила в себе Даная, Юпитер не сделал бы ее матерью". Коринна была поражена этим капризным и грубым выражением; у нее не было сил ответить, она молча плакала: "Что мне нужно, - сказал ей Овидий еще более сурово, - что мне нужно от покладистого мужа, от ленного мужа?" Коринна поняла, что ее больше не любят.

И действительно, вскоре она получила неопровержимое доказательство холодности Овидия: однажды ночью, целую ночь, он замерз и умер под поцелуями, которые она на него обрушила. Овидий был удивлен и встревожен этой внезапной неспособностью: "Не так давно, - сказал он себе, - я дважды заплатил свой долг белым Чильдисом, трижды - белым Пито, трижды - Либасом, и, чтобы удовлетворить требования Коринны, я помню, что смог совершить девять нападений в течение короткой ночи (*me memini numeros sustinuisse novem*)". Но чем больше Овидий искал в себе, тем меньше находил себя: "Зачем ты играешь со мной?" - вскричал Корин, красный от стыда и злобы. Кто заставил тебя, бедный глупец, прийти и лечь на мое ложе против твоей воли? Должно быть, какая-нибудь колдунья из Эа околдовала тебя, завязав шерсть в узел; если нет, ты выйдешь обессиленным из объятий другой (*aut alio lassus amore venis*)!" При этих словах она вскочила с постели, надела тунику и убежала босиком; чтобы скрыть от жен оскорбление, нанесенное ей любовником, она все же совершила омовение (*dedecus hoc sumptâ dissimulavit aquâ*) и уединилась в отдаленной комнате, словно в крепости. Овидию не хотелось заглаживать вину за позорное поражение, и он удалился, не осмелившись вновь появиться на поле боя. Как только он ушел, Коринна распорядилась, чтобы его больше не принимали, и на следующий день дверь перед ним закрылась. Он жаловался, настаивал, писал умоляющие стихи невидимому Корину; ему сказали, что отныне вместо стихов у него будут просить деньги. Он стал бродить по дому куртизанки, и парикмахер пришел рассказать ему, что в то самое утро Коринна приняла римского капитана, прибывшего с войны в Азии, покрытого ранами и нагруженного добычей. Овидий, уязвленный тем, что ему отказали, чтобы освободить место для новоприбывшего, не сразу решился постучать в закрытую для него дверь. Евнух Багоас пришел открыть дверь и пригрозил позвать собаку, охранявшую дом. Овидий нападал на богатых солдат, у которых было золото, и на женщин, которые предпочитали этих крепких воинов бедным, изнеженным поэтам; он клял женщин и солдат перед богами-мстителями; он сравнивал настоящий золотой век, когда любовь нельзя было продать, с нынешним веком железа, когда все, даже любовь, покупалось за золото: "Сегодня женщина, - с горечью сказал он, - даже та, что обладает неистовой гордостью сабинянок, повинуется, как рабыня, тому, кто может дать многое. Ее опекунша запрещает мне приближаться; она боится гнева своего мужа за меня: но, если я захочу дать золото, муж и евнух передадут мне весь дом. Ах, если есть бог, мстящий за поруганных любовников, пусть он обратит в прах такие злополучные сокровища!"

Овидий еще не излечился от своей любви: напротив, это сопротивление только усилило ее. Он проводил ночи, лежа на пороге Коринны; он стонал; он повторял ее имя со слезами, вздохами и молитвами. Не раз его утешала прекрасная Кипассис, приходившая согреть его и принести питье. Но не она могла заставить его забыть Коринну, и поэт хотел умереть перед этой непреклонной дверью. Однажды утром, перед рассветом, дверь тихонько открылась, и из нее вышел человек. Что! - вскричал разочарованный влюбленный, - что! Я мог, когда вы сжимали в объятиях не знаю какого любовника, я мог, как раб, стать стражем двери, которая была для меня закрыта! Я видел, как он, этот любовник, покидал ваш дом, усталый и с шагом, похожим на шаг ремесленника, измученного службой; но я страдал от того, что видел его, еще меньше, чем от того, что видел его сам!" Овидий считал себя свободным от любви, которая теперь казалась ему позором; но он не мог забыть Коринну, неверную Коринну, Коринну, предавшуюся продажным ласкам, Коринну, продаваемую и торгуемую, как торговка на перекрестке!

Он покинул Рим, чтобы искать забвения в отсутствии; он удалился в страну фалисков, где родилась его жена, и ждал, пока умолкнет эхо его сердца; но имя Коринны доносилось до него сквозь шум в воздухе и в деревне. Он вернулся в Рим и обнаружил себя более влюбленным, чем когда-либо, за дверью Коринны. Его друзья выбежали ему навстречу: они присоединились к нему; они окружили его; они рассказали ему, что Коринна стала бесстыдной куртизанкой и что с каждым днем она катится вниз по склону порока и общественного презрения. Она повсюду появляется со своими любовниками; она носит непристойные костюмы на улицах и в театре; она дарит и принимает поцелуи на глазах у всех и на глазах у своего опозоренного мужа; ее волосы часто растрепаны; на ее шее видны следы укусов; ее белые руки в синяках; о ней рассказывают множество признаков наглости, скупости и нахальства. Овидий отказывался верить услышанному; ему показали, до какой степени деградации дошла его любовница. Он написал ей в последний раз: "Я не утверждаю, строгий цензор, - говорил он ей, - что ты целомудренна и скромна; но я прошу тебя, чтобы ты хотя бы попыталась обмануть меня в истине. Не виновна та, кто может отрицать приписываемую ей вину; только признание, которое она делает, может сделать ее позорной. Какая ярость - открывать дневному свету тайны ночи, открыто говорить о том, что делаешь втайне! Прежде чем отдаться первому встречному, меркантильная женщина хотя бы ставит дверь между собой и публикой, а вы, вы повсюду разглашаете поношение, которым прикрываетесь, и сами обличаете свои постыдные недостатки!" Но Коринна была потеряна для себя, как и для Овидия; она ступала на самый низкий путь проституции.

Однако Овидий не вычеркнул имя Коринны из стихов, посвященных ей; под этим именем он любил ее, под этим именем он воспевал ее: "Ищите нового поэта, богиня любви!" - восклицал он, завершая работу над своими элегиями. На самом деле, хотя у него по-прежнему были любовницы, он не пел ни об одной из них, потому что ни одна из них не вдохновляла его на любовь. Однако он как никогда жил в близости с куртизанками и, чтобы вознаградить их за доставленное ему удовольствие, под их взглядом и по их вдохновению сочинил поэму *L'Art d'aimer*, этот кодекс любви и сладострастия. В своих многочисленных стихах он всегда уделял много места своим любовным воспоминаниям, но не признался ни одной из своих любовниц, называя ее в стихах, написанных для нее; это дало повод предполагать, что у него была тайная связь с дочерью императора, и что он довольствовался своим счастьем, не разглашая его. Его изгнание приписали этой прелюбодейной страсти, которую Август не решился наказать иным способом; по другим слухам, циркулировавшим в Риме, Овидий застал Августа за кровосмешением с собственной дочерью. Как бы то ни было, нежный

Овидий, сосланный на берега Понт-Эвксинского моря среди варваров, умер от горя, попытавшись уничтожить все свои произведения, даже элегии "Амуры": Он только что узнал из писем из Рима, что Коринна, старая и морщинистая, одетая в выцветшую и заплатанную тогу, была служанкой в кабаре, куда лодочники Тибра ходили развратничать: "Лучше бы она стала фокусником или парфюмером!" подумал он с изумлением. И, прижав к ледяным губам кольцо с волосами Коринны, он распрощался с призраком.

---

## ГЛАВА XXVII.

Краткое содержание - Марк Валерий Марциал, поэт, потворствовавший распутству Нерона и его преемников; огромная популярность "Эпиграмм" Марциала; ответ Марциала своему критику Корнелию, упрекавшему его в непристойности поэзии. - Кто обычно становился жертвой сарказма Марциала - Непостоянство нравов поэта - Позорная эпиграмма, которую Марциал имел наглость адресовать своей жене Клодии Марцелле. - Обычные читатели произведений Марциала - Книготорговец Секунд - Портреты куртизанок - Лесби - Бесстыдный либертинизм этой проститутки - Бродячие волки Хионе и Гелида - Бесславная старость Лесби. - Эпиграмма Марциала на Лесби - Хлоя - Жадность Луперка, любовника этой куртизанки - Плакальщица семи мужей - Таис - Оскорбления Марциала в адрес этой куртизанки, которая его презирала. - Филенис и ее наложница Диодора - ужасная развращенность Филенис - эпитафия, которую Марциал написал этой позорной проститутке - Гала - несправедливость Марциала по отношению к этой куртизанке. - Противоречивые эпиграммы Марциала против этой куртизанки. Лидия - Как Марциал вел себя с Павлом, который попросил у него стихи против Лизики - Отвращение и брезгливость Марциала к старым проституткам - Фабула - Лиля - Ветустилла - Галлия - Сауфея - Марулла - Фелесилла. Понтия - Лекания - Лигелла - Лирис - Фесценния - Сения - Галла - Эгле - ложные греческие куртизанки - Целия - эпиграмма Марциала против этой так называемой дочери Греции - Ликорис - Глицера - Кион и Флогис. Грубый ответ Марциала на милостивое приглашение к любви, посланное ему Поллой; честное исповедание веры, которое он с печальной смелостью обратил к своей жене Клодии Марцелле; возвращение в Испанию; как Клодия Марцелла убедила Марциала оставить Рим; искупительная эпиграмма Марциала; его сельский конец. - Почетное выступление Марциала против Лупуса. - Петроний. - Его "Сатирикон" - картина нечистых нравов императорского Рима. - Аскильта и Гитон. - Жрица бога Энотея и ее спутник Проселен. - Сваха Филомена. - Эвмолп. - Эпиграммы Петрония. - Сестория. - Мартия. - Делия. - Аретуза. - Басилисса. - Самоубийство Петрония.

После Овидия нам придется дойти до Марциала, чтобы вновь открыть прерванный род куртизанок Рима; более полувека поэзия молчала на их счет, но мы можем предположить, что они не ждали Марциала, чтобы рассказать о них, и что, если не хватает поэтов-эротиков, чтобы описать поступки и действия этих *знаменитых женщин*, вина не лежит на паузе в развитии античной проституции. Отнюдь, преемники Августа взяли под свое покровительство деморализацию римского общества и с наглостью подавали пример всех утонченностей разврата. Общественная мораль была настолько глубоко изменена, что ни один поэт не стал бы так нелепо воспевать эпос своих любовных походов, как это делали Тибулл, Проперций и Овидий. Точно так же ни одна куртизанка не стала бы тратить свою молодость на создание сюжетов для элегий ревнивому влюбленному поэту. Ревность, как и любовь, казалось, вышла из моды, а люди жили слишком быстро, чтобы посвящать целые годы одной страсти, продолжительность которой делала ее почти респектабельной и

которая была как бы частью супружеского наложничества. Когда Марк Валерий Марциал, родившийся в Бильбилисе (Испания) около 43 года н. э., в возрасте семнадцати лет приехал в Рим искать свою судьбу, он старался не подражать поэтам любви, которые нашли Мецената в век Августа: напротив, он стал снисходительным поэтом распутства времен правления Нерона и последующих императоров, сменявших друг друга до Траяна. Своим литературным успехом Марциал был обязан самой непристойности своих эпиграмм.

Он, по-видимому, взял за образец позорные эпиграммы Катулла, который писал их, по крайней мере, с некоторой грубой наивностью; Марциал же, чтобы угодить развратникам императорского двора, практиковал ту же разнузданность, что и самые бесстыдные поэмы своего времени; он даже вложил в них чудовищный поиск разврата и даже не накинул вуаль приличного выражения на безнравственные образы. Овации, которые он получал со всех сторон, были его оправданием и поощрением; каждая новая книга его эпиграмм, которую просили и с нетерпением ждали все читатели, знавшие наизусть предыдущие книги, множилась до бесконечности в руках книготорговцев, и переписчики, готовившие богато украшенные и переплетенные экземпляры, не могли удовлетворить нетерпение покупателей. Такой восторженный прием, оказанный развратным стихам, конечно, не был для Марциала приглашением изменить стиль и тон. Поэтому, когда строгий цензор посоветовал ему наложить несколько оговорок на слова, если не на идеи, он не принял совет, как не принял и упрек, и у него была тысяча готовых причин показать своим критикам, что он хорошо сделал, сочинив бесчестные стихи, которые они хотели удалить из его произведений: Ты жалуешься, Корнелий, - сказал он одному из своих цензоров, - что мои стихи недостаточно суровы и что магистр не захочет читать их в своей школе; но эти опускулы не могут нравиться, как мужья своим женам, если у них нет ментула... Таково условие, предъявляемое к счастливым стихам: они не могут быть подходящими, если не щекочут чувства. Поэтому отбросьте свою строгость и простите мне мое шутовство, мое веселье, умоляю вас. Откажись от порицания моих книг: нет ничего более презренного, чем Приапе, превратившийся в жреца Кибелы".

За Марциала голосовали императоры и либертины; он мало заботился о голосах людей со вкусом и довольствовался неотразимой популярностью своих самых непристойных эпиграмм, которые, проходя через уста куртизанок и гитонов, постепенно достигали ушей распутного сброда. Отсюда ослепительная слава, которую поэт приобрел благодаря грязи, не оправданной остроумием и злобой, которые он умел в нее вложить; слава, почти затмившая Вергилия и Горация и превзошедшая сатирические триумфы Ювенала. Действительно, вся скандальная хроника Рима была изложена, так сказать, во множестве маленьких кусочков, легко запоминающихся и распространяемых; на этих кусочках стихов поэт под прозрачными псевдонимами выгравировал имена персонажей, которых он высмеивал или клеймил. Сколько бы он ни заявлял, что не злоупотребляет настоящими именами и что в своих шутках всегда уважает людей, он не был неблагодарен за серьезные оскорбления, нанесенные им множеству людей, которых все узнавали на портретах, где они были не названы, но написаны с отвратительной правдой. Правда, он не осмеливался порочить почтенных людей или преследовать вероломной клеветой личную жизнь граждан. Обычными жертвами его сарказма всегда были нечестивые поэты, наглые куртизанки, гнусные проститутки, преступные ленники, блудные и скупые люди, сумасшедшие и потерянные женщины. Поэтому он часто говорит на языке презренных персонажей, которых он выводит на сцену и на скамью подсудимых; он старается предупредить своих читателей, что они не найдут у него ни сдержанности, ни благоразумия в выражениях: "Эпиграммы, -

говорит он, - созданы для завсегдатаев "Жо-Флора". Так что пусть Катон не заходит в наш театр, а если и заходит, то пусть смотрит!"

Марциал, несомненно, посещал дурное общество, которое он изображал в столь язвительных тонах: в двух-трех отрывках он дает понять, что его нравы были не намного более урегулированы, чем те, которые он осуждает в других; ведь он не ограничивался скитаниями среди куртизанок: он иногда предавался распутству, которое не оправдывалось общей развращенностью его времени, и которое он даже пытался оправдать в ответ на горькие упреки своей жены Клодии Марцеллы. И все же, несмотря на эти противоестественные привычки к разврату, он не раз в своих эпиграммах подчеркивал честность и чистоту своей жизни. Так ли положительно он оценивал ее, можно судить по тому, как выгодно он сравнивал свои личные нравы с нравами своих современников, особенно с нравами императоров, которым он посвящал свои книги: "Стихи мои свободны, - говорил он Домициану, - но жизнь моя непорочна: (*Lasciva est nobis pagina, vita proba est*)". Чтобы объяснить это кажущееся противоречие, достаточно датировать произведения, в которых Марциал хвастается своей нравственностью, и те, в которых он так хорошо использует ее: первые относятся к его молодости, вторые - к среднему возрасту. Не следует забывать, что первые одиннадцать книг его собрания представляют собой промежуток в тридцать пять лет, которые он провел, почти без перерыва, в Риме. В двадцать пять лет Марциал мог жить целомудренно, лаская в своих стихах чувственность своих покровителей. В пятьдесят он стал распутником, наблюдая за распутством своих друзей, и, в сущности, заметно, что в последних книгах своих эпиграмм он уже не смеет претендовать на репутацию целомудренного человека, которую давно потеряли его развратные сочинения. Именно в одиннадцатой книге он имел наглость вставить отвратительную эпигramму, адресованную своей жене, которая застала его с возлюбленной и была бы готова пожертвовать собой, чтобы отучить его от этих постыдных вкусов: "Сколько раз Юнона делала Юпитеру тот же упрек?" Марциал ответил смехом и, пользуясь примером богов и героев, упорствовал в своих порочных привычках и отбивался от угрюмых поблажек жены:

Parce tuis igitur dare mascula nomina rebus;  
Teque, puta cunnos, uxor, habere duos.

Поэт, правда, не питал иллюзий относительно характера своего сборника и прекрасно понимал, для каких читателей он сочиняет стихи, всегда свободные и часто непристойные. Ни одна страница моей книги не является целомудренной, - откровенно говорил он, - меня читают молодые люди, девушки легкого нрава, старики, которые играют с любовницей. Затем он сравнивает себя со своим подражателем Косконием, который, как и он, писал эпиграммы, но настолько целомудренные, что в них никогда не было видно ни одного нескромного облачка (*inque suis nulla est mentula carminibus*); он хвалит его за это целомудрие, но говорит ему, что такие ханжеские сочинения могут быть предназначены только для детей и девственниц. Поэтому он не пытался подражать Косконии и насмехался над почтенными матронами, которые тайком читали его произведения и обвиняли его в том, что он не писал для честных женщин: "Я писал для себя", - говорил он им без обвиняков. Гимназия, бани и стадион находятся на этой стороне улицы, так что уйдите с дороги! Мы раздеваемся: остерегайтесь увидеть голых мужчин? Здесь, увенчанная розами, после выпивки Терпсихора отрекается от скромности и, опьянев, уже не понимает, что говорит: она прямо и откровенно называет то, что Венера торжественно принимает в своем храме в августе, то, что сельский житель ставит часовым посреди своего сада, то, на что целомудренная дева смотрит, лишь поднеся руку к глазам". Эта эпиграмма предупреждает нас, что стихи Марциала не искать матронам, как обычным читателям, и что для того, чтобы

насладиться этим развратом идей и выражений, нужно было прожить жизнь распутников и их любезных сообщников. Полное собрание поэта комедий было в библиотеке каждого сладострастника, а поскольку оно имело такой формат, что его можно было целиком держать в руках, его читали везде: в банях, в литаврах, за столом, в постели. Книготорговца, продававшего книгу по очень низкой цене, звали Секундус, он был вольноотпущенником ученого Луценция и жил за Храмом Мира и рынком Палласа; Этот книготорговец продавал также все развратные книги Катулла, Педо, Марса и Гетулика, которые были не менее востребованы молодыми и старыми развратниками, но которые куртизанки, похоже, ценили не так высоко, как элегии Тибулла, Проперция и Овидия. Во все века женщины, даже самые развратные, были чувствительны к изображению нежной и тонкой любви. Тем не менее, Марциал предложил своим читателям интерес к хронометражу, который не смог придать своим стихам ни один другой поэт: это была, так сказать, галерея портретов, настолько похожих, что моделям достаточно было показать себя, чтобы их сразу узнали, и настолько злонамеренно тронутых, что порок или насмешка оригинала стали пословицей вместе с именем, которое поэт прикрепил к эпиграмме. Среди этих портретов, которые редко бывают лестными, мы выберем портреты куртизанок, которых Марциал развлекался тем, что рисовал их, часто по несколько раз и в разные периоды, чтобы лучше судить об изменениях, которые возраст и судьба вносили в существование или личность этих созданий; Мы с отвращением оставим в стороне большинство портретов синед и гитонов, которых римская проституция ставила на одну ступень с женщинами удовольствия, и которых Марциал не побрезговал включить вместе с ними в свою эротическую и сатирическую коллекцию.

Вот Лесби; она не Катулла; у нее нет прирученного воробья, смерть которого она оплакивает, но у нее есть любовники, и все это знают, потому что она открывает окна и занавески, когда она с ними; она любит публичность; тайные удовольствия для нее безвкусны (*nec sunt tibi grata gaudia si qua latent*); Поэтому ее дверь никогда не закрывается и не охраняется, когда она предается своей похоти; она хотела бы, чтобы весь Рим смотрел на нее в этот момент, и ее не беспокоит и не тревожит, если кто-то входит, ибо свидетель ее распутства доставляет ей большее удовольствие, чем ее любовник; для нее нет большей радости, чем быть застигнутой на месте преступления (*deprehendi veto te, Lesbia, non futui*). "По крайней мере, возьмите несколько уроков скромности у Шионе и Эллиды!" - возмущенно воскликнул Марциал. Шионе и Эллида были бродячими волками, которые прятали свои проступки в тени гробниц. Эта Лесби, повзрослев, достигла последней степени проституции и посвятила себя в особенности мерзостям развратного искусства (liv. II, epigr. 50). Она стала уродливой и, несмотря на предостережения зеркала, удивлялась, что ее бывшие любовники не сохранили к ней влечения и пылкости. По этому поводу она порицала ледяную лень Марциала, который в конце концов сказал ей в оправдание своего упрямого бессилия: "Твое лицо - твой жесточайший враг" (*contra te facies imperiosa tua est*). Еще долгое время после этого Лесбии, упираясь в воспоминания, которые возвращались к ней в разгар ее покинутости, с гордостью вспоминала многочисленных поклонников, которые у нее были; она заставляла их предстать с их именами, качествами, характерами и лицами перед Ареопагом старых свах, которые слушали ее с усмешкой: "Я никогда не давала своих милостей бесплатно!" (*Lesbia sejurat gratis nunquam esse fututam*), и пока она говорила о прошлом, носильщики, которых она теперь поочередно подкупала, дрались у ее дверей, чтобы узнать, кому из них заплатят в эту ночь.

Вот Хлоя; она не Горация; она даже не заботится о том, чтобы вспомнить о грациях своего знаменитого тезки; она уже не молода, но все еще галантна; она, как и Лесби, утешает себя тем, что ее больше не ищут, доставляя себе удовольствие за свои деньги. Но ей все еще нужно, чтобы привыкнуть к презрению, которое она получает повсюду, когда еще

притворяется, что ей платят. Марциал сказал ей жестко: "Я могу обойтись без твоего лица, и шеи, и рук, и ног, и сосков, и *натов*; наконец, чтобы не утомлять себя описанием всего, без чего я могу обойтись, Хлоя, я могу обойтись без всего твоего лица". Но Хлоя была богата и, в свою очередь, могла обойтись без цены своих галантностей; она даже платила за них с щедростью, довольно редкой среди равных ей. Она влюбилась в молодого человека, у которого не было ничего, кроме красоты и плеч. Марциал назвал его Луперком, в честь жрецов Пана, которые бегали голыми по улицам Рима во время праздников Луперкалий и, как говорили, полосками козьей шкуры делали плодовитыми всех женщин, которых они касались. Луперк Хлои был наг и беден, как луперк, и Хлоя разделась догола, чтобы одеть и украсить его; она подарила ему ткани из Тира и Испании, алый плащ, шерстяное платье из Тарентума, сардоины из Индии, изумруды из Скифии и сотню только что отчеканенных золотых монет. Она ни в чем не могла отказать этому жадному, трудолюбивому любовнику, который все время просил. Горе тебе, стриженная овца!" - кричал на нее Марциал. Горе тебе, бедная девушка! Твой Луперк разденет тебя догола!" Предсказание не сбылось. Хлоя заработала достаточно, чтобы вернуть своим любовникам часть полученного от них золота; она не скупилась на них, но, поскольку она платила им, а не получала, ей было труднее угодить; она пожирала, как личинка, молодость и здоровье своих пансионеров: У нее их было семеро, которые умерли один за другим, и все от одной и той же причины; она соорудила для них очень почетные могилы с надписью, в которой наивно говорила: "Это Хлоя сделала эти могилы." Она стала известна только как *Плакальщица семи мужей*.

Марциал, надо признать, не всегда был беспристрастен в своих эпиграммах; так, оскорбления, которые он адресует куртизанке Таис, вызваны лишь приступом личной неприязни: здесь он обвиняет Таис в том, что она никому не отказывает и отдается всем желающим, как будто это самая простая вещь в мире (Liv. IV, ep. 12), а там он злорадствует над отказами Таис, которая сказала ему, что он слишком стар для нее (Liv. IV, ep. 50). Таис, несомненно, не захотела сдаваться перед позорным доказательством его мужественности, и он отомстил ей самым отвратительным портретом, который когда-либо был написан с женщины: "Таис пахнет хуже, чем старая бочка скупердя, разбитая на улице; чем коза, только что занимавшаяся любовью; чем пасть льва; чем шкура собаки, сожженной в предместье за Тибром; чем зародыш, гниющий в яйце, снесенном до срока; чем амфора, зараженная испорченной рыбой". Чтобы нейтрализовать этот запах другим, каждый раз, когда Таис раздевается, чтобы принять ванну, она мажет себя псилотрумом, или присыпает мелом, смоченным в кислоте, или три-четыре раза натирает себя мазью из жирных бобов. Но когда ей кажется, что она избавилась от зловония тысячью ухищрений, когда она сделала все, Таис все равно пахнет Таис (*Thaïda Thaïs olet*). Эта ужасная картина еще менее отталкивающая, чем та, что касается Филениса, против которого у Марциала, несомненно, были другие, более реальные и серьезные претензии. Филенис, к тому же, была не в том возрасте, чтобы вдохновлять капризы, ведь поэт заставляет ее умереть почти такой же старой, как кумская сивилла. У нее был муж, вернее, наложник, по имени Диодор, который, по-видимому, отличился в какой-то далекой экспедиции и, возвращаясь в Рим, где его ждали почести триумфа, потерпел кораблекрушение в Греческом море: Ему удалось выплыть, и Марциал приписывает это небывалое счастье непристойной клятве Филенис, которая, чтобы добиться от богов возвращения своего Диодора, пообещала Венере простую и откровенную девушку, каких любят целомудренные сабинянки (*quam castæ quoque diligunt Sabinæ*). Эта Филенис, своего рода вираго, гордившаяся тем, что она наполовину мужчина, питала необузданную страсть к женщинам: "В своих буйствах она заходила так далеко, - говорит Марциал, - что за один день пожирала одиннадцать молодых девушек, не считая юношей". В свернутом платье она играла в паремии и, натирая конечности желтым порошком, бросала тяжелые свинцовые массы, которыми управляли атлеты; она боролась с

ними и, вся измазанная грязью, получала плети от такого же мастера палестры, как и они. Она никогда не ужинала, не садилась за стол, пока не извергала из себя семь мер вина и не считала себя вправе проглотить еще столько же, съев шестнадцать итифаллических буханок. Затем она предавалась самому грязному сладострастию под предлогом того, что до конца ведет себя как мужчина (*Non fellat: Putat hoc parum virile; sed plane medias vorat puellas*). Тем не менее, эта отвратительная гладиатриса была и фокусницей, и свахой; она обладала звенящим голосом и производила больше шума, чем тысяча продаваемых рабов и стая журавлей на берегу Стримона: "Ах, какой язык умолк!" - воскликнул Марциал, когда смерть забрала ее от гимнастических упражнений, колдовства и позорного ремесла. "Да будет земля светла для тебя! гласит эпитафия, которую дал ей поэт: пусть тонкий слой песка покроет тебя, чтобы собаки могли раскопать твои кости!"

Филенис, вероятно, вредила Марциалу в его любовных делах; ведь, судя по ее портрету, мы не можем предположить, что он когда-либо видел ее лучшим свете; но мы можем быть уверены, что он не всегда был так пренебрежителен к Галле, которую он больше не щадит; Яростно оскорбив ее, высмеяв ее дряхлость и запущенность, он переходит к признанию, свидетельствующему о его несправедливости по отношению к этой куртизанке. Он говорит, что она брала за ночь 20 000 сестерций (около 5 000 фр.), "и это было не так уж много", как он любит признаваться. Через год она просила всего 10 000 сестерций: "Это дороже, чем в первый раз!" - подумал Марсьяль, который не стал заключать сделку. Через полгода она опустила до 2 000 сестерций: Марциал предложил только тысячу, которую она не приняла; но еще через несколько месяцев она пришла предложить себя за четыре золотые монеты. Марциал, в свою очередь, отказался. Галла приняла вызов и показала себя щедрой: "Давай за сто сестерций", - сказала она. Марциал, который ничуть не завидовал, все же счел сумму непомерной. Галла надулась и отвернулась от него. Однажды она встретила его; он только что получил спортулу в 100 квадрантов или 25 фунтов: она захотела получить эту спортулу и взамен предложила то, что просила раньше - 20 000 сестерций. Марциал отрывисто ответил, что спортула предназначена для его возлюбленной, и ушел. Галла не держит зла, она нашла Марциала и хочет отдать ему все даром: "Нет, слишком поздно!" - отвечает капризный поэт. Можно ли верить на основании этой эпиграммы, что Галла за несколько лет стала такой презренной и непохожей на себя? Марциал сначала изображает ее вышедшей замуж за шесть или семь гитонов, чьи хорошо причесанные волосы и бороды соблазнили ее и обманули ее любовные ожидания:

Deindè experta latus, madidoque simillima loro  
Inguina, nec lassâ stare coacta manu,  
Deseris imbelles thalamos, mollemque maritum.

Марциал посоветовал ей компенсировать это, выбрав одного из этих грубых, крепких и волосатых мужчин, говоривших только на языках Фабия и Курия; но он предупредил ее, чтобы она не доверяла внешности, потому что среди них были и евнухи: "Трудно, Галла, выйти замуж за настоящего мужчину?" - сказал он ей, насмехаясь. Оправдывают импотента, одобряют женоподобного, когда видят, как ухаживают за Галлой, которая была не более чем тенью себя прежней: "Пока ты дома, твои волосы отсутствуют и завиваются в лавке в районе Субурра; ночью ты кладешь зубы, как и шелковое платье, и ложишься спать, намазанная сотней мазей, и твое лицо не спит с тобой (*neccies facies tua tecum dormiat*)". Она всегда жалела, что осталась глуха к предложениям Марциала, и искала случая помириться с ним; она обещала ему чудеса, тысячу раз дразнила его; но поэт, обиженный, был глух (*mentula surda est*) и не восстановил своего прежнего расположения к этому морщинистому лицу,

этим увядшим яблокам и этим седеющим волосам, способным внушить скорее уважение, чем любовь (*cani reverentia cunni*).

Кажется, ему доставляет удовольствие кусать старых любовников, и он не щадит тех, кто не щадил его. Так, показав нам с пугающим цинизмом Филлиду, стремящуюся удовлетворить сразу двух любовников (кн. X, эп. 81), он не скрывает, что его чувства больше не говорят лицом к лицу с этой Филлидой, которая называет его самыми нежными именами, самыми страстными поцелуями, самыми пылкими ласками и которая не в состоянии пробудить его от оцепенения (Liv. XI, эп. 29). Несомненно, из иронии он показывает ей более надежный способ воздействия на молодого человека, какой бы старой она ни была; он говорит ей, что она должна сказать: "Вот, вот сто тысяч сестерций, земля в полном владении на склонах Сетии, вино, дома, рабы, золотая посуда, мебель!" Итак, эта Филлида была очень богата, если Марциал не использовал приятную гиперболу для выражения безумных обещаний, которые старые женщины давали своим любовникам в разгар сладострастия. Как бы то ни было, Филлис или другая женщина с таким же именем появляется вновь (Liv. XI, ер. 50), и Марциал, который уже не оскорбляет ее, а, кажется, умоляет, жалуется на ее ложь и хитрость: "Иногда это ваша хитрая субетта, которая приходит оплакивать потерю вашего зеркальца, кольца или серьги; иногда это контрабандные шелка, которые можно купить по дешевке; иногда это духи, которыми мне нужно наполнить вашу кассолетту; То это амфора старого, заплесневелого Фалерна, чтобы искупить бессонницу перед болтливой ведьмой; то чудовищный морской окунь или двухфунтовая кефаль, чтобы угостить богатого друга, которому ты даешь ужин. Из скромности, о Филлис, будьте правдивы и справедливы одновременно: я не отказываю вам ни в чем, не отказывайте мне в большем?" Как эта Филлис, чья старая рука только что была такой холодной, вдруг превратилась в прекрасную женщину, которую мы желаем и стремимся ублажить любой ценой? Метаморфоза продолжается, и Марциал находится на пике своих желаний: "Прекрасная Филлис целую ночь предавалась всем моим капризам (*se præstitisset omnibus modis largam*), а утром я думал о том, какой подарок ей сделать: фунт духов от Космуса или Никероса, или хороший груз испанской шерсти, или десять золотых монет в чучеле Цезаря. Филлис прыгает мне на шею, ласкает меня, целует так долго, как голуби во время любовных утех, и заканчивает тем, что просит у меня амфору вина". Неужели Филлида претерпела новое превращение, которое было ему невыгодно, и Марциал осознал, что слишком поспешно отказался от всего того плохого, что говорил о ней, прежде чем овладеть ею. Все объясняется лучше, если под именем Филлис подразумеваются две или три разные куртизанки, к которым Марциал относился совершенно по-разному, начиная с презрения, проходя через любовь и доходя до бесчувствия.

Другие куртизанки, встречающиеся то тут, то там в двенадцати книгах эпиграмм Марциала, появляются не более двух раз, а часто и вовсе один раз; но не стоит утверждать, что они произвели менее яркое и продолжительное впечатление на подвижный и прихотливый ум поэта. Мы никогда не должны принимать за чистую монету его резкие слова, обращенные к ним, которые, возможно, были не более чем угрозой войны, чтобы ускорить подписание мирного договора. Так, в первый раз, когда он нападает на бедную Лидию (Liv. XI, ер. 21), он изображает ее неспособной внушить любовь и доставить удовольствие (*Lydia tam laxa est, equitis quam culus aheni*); он доводит свое распутное воображение до самых чудовищных глупостей, и можно было бы остаться в полной уверенности, что он и не думает пересматривать свои опрометчивые суждения; но это, правда, было лишь несколько жестокое вступление: Его чувства изменятся, как только он увидит Лидию вблизи, как только он признает в ней одни качества, которые подразумевают другие; он не уступает по всем пунктам и продолжает войну, чтобы не показалось, что он слишком рано опускает оружие:

"Никто не лжет, Лидия, когда говорит, что у вас красивый цвет лица, если не красивое лицо. Это правда, особенно если вы остаетесь неподвижной и немой, как восковая фигура или картина; но как только вы заговорите, Лидия, вы потеряете этот прекрасный цвет лица, и язык не причинит никому большего вреда, чем вам". Это был искусный способ дать Лидии понять, что он лишь хочет научить ее говорить и что, если понадобится, он будет говорить за нее. Марциал исповедовал свою веру в отношении своих любовных вкусов: "Я предпочитаю свободную девушку, - бодро заявил он, - но, если это не так, я буду довольствоваться вольноотпущенницей. Рабыня была бы для меня вторым вариантом, но я предпочту ее двум другим, если ее красота сделает ее столь же ценной для меня, как и свободную девушку". Мы видим, что Марциал не был привередлив к происхождению своих любовниц, и им не нужно было оправдывать свое рождение перед ним, поскольку он не разделял предрассудков старых римлян, которые видели бесчестье в торговле свободного мужчины с рабыней. Он не ставил себя защитником куртизанок, которые часто были рабынями, эксплуатируемыми и продаваемыми тираническим и скупым хозяином; но он часто прикрывал их плащом снисходительности. Когда римский рыцарь по имени Паулюс попросил его написать стихи против Лизиски, которые заставили бы ее краснеть и раздражаться, он отказался поддаться трусливой мести и направил смысл своей эпитаграммы против самого Паулюса. Возможно, эта Лисиска была той самой, чье имя взяла Мессалина, чтобы получить доступ в бордель, где она протитировала перед римскими погонщиками. В то время, когда Паулюс был так неумолим к ней, ее причисляли лишь к феллатрискам, которых набирали из числа безработных куртизанок, вышедших из моды.

Этих грязных потакателей было так много во времена Марциала, что они встречаются на каждом шагу в его эпитаграммах, где они сталкиваются с непослушными мужчинами и детьми, занимавшимися тем же ремеслом. Поэт, кажется, осуждает их всех, но нигде не проявляет того негодования, которое было бы анахронизмом в римских обычаях. Его больше возмущают старые проститутки, которые упорно не исчезали с любовной сцены и оскорбляли взоры сладострастной молодежи: "У тебя, Фабулла, в друзьях только старые или уродливые женщины, и даже уродливее старых; ты заставляешь их ходить за тобой, ты таскаешь их за собой на пиры, под портики, на представления. Вот так, Фабулла, ты выглядишь молодой и красивой". Среди римлян женщина переставала быть молодой в тридцать лет; она становилась старой в тридцать пять, дряхлой в сорок. Марциал дал волю своей неприязни и отвращению к женщинам, вышедшим из возраста игр и удовольствий: он был свиреп, безжалостен к ним; он преследовал их с горьким сарказмом; он не предлагал им иного выхода, кроме как покинуть мир, где они могли бы служить лишь пугалом. Сивилла хочет выйти за него замуж любой ценой, Сивилла, у которой в приданом миллион сестерций; но Сивилла стара, стара, по крайней мере, в глазах Марциала. Он ставит ей самые суровые и унижительные условия: супруги должны спать в разных постелях, даже в первую ночь; у него будут любовницы и возлюбленные, и она не будет возражать; он будет целовать их у нее на глазах, и она не будет возражать; за столом она всегда будет стоять на расстоянии, чтобы их одежда даже не соприкасалась; он будет дарить ей только самые редкие поцелуи, она - только бабушкины: если она согласится на все это, он согласится жениться на ней и на ее сестерциях. Этот ужас перед старостью - мономания Марциала, которая его преследует и постоянно печалит: Он хотел бы, чтобы его окружали только свежие лица женщин и детей; одна мысль о старомодной возлюбленной мгновенно лишает его способности любить, а если он пишет эпитафию старухе, которая собирается присоединиться к своему любовнику в могиле, он сразу же представляет, как она приглашает покойника поприветствовать ее (*hoc tandem sita prurit in sepulchro calvo Plotia, cum Melanthis*), и этот одиозный образ застывает в объятиях его любовницы. Однако, несмотря на свой ужас перед всем, что уже не молодо, он, кажется, с удовольствием изображает старость в самом отвратительном обличье; у него

всегда находятся новые краски для палитры, когда он хочет написать портрет старухи; он подражает людям, которые боятся призраков и беспрестанно говорят о них, как бы ставя себя против них. Ни один поэт не рисовал более гримасничающих, более отвратительных, более оригинальных фигур старух; его превзошел сам Гораций. Шедевром Марциала в этом жанре является следующая эпиграмма, чью пугающую энергию мы отчаялись передать: "Когда ты прожила под тремястами консулами, Ветустилла; когда у тебя осталось только три волоса и четыре зуба; когда у тебя грудь как у цикады, ноги как у муравья, лоб морщинистее твоей стельки, соски как паутина; когда у крокодила Нила узкая пасть по сравнению с твоими челюстями; когда лягушки Равенны лепечут лучше тебя, когда мошकारа Адриатики поет тише, когда ты видишь не яснее, чем совы по утрам, когда ты пахнешь так, как пахнут самцы козлов, когда у тебя крестец тонкого гуся; когда купальщик, погасив фонарь, признает тебя среди кладбищенских проституток; когда август для тебя - зима, а пагубная лихорадка не смогла тебя даже оттаять; что ж! Вы радуетесь, что снова выходите замуж после двухсот вдовств, и в безумии ищете мужа, который подожжет ваш пепел! Разве это не пахота на камне? Кто назовет тебя своей спутницей или женой, ты, которую Филомел когда-то назвал своей прародительницей! Но если ты хочешь, чтобы мы расчленили твой труп, пусть хирург Корикл застелет постель... Только он один должен сделать тебе эпиталаму, и сжигатель мертвых будет нести перед тобой факелы новой невесты (*intrare in ipsum sola fax potest cunnum*)".

Марциал, кстати, не часто проявлял галантность по отношению к куртизанкам; его вдохновляли только плохие комплименты, которые он мог им сделать. Галлия, которая, несомненно, сама не очень хорошо пахнет, напоминает лавку Космуса, где бутылки разбиты, а эссенции пролиты: "Разве ты не знаешь, - говорит ей Марциал, - что за такую цену моя собака могла бы пахнуть так же хорошо?" (Liv. III, ep. 55). Прекрасная Сауфея соглашается отдаться ему, но упорно отказывается купаться с ним. Этот отказ кажется подозрительным Марциалу, который ищет причину и задается вопросом, нет ли у Сауфеи свисающего горла, морщинистого живота и т. д.:

Aut infinito lacerum patet inguen iatu;  
Aut aliquid cunni prominet ore tui.

Но, открыв путь своему воображению, он приходит к мысли, что Сауфея - хамка (*fatua es*), и оставляет ее там (Liv. III, ep. 72). Что касается Маруллы, то она принимает людей только после того, как убедится в их весе (Liv. X, ep. 55). Он заходит к Фелесилле только для того, чтобы оскорбить ее и похвалить себя: он доказал свою любовь, но не уверен, что через четыре года сможет хоть раз доказать Фелесилле, что он мужчина (Liv. XI, ep. 97). Понтия посылает ему дичь и пирожные, написав, что вынимает куски изо рта, чтобы предложить их ему: "Я никому не пошлю этих кусков, - говорит жестокий Марциал, вспомнивший, что изо рта Понтии воняет, - и уж тем более не стану их есть" (Liv. VI, ep. 75). Леканию принимает ванну рабыня, чей пол прилично скрыт черным кожаным поясом, и все же молодые и старые купаются с ней обнаженными: "Неужели твоя рабыня, - спрашивает Марциал, - единственная, кто действительно мужчина?" (Liv. VII, ep. 35). Лигелла, ровесница матери Гектора и все еще считающая себя в возрасте любви, вырывает свои отросшие волосы: "Если у тебя осталась хоть капля скромности, - кричит на нее Марциал, - перестань выщипывать бороду у мертвого льва" (Liv. X, ep. 90). Лирис - отвратительная пьяница и феллатрикс (Liv. II, ep. 73). Фесценния пьет еще больше, чем Лирис, но ест пастилки Космуса, чтобы нейтрализовать ядовитые испарения в своем желудке (Liv. I, ep. 88). Сения рассказала, как однажды вечером, проходя по пустынной тропе, она пострадала от воров, которые не удовлетворились тем, что ограбили ее: "Ты так говоришь, Сения, - продолжает Марциал, - но воров это отрицают". (Liv. XII, ep. 27).

Галла, прожив годы и обзаведясь любовниками, стала богатой и образованной; Марциал признает это, но бежит от нее, боясь не уметь правильно говорить с ней о любви (*sæpe solecismus mentula nostra facit*). Наконец, Эгле, которая радуется как старым, так и молодым, возвращает первым бодрость, обучая последних всему, что могут знать другие (Liv. XI, ep. 91), Эгле продает свои поцелуи и бесплатно раздает свои самые тайные услуги (Liv. XII, ep. 55): "Тот, кто хочет, чтобы вы отдавались бесплатно, юная леди, - кричит Марциал, - глупейший и вероломнейший из людей! Ничего не отдавайте даром, кроме поцелуев!"

Большинство этих куртизанок, как видно из их имен, не были гречанками; они приезжали не издалека, а многие - из пригородов Рима, где их матери продавали их в проституцию. Прошло время угрызений совести и предрассудков старого Рима, который в прошлом не позволил бы своим детям обесчестить его, выставив себя на аукцион. Греческих куртизанок по-прежнему искали, и платили им больше, чем другим; но тех, кто действительно был родом из Греции, было так мало, что все они, чтобы заработать больше денег, выдавали себя за таковых, даже если сохраняли свое латинское имя. Некоторые, однако, не знали ни слова по-гречески; другие не имели ничего от греческой красоты; те, кто говорил по-гречески, потому что выучил его, делали ошибки в каждом предложении; те, кто носил греческий костюм, потому что перенял его, приписывали ему названия римских мод. Одна из этих так называемых дочерей Греции, по имени Силия, считала, что она становится более греческой, отказываясь смешиваться с римлянами: "Ты отдаешься парфянам, - сказал ей Марциал, к которому она относилась как к римлянину, - ты отдаешься германцам, ты отдаешься дакам; ты не презираешь постели киликийцев и каппадокийцев; у тебя есть египетский любовник из города Цереры, индийский - с Красного моря; ты не избегаешь ласк обрезанных евреев; Ален на своем сарматском коне не проезжает мимо твоего дома, не останавливаясь. Как же случилось, что ты, дочь Рима, не хочешь развлекаться с римлянами?"

Quâ ratione facis, quum sis romana puella,  
Quod romana tibi mentula nulla placet?

Эта же Силия, которую в другой эпиграмме дурной урок называет *Лелией* (Liv. X, ep. 68), запечатлела в своей памяти несколько греческих слов, которые при каждом удобном случае повторяла с римским акцентом: "Хотя ты не из Эфеса, не с Родоса, не из Митилены, а из пригорода Рима; хотя твоя мать, которая никогда не благоухает, принадлежит к роду смуглых этрусков, а твой отец - деревенский мужлан из Ариции, ты произносишь эти сладострастные слова: ζῶνι и ψυχῇ. О скромность! Ты, соотечественница Герсии и Эгерии! Эти слова произносятся только в постели, да и то не на всех кроватях!... это дело постели, которую любовница приготовила для своего нежного любовника. Вы хотите знать, каков язык целомудренной матроны в таких случаях; но разве вы будете более очаровательны в тайнах наслаждения (*numquid, quum, crissas blandior esse potes*)? Давай, ты можешь выучить и запомнить весь Коринф, и все же, Силия, ты никогда не станешь совсем Лаис!" В этих эпиграммах есть злоба, и Марциал не скрывает, что хотел бы, чтобы эта римская Лаиса любила его по-гречески. Когда он не обвиняет куртизанку в том, что она дряхлая, что от нее пахнет вином, что она слишком хищна, что у нее слишком много любовников и что у нее больше нет любовников, мы можем с уверенностью сказать, что у него есть какие-то планы в отношении нее и что он очень близок к успеху; но обычно он не испытывает ни жалости, ни уважения к любовнице, которую он покидает. Поэтому с его стороны было очень благоразумно не оскорблять и не порочить Ликорис, когда он покинул ее, чтобы отправиться к Глицере. Не было женщины, которую можно было бы предпочесть тебе, Ликорис, - сказал он ей, - прощай! Ни одна женщина не могла быть предпочтительнее Гликера! Она будет тем, что ты теперь; ты уже не сможешь быть тем, что она; так поступает время: я хотел тебя, я хочу

ее". После этого он больше не говорил ничего плохого о Ликорисе, которая имела смуглый цвет лица и, чтобы отбелить его, собиралась поселиться в Тибуре, чей бодрый воздух считался благоприятным для кожи (Liv. VII, ep. 13). Когда она вернулась из страны, он заметил, что она не блее, а также заметил, что она косоглазая: Ликорис, правда, занял место поэта с ребенком, таким же красивым, как пастух Парис (Liv. III, ep. 39). Марциал, кажется, избегает признаваться в своих любовницах: он достаточно провозглашает их, когда восхваляет. Так, в присутствии Хионе и Флогиса он размышляет, кто из них больше подходит для любви (Liv. XI, ep. 60). Хионе красивее Флогис; но Флогис обладает чувствами, которые заставили бы старого Нестора снова почувствовать себя молодым, чувствами, которые каждый хотел бы видеть в своей любовнице (*ulcus habet, quod habere suam vult quisque puellam*). Хионе же ничего не чувствует (*at Chione non sentit opus*), ни больше, ни меньше, чем если бы она была сделана из мрамора: "О боги!" - восклицает Марциал, - "если мне позволено вознести вам великую молитву и если вы хотите даровать мне самое драгоценное из благ, даруйте, чтобы Флогис имел прекрасное тело Хионы и чтобы Хиона обладала чувствами Флогиса!"

Римские распутники не были виноваты в том, что желали: желания их похотливого воображения всегда противоречили реальности, от которой они устали или которая их больше не удовлетворяла. Карьера, открытая для этих умозрительных фантазий либертинизма, была окружена сладострастными горизонтами, на которые Марциал любил устремлять свои взоры. Из всех любовниц, которые у него были, одна не всегда вызывала у него самые пылкие желания. Куртизанка Полла, более нежная, чем ее сверстницы, испытывала нежное чувство к поэту, которое он не пытался ей внушить: она не защищалась от этого чувства; она отдавалась ему со страстью; она не стеснялась заявлять о нем и, чтобы Марциал знал, посылала ему венки из цветов, которые должны были говорить за нее. Марциал получает венки и не вешает их на кровать, как это принято у влюбленных: "Зачем, Полла, присылать мне свежие венки?" - пишет он ей; "Я бы предпочел розы, которые ты увяла (*à te malo vexatas tenere rosas*)". В обмен на любезное приглашение к любви, которое принесли ему эти блестящие цветы, Марциал обращается к Полле с распутной и отталкивающей мыслью; ведь он просит ее сообщить ему, прислав короны, которые она надевала на пиры, сколько нападков ей пришлось там выдержать. Как видим, Марциал не был склонен к деликатности и сердечной страсти, которые отличают греческих поэтов и которые можно найти в виде ослабленного отголоска в латинской эротике августовского века. Если в момент чувственного насыщения ему хочется представить себе женщину, которую он хотел бы иметь своей любовницей, он не отправляется искать ее среди девственниц и матрон: "Мне нужна та, - говорит он, не краснея от своих вкусов, - которая, легко влюбляясь, бродит тут и там, прикрытая паллиолумом; мне нужна та, которая отдалась своему возлюбленному, прежде чем стать моей; мне нужна та, которая продает себя целиком за два дензнака; мне нужна та, которой хватит сразу на три. Что же касается той, что требует золотые коронки и произносит красивые фразы, то я оставляю ее во владении нескольких граждан Бордо!" По мере того как Марциал все глубже погружался в трясину имперского разврата, он становился грубее если не языком, то чувствами. Это презренное общество куртизанок и житонов, окружавшее его, в конце концов лишило его нравственного чувства и испортило сердце.

Он даже стал неуважительно относиться к своей жене, Клодии Марселле, такой же испанке, как и он сам, и спутнице его судьбы на протяжении тридцати пяти лет. Незадолго до возвращения с ней на родину он имел печальную смелость обратиться к ней с этим постыдным исповеданием веры, вполне достойным убежденного и неисправимого распутника: "Жена моя, иди погуляй, или привыкай к моей морали! Я не Курий, не Нума и не Татий. Меня очаровывают ночи, проведенные за осушением веселых кубков; ты же спешишь

встать из-за стола, уныло выпив воды; ты получаешь удовольствие в темноте, тогда как я люблю, чтобы лампа освещала мои удовольствия, а Венера резвилась при свете дня; ты кутаешься в вуали, туники и толстые плащи: Для меня женщина, лежащая рядом со мной, никогда не бывает достаточно обнаженной; поцелуи, подобные черепашьим, приводят меня в восторг: те, что ты даришь мне, похожи на те, что ты получаешь от своей бабушки каждое утро. Ты никогда не осмеливаешься поддержать мой любовный пыл ни словами, ни пальцами, ни малейшим движением, как будто приносишь в жертву вино и ладан". Фригийские рабыни оскверняли себя за дверью всякий раз, когда Андромаха была в объятиях Гектора..."

Мастурбабатур фригийский пост остия серви,  
Hectoreo quoties sederat uxor equo.  
Et, quamvis Ithaco stertente, pudica solebat  
Illic Penelope semper habere manum.  
Pædicare negas: dabat hoc Cornelia Graccho;  
Юлия Помпейо; Порция, грубиян, тиби!  
Дульсия Дарданио, нондум мисценте министро.  
Pocula, Juno fuit pro Ganymede Jovi.

Марциал не стесняется ссылаться на пример этих бесчинств, которые великие имена, которые он приводит, должны были оправдать в глазах античности; но его жена не более заинтересована в подражании Юноне, чем Порция или Корнелия. Тогда поэт, возмущенный тем, что в супружеской постели так мало поблажек, резко восклицает: "Если тебе угодно быть Лукрецией весь день, то ночью мне нужна Лаис". Но Лукреция вскоре вновь обрела свою империю - ту, которую честная женщина никогда не просит у капризов чувств. Можно предположить, что спасительное влияние Марцеллы убедило Марциала вернуться в Бильбилис, в Испанию; там у нее было имущество, унаследованное от семьи: его она передала мужу, и ей удалось вытащить его из бездны римских развратов, в которой он забылся на тридцать пять лет. Марциал нашел себя очищенным, когда перестал дышать одним воздухом с куртизанками, синедами, свахами, ленонами, гнусными агентами похоти, одиозными служителями разврата, которые составляли почти все население Рима. Он не сжег свои книги эпиграмм, в которых записал, так сказать, деяния Проституции при семи императорах; но он добавил искупительную эпигramму, в которой недвусмысленно признал, что до сих пор жил плохо и что счастье заключается в деревенской жизни, с уважаемой и любимой женой: "Этот лес, эти источники, эта шпалера, под которой мы находимся в тени, этот ручей с живой водой, орошающий луга, эти поля роз, не уступающих пестумским, которые мы видим цветущими дважды в год; эти овощи, зеленеющие в январе и никогда не замерзающие, эти пруды, где плавает домашний угорь, эта белая башня, приютившая белых голубей: это подарки моей жены, после семилетнего отсутствия. Марселла подарила мне это поместье, это маленькое королевство. Если бы Наусикаа оставила мне сады своего отца, я мог бы сказать Алкиносу: "Я предпочитаю свои собственные! Эта простая и деревенская эпиграмма успокаивает ум и сердце после всех нечистот, которые Марциал, кажется, с удовольствием накапливал в своем сборнике, где с удивлением обнаруживаешь благородные и добродетельные возмущения поэта.

Вот один из этих благородных выпадов, которые Марциал делает против безнаказанных пороков, которые тащит за собой Проституция: "Ты говоришь, что ты беден по отношению к своим друзьям, Лупус? Ты не беден по отношению к своей любовнице; только твоя ментула не жалуется на тебя. Прелюбодейка питается раковинами Венеры из муки, а твой гость

пирует на черном хлебе! Из бокала этой госпожи льется вино Сетии, от которого загорелся бы даже снег, а мы пьем мутный, ядовитый ликер из бочек Корсики. Вы покупаете ночь или часть ночи на наследство ваших отцов, а ваш спутник детства пашет одинокие поля, которые ему не принадлежат. Ваша проститутка сверкает эритрейским жемчугом, и пока вы упиваетесь любовью, вашего клиента увозят в тюрьму. Вы дадите этой девушке подстилку, которую понесут восемь сирийцев, а вашего друга голым бросят в пиво. Иди же, Кибела, и покарай каких-нибудь жалких гитонов; подбородок Люпуса больше заслуживал того, чтобы попасть под твои священные ножи!"

У нас не хватает смелости заставить Марциала говорить о мужской проституции, которая, похоже, занимает его гораздо больше, чем женская. Трудно осознать, насколько деморализован был Древний Рим в отношении чудовищных излишеств антифизического разврата. Нужно прочитать Марциала, чтобы получить представление об этих отвратительных нравах, которые почти отбросили женский пол в любви и превратили юношей или слабоумных мужчин в новый пол, преданный постыдным удовольствиям. Нужно читать Марциала, чтобы понять, что в эпоху разврата, когда он жил так же плохо, как и его современники, он осмеливался без ужаса смотреть в лицо отвратительным расстройством, вызванным распущенностью полов. Когда в этом сборнике эпиграмм, большинство из которых непристойны, вы видите панегирик императору Домициану, следующий или предшествующий восхвалению возлюбленных; когда вы встречаете на одной и той же странице призыв к добродетели, молитву какому-то божеству и подстрекательство к самой бесстыдной педерастии, вы убеждаетесь, что нравственное чувство было извращено в римском обществе. Среди греков, по крайней мере, если и не было большей сдержанности в действиях, то было больше приличия и меньше грубости в выражениях. Несомненно, они не испытывали больше отвращения к некоторым действиям, которые были предосудительны как с точки зрения человеческого достоинства, так и с точки зрения естественных законов; но эта чувственная деградация усиливалась престижем преданности, дружбы и идеальной страсти. Среди римлян, напротив, порок материализовался, отвергнув всякую вуаль и скромность. Уши были не более уважаемы, чем глаза, а сердце, казалось, утратило инстинкты деликатности в результате морального ожесточения, которое сделало его привычным к постыдным вещам. Мы не хотим вдаваться в эти окольные пути проституции, которые предлагают нам лишь отталкивающие и печальные объекты, при виде которых наше воображение замирает от ужаса. Мы предпочитаем отсылать читателя к самому Марциалу и сатирикам его века, Ювеналу и Петронию. Первый сказал не меньше Марциала, но он ограничился лаконичностью, которая часто делает его неясным и потому более сдержанным; только комментаторы восполнили его замкнутость, пронесли факел в его самую сдержанную тьму: мы входим уверенным шагом и пугаемся всех мерзостей, которые поэт собрал в этом аду цезарей. Второй, в форме комического и развратного романа, рисует картину излишеств своего времени; этот роман похож на длинный гимн в честь Гитона, его ужасного героя.

Тацит называет его арбитром хорошего вкуса, и это прозвище прилипло к нему (*arbitr*), не подразумевая никакого одобрения его нравов, которые мог оправдать только двор Нерона. Правда, Петроний, как и Ювенал, не гордился тем, что он неподкупный мудрец: он не называл пальцем позорные явления своего времени, чтобы не впускать в них тех, кто еще не погрузился в них; он ничуть не возмущался скандалами, которые все с цинизмом демонстрировали; наоборот, они его забавляли; он сначала смеялся над ними и, кажется, жалел, что не сказал о них больше. Его книга - ужасная картина разврата Рима, и если учесть, что мы не располагаем и десятой частью этого романа непристойных приключений, легко предположить, что мы потеряли самые отвратительные эпизоды, самые позорные

описания, самую характерную грязь, поскольку труд Петрония был изуродован христианской цензурой, которой не удалось уничтожить его полностью. В сохранившихся фрагментах достаточно всякого рода нечистот, чтобы судить и о произведении, которое было услугой римской молодежи, и об авторе, создавшем его на основе собственных воспоминаний и личных впечатлений, и о самой эпохе, которая воспитывала таких авторов и терпела такие книги. В "Сатириконе" есть двадцать отрывков, которые, казалось бы, были написаны не к месту, а живость, изюминка и мелочность романиста до сих пор свидетельствуют о том возбуждении, которое он искал в объятиях любви, прежде чем взяться за перо. Мы не будем описывать основные сцены этой эротической и сатирической драмы, а также оргии Квиртиллы, Тримальсиона и Цирцеи, ибо в этом странном романе оргия следует за оргией с ужасающей силой, а герои постоянно движутся в атмосфере, пылающей похотью! Аскилит и Гитон, которых Петроний с удовольствием изобразил в самых соблазнительных красках, тем не менее, являются типами подлости и извращенности. Первый, по словам самого автора, - это юный подросток, оскверненный всевозможным развратом, освобожденный проституцией, ставший благодаря ей гражданином (*stupro liber, stupro ingenuus*), судьба которого решалась костями, как будто он был колом, и который хвалил себя как девушку перед теми самыми людьми, которые считали его мужчиной; Другой, отвратительный Гитон, принял женское платье вместо мужской тоги, говорит Петроний, и, с колыбели полагая, что не должен принадлежать к своему полу, работал проституткой в рабском притоне (*opus muliebre in ergastulo fecit*). После таких портретов остается только удивляться, что они не сдержали слово и не выполнили обещанного. Например, брак семилетней девочки Паннихис с Гитоном, несомненно, содержал некоторые необычные подробности, которые не давали спать по ночам какому-нибудь ритору, ставшему отцом Церкви, и которые его целомудренная рука убрала бы, не поступившись оригинальностью и богатством рассказа. О том, чего здесь не хватает, можно судить по потрясающей сцене, разыгравшейся в святилище храма Приапе, когда герой, имевший неосторожность убить донимавших его священных гусей, оказывается во власти жрицы бога Энотеи и ее спутника Проселеноса. Только латынь обладает неоспоримой привилегией освещать такие ужасы, которые французы постыдились бы воспроизводить, даже если бы они были завернуты в прозрачную марлю. Вот какие необычные и бесчестные репрессии вырывают две старухи у бедного гусеубийцы: "*Profert Ænothea scorteum fascinum, quod ut oleo et minuto pipere, atque urticæ trito circumdedit semine, paulatim cœpit inserere ano meo. Hoc crudelissima anus spargit subinde humore femina mea. Masturisi succum cum abrotono miscet, perfusisque inguinibus meis, viridis urticæ fascem comprehendit, omniaque infra umbilicum cœpit lenta manu.*" Это, пожалуй, единственный отрывок из древних авторов, в котором с эротической точки зрения упоминается флагелляция зеленой крапивой. Непостижимо, что монахи первых веков, которые вели такую слепую войну с профанными произведениями античности, должны были позволить этому ужасающему отрывку сохраниться в Петронии.

Почти все аспекты античной проституции можно найти в "Сатириконе", где мы встречаем только проституток, возлюбленных, любовных свах, все, что является нечистым в торговле женщинами и мужчинами. Среди свах была весьма уважаемая матрона по имени Филумена, которая, благодаря снисходительности своей молодости, надула не одно завещание; которая, когда возраст угасил ее очарование, отдала сына и дочь старикам без потомства и через этих наследников поддерживала честь своей первой профессии. Эта Филумена отправила двух детей в дом Эвмолпа, серьезного персонажа, полного пылкости и капризов, который мог бы расправиться с весталкой, и который без колебаний пригласил девочку на таинства Венеры Каллипики (*non distulit puellam invitare ad Pygisiaca sacra*). Далее рассказчик, к счастью, владеющий латынью, переходит к более подробному изложению, которое мы не станем переводить в нашем скромном, бесцветном стиле. Эвмолп рассказал

всем, что он подагрический и хромым: *"Itaque, ut constaret mendacio fides, puellam quidem exoravit, ut sederet supra commendatam bonitatem. Coraci autem imperavit, ut lectum, in quo ipse jacebat, subiret, positisque in pavimento manibus, dominum lumbis suis commoveret. Ille lento parebat imperio, puellæque artificium pari motu remunerabat."* Такова, в некотором роде, финальная картина романа. Небольшие стихотворные отрывки, которые были собраны впоследствии и которые, как утверждается, были частью прозаического текста, который был удален или утерян, содержат несколько амурных произведений, явно адресованных куртизанкам, которых они представляют нам через похвалу, а не через эпиграммы в манере Марциала. Петроний был слишком большим любителем сладких и приятных вещей, чтобы его раздражали эти существа, с которыми он искал только своего удовольствия. Лишь с Серторией он обращается несколько грубовато и, возможно, с добрыми намерениями, поправляя ее за то, что она накладывает грим, когда он не нужен: "Это одновременно и грим, и лицо", - говорит он ей. Когда Марция присылает ему колючие каштаны и ароматные апельсины из сельской местности, он пишет ей, чтобы она сама привезла подарки или послала вместе с фруктами поцелуи: "Я съем их вместе (*vorabo lubens*)", - говорит он этой приветливой деревенской девушке. Но рядом с ним другая, та, которую он не называет; она носит на горле розу: "Эта роза, - галантно говорит он, - вытягивает из твоей груди росу амброзии, и тогда она действительно будет пахнуть розой". Ночью он просыпается в полусне, под чарами очаровательного сна; он слышит голос Дели, которая говорит ему о любви и оставляет поцелуй на его лбу; он зовет ее в свою очередь, протягивает руки, но вокруг него только ночь и тишина: "Увы!" - бормочет он, - "это было эхо моего сердца и моего уха!" Но Дели сменяет Аретуза, пылкая, золотоволосая Аретуза, которая осторожными шагами входит в комнату своего возлюбленного и уже трепещет рядом с ним; она не засыпает, эта безумная госпожа! Она с любопытством подражает позам и сладострастным изобретениям, которые изучила в знаменитом кодексе удовольствий и в рисунках, сопровождающих его (*dulces imitata tabellas*): "Не стыдись ничего, - говорит Петроний, подбадривая ее, - будь более распутна, чем я!" (*Nec pudeat quidquam, sed me quoque nequior ipsa.*) Бассилисса не предлагала ей так много: она оказывала ей услуги, только будучи предупрежденной заранее (*et nisi præmonui, te dare posse negas*). Петроний восхвалял прелести неожиданности: "Удовольствия, рожденные случайностью, - шутивно говорил он ей, - лучше, чем те, что были заранее продуманы в письмах". Вероятно, в отместку за расчетливое сопротивление Басилиссы он упрекнул ее в том, что она наносит слишком много румян на щеки и слишком много помады на волосы: "Постоянно маскироваться, - грубо сказал он ей, - значит не доверять в любви ( *fingere te semper non est confidere amori*)". Петроний, богатый и щедрый, красивый и хорошо сложенный, нетерпеливый к удовольствиям и неутомимый, множил свои любовные связи и менял любовниц каждый день. Он умер бы от истощения и разврата, если бы гнев Нерона не заставил его перерезать себе вены, чтобы избавиться от страха перед мучениями, которые терзали его угрожающую жизнь; он предпочел бы более медленную и сладострастную смерть, ибо повторял эту аксиому, которую так широко применял на практике: "Ванны, вино и любовь разрушают здоровье тела, а что делает жизнь счастливой, так это ванны, вино и любовь".

Balnea, vina, Venus, corrumpunt corpora sana;  
Et vitam faciunt balnea, vina, Venus.

---

## ГЛАВА XXVIII.

Краткое содержание.- Римские императоры.- Пагубное влияние их развращенных нравов.- Строгость законов, касающихся общественной морали, до прихода императоров.- Эдил

Квинт Фабий Гургес.- Эдилы Вилий Рапулл и М. Фунданий.- Консул Постумий.- Рыцарь Эбуций и его любовница, куртизанка Гиспала Фекения.-Юлий Цезарь - Депортации этого императора - Знатные женщины, которых он соблазнил - Его любовницы Евномия и Клеопатра - Позор его прелюбодеяний - Цезарь и Никомед, царь Вифинии - Песнь римских солдат против Цезаря - Октавиан, император - Его дерзость.-Особенный эпизод в тиранических любовных похождениях Августа -Отвращение прелюбодеяния Августом - Инцест со своей дочерью Юлией -Неумеренное пристрастие к девственницам -Страсть к азартным играм -Его жены Клавдия, Скрибония и Ливия Друзилла -*Праздник двенадцати божеств* -Аполлон- *палач* -Тиберий, император.-Склонность к пьянству -Суровость его законов против прелюбодеяния -Странные противоречия между общественной и личной жизнью этого императора -Тиберий *Каприней* -Омерзительная жизнь, которую вело это чудовище в своем логове на острове Каприкея -Картина Паррасия -Физический портрет Тиберия.Калигула, император - Его позорные любовные связи с Марком Лепидом и комедиантом Мнестером - Его страсть к куртизанке Пираллис - Как этот император обращался с женщинами знатного рода - *Вектигаль* проституции - Открытие публичного дома в императорском дворце - Префект сладострастия.-Клавдий, император - Пышные развратные похождения его жен Ургуланиллы и Мессалины - Нерон, император - Его юность - Публичные ужины на Марсовом поле и в цирке - Трактиры на берегу залива Байя - Петрона, *арбитр удовольствий* - Отвратительные дерзости Нерона - Его брак со Спором.- Кровосмесительная страсть к матери Агриппине - *Метаморфозы богов* - Актея, наложница Нерона - Гальба, император - Позор его привычек - Ото, император - Его развращенные нравы - Вителлий, император - Его излишества - Его любовь к вольноотпущеннику Азиатiku - Его ненасытное чревоугодие - Веспасиан, император.-Сдержанные нравы - Ценис, его любовница.-Тит, император.-Нескромная юность.-Правление, достойное подражания.- Домиция и гистрион Парис.-Домициан, император.-Депортации.-Ужасные приговоры против кровосмешения со стороны весталок.-Нерва, Траян и Адриан, императоры.-Антонин Благочестивый и Марк Аврелий.

Именно при императорах, именно под извращенным влиянием их развращенной морали, именно по их примеру и по их злому наущению римское общество достигло пугающего прогресса в развращении, который завершил его дезорганизацию и подготовил путь для триумфа христианской морали. Эта чистая и святая мораль действительно метнула несколько молний в философию язычества; но ее советы были бессильны и беспредметны, потому что они еще не исходили от религиозного авторитета, потому что они не вытекали из догм, потому что они оставались чуждыми поклонению. Религия же ложных богов, казалось, навсегда отрицала философские доктрины, которые стремились сделать человека лучше, научив его позволять себе руководствоваться чувством собственного достоинства, а также заслуживать уважение других. Эта религия, материальная и чувственная, не могла быть достаточной для возвышенных умов и благородных сердец, которые Евангелие Христово нашло бы готовыми понять ее; нужны были века таинственной работы в душах, чтобы приспособить их, так сказать, к новой вере, к морали. Все излишества роскоши, все вспышки страстей, вся погоня за удовольствиями были результатом крайней цивилизации, не имевшей никаких религиозных ограничений и стремившейся ни к какой другой цели, кроме удовлетворения самого грубого эгоизма. Никогда этот эгоизм не заходил так далеко, как в эпоху цезарей, которые были, так сказать, его чудовищным воплощением.

"Порок в самом худшем виде!" - печально восклицал Ювенал, напуганный бесчинствами, которые он обличал в своих сатирах: *Omne in præcipiti vitium stetit*. В двадцати местах своего сборника этот яростный стоик проклиная пороки своего времени и сетует на строгие добродетели римлян эпохи Республики: "Вот, несчастные, до какого упадка мы дошли! с

горечью сказал он... Правда, мы довели наше оружие до самых дальних пределов Гибернии, мы совсем недавно покорили Оркней и Бретань, где ночи так коротки; но то, что победоносный народ делает в Вечном городе, побежденный народ не делает!" История Рима до имперского разврата полна фактов, свидетельствующих если не о чистоте нравов, то, по крайней мере, о строгости законов, касающихся общественной морали. В 457 г. н. э. Квинт Фабий Гургес, сын консула, ознаменовал свою эдицию обвинением некоторых матрон, предававшихся разврату (*matronas stupri damnatas*) в народном суде, и приговорил их к огромному штрафу, средства от которого пошли на возведение храма Венеры возле большого цирка. В 539 году народные советники Вилий Рапулл и М. Фунданий выдвинули аналогичные обвинения против матрон, виновных в подобных беспорядках, и отправили их в изгнание. В 568 году консул Постумий, предупрежденный об отвратительных непристойностях, совершаемых во время празднования вакханалий, принял энергичные меры, чтобы искоренить зло и уничтожить дерзкую секту, распространявшуюся в тени под тщетным предлогом таинств Вакха. Молодой римский рыцарь по имени Эбуций пришел пожаловаться консулу, что его любовницу взяли на вакханалии. Эта любовница, однако, была не кто иная, как куртизанка по имени Хиспала Фекения; в молодости она была рабыней, а после освобождения продолжала заниматься своим прежним ремеслом, выше которого ее ставили возвышенные чувства. Она вступила в связь с Эбутием, что не повредило репутации молодого человека, хотя он и жил за счет этой вольноотпущенницы (*meretriculæ munificentia continebatur*). Хиспала жила на горе Авентин, где ее хорошо знали (*non ignotam viciniæ*). Консул попросил свою тещу Сульпицию позвать эту куртизанку, которая была несказанно удивлена, когда ее представили почтенной матроне. Там Постумий допросил ее в присутствии тещи и получил полное откровение обо всех ужасах, которые происходили на ночных вакхических сборищах. На следующий день он отправился в сенат и попросил выделить средства для уничтожения печально известной секты, которая уже насчитывала семь тысяч посвященных в Риме и его окрестностях. Сенат разделил возмущение Постумия и вынес ужасные приговоры отвратительным виновникам вакханалий. Что касается Эбутия и его спутницы, то они были щедро вознаграждены: сенат-консул объявил, что прекрасная Хиспала, несмотря на свое происхождение и профессию, может выйти замуж за человека свободного положения, и этот брак нисколько не повредит состоянию и репутации ее мужа. Она вышла замуж за Эбутия и получила звание матроны под защитой консулов и преторов, которые должны были оберегать ее от любых оскорблений. Вакханалии, объявленные вне закона и запрещенные постановлением сената, не осмеливались вновь появиться в Риме вплоть до правления императоров.

Общественная мораль была утрачена во всей Римской империи с того дня, когда глава государства перестал соблюдать ее сам и дал сигнал порокам, которые он был призван подавлять. Юлий Цезарь, этот великий человек, чей гений вознес римскую власть так высоко с помощью оружия, политики и законодательства, первым предложил римлянам развращающее зрелище своих депортаций. Он как будто хотел доказать, что его предок Эней передал ему часть крови Венеры. Все историки, Суетоний, Плутарх, Дион Кассий, сходятся во мнении, что он был очень склонен к любовным утехам и не жалел средств: *prorum et sumptuosum una in libidines fuisse*, говорит Суетоний. Он соблазнил многих знатных женщин, таких как Постумия, жена Сервия Сульпиция; Лоллия, жена Аула Габиния; Тертулла, жена Марка Красса; Марция, жена Кнея Помпея; но он не любил ни одну женщину больше, чем Сервилию, мать Брута. Во время своего первого консульства он подарил ей жемчужину, которая стоила шесть миллионов сестерций (1 162 500 фр.), а во время гражданских войн, помимо богатых подарков, которыми он ее осыпал, он приказал продать ей по низкой цене самые красивые поместья, которые потом продавались с аукциона. Когда люди удивлялись дешевизне этих приобретений, Цицерон отвечал такой эпиграммой: "Цена тем более

выгодна, что из нее вычтена треть". Каламбур также означал "*Терция была доставлена*". Сервилию действительно подозревали в том, что она сама поощряла скандальную торговлю между своей дочерью Терцией и собственным любовником. Цезарь не уважал брачное ложе и в тех провинциях, через которые он проходил со своей армией; после завоевания Галлии, в день своего триумфа, его солдаты хором пели:

Urbani, servate uxores, mœchum calvum adducimus!  
Aurum in Galliâ effutuisti; at hic sumsisti mutuum.

"Горожане, берегите своих жен, вот, мы возвращаем лысого распутника! Цезарь, ты вылил все золото, которое увез из Рима, на любовь в Галлии!" Юлий Цезарь был любовником нескольких иноземных цариц, в том числе Эвно, жены царя Мавритании. Но больше всего он был страстно влюблен в сладострастную Клеопатру, царицу Египта, которая родила ему сына, которого он хотел бы выбрать своим наследником.

Его венерическая страсть с годами не уменьшалась, а возрастала, и он возжелал всех женщин Римской империи, желая получить их в свое распоряжение по своему усмотрению. Он составил странный законопроект, который постеснялся представить на утверждение сената: согласно этому закону, он оставлял за собой право жениться на стольких женщинах, сколько пожелает, чтобы иметь столько детей, сколько он способен произвести. Позор его прелюбодеяний был настолько известен, говорит Суетоний, что Курион-отец в одной из своих речей назвал его *мужем всех женщин и женой всех мужей*. Вторая часть этой кровавой эпиграммы не соответствует действительности, поскольку, согласно истории, Цезарь лишь раз в жизни согрешил *блудом*, то есть предался противоестественному пороку (только этот порок в глазах римлян возмущал скромность); но постыдная неосторожность Цезаря имела столь печальные последствия, что его имя было заклеено по всему миру. Клевета, несомненно, воспользовалась фактом, который был не более чем случайным распутством и остался бы незамеченным, если бы двумя виновниками не были Юлий Цезарь и царь Никомед. Цицерон сообщает в своих письмах, что Цезарь был доставлен стражей в покои вифинского царя, что он лежал там, покрытый пурпуром, на золотом ложе и что этот потомок Венеры продал свою девственность Никомеду (*floremque ætatis à Venere orti in Bithynia contaminatum*). После этой позорной поблажки Цезарь подвергался самым горьким ирониям, и он терпеливо сносил их, не отвечая и не отрицая. Иногда Долабелла называла его в сенате *наложницей царя, соломенным тюфяком царского ложа*; иногда старый Курион называл его *борделем Никомеда и вифинской проституткой*. Однажды, когда Цезарь защищал Ниссу, дочь Никомеда, Цицерон прервал его жестом отвращения, сказав: "Пожалуйста, давай пропустим все это; мы слишком хорошо знаем, что ты получил от Никомеда и что ему дал!" В другой раз некий Октавий, который безнаказанно потворствовал всему, потому что выдавал себя за сумасшедшего, приветствовал Цезаря титулом *царицы*, а Помпея - титулом *царя*. С. Меммий рассказывал всем, кто слушал, что видел, как молодой Цезарь прислуживал Никомеду за столом и наливал ему питье, путаясь при этом с царскими евнухами. Наконец, когда Цезарь, покорив Галлию, подъехал к Капитолию, солдаты весело распевали вокруг его триумфальной колесницы: "Цезарь покорил Галлию, Никомед покорил Цезаря. Вот, Цезарь сегодня торжествует, покорив Галлию; но Никомед не торжествует, тот, кто покорил Цезаря".

Октавиан не опускался ниже Цезаря, когда дело доходило до блуда: "Его репутация с юности была запятнана не одним поношением", - читаем мы у Суетония. Секст Помпей называл его женоподобным; Марк Антоний упрекал его в том, что он купил усыновление своего дяди ценой своего позора; Луций, брат Марка Антония, утверждал, что Октавиан, подарив цветок своей невинности Цезарю, продал его во второй раз в Испании Гирцию за 300 000 сестерций

(58 225 фр.); Луций добавил, что после этого Октавиан прижигал волосы на ногах раскаленной скорлупой грецкого ореха, чтобы они снова росли мягче. Однажды, со злобным ликованием, весь народ применил к нему реплику, произнесенную на сцене для описания жреца Кибелы, играющего на бубне: *Viden, ut cinædus orbem digito temperat?*

Двузначность была основана на слове *orbem*, которое могло означать и бубен, и вселенную, и нечестные части, управляемые пальцем гнусной кинеды. Но впоследствии Октавиан опроверг эти обвинения, возможно, клеветнические, целомудрием своих нравов в отношении порока, в котором его не упрекнули, когда он достиг зрелого возраста. В другом отношении его мораль была далеко не целомудренной и даже не сдержанной. Похоже, он унаследовал любовную ярость Юлия Цезаря ко всем женщинам. Несмотря на законы против супружеской неверности, он не был так строг к себе, как к другим, и не щадил брачной чести своих подданных по собственному почину. Марк Антоний утверждал, что был свидетелем необычного эпизода тиранических любовных походов императора: в разгар пира Август заставил жену одного из консулов пройти из столовой в соседнюю комнату, хотя ее муж был среди гостей; когда она вернулась с Августом, дав гостям время опустошить не один кубок во славу Цезаря, у дамы были красные уши и растрепанные волосы. Только муж не обратил на это никакого внимания. Не успел Марк Антоний объявить себя его врагом и соперником, как он знакомо написал ей: "Кто тебя изменил? Неужели мысль о том, что у меня есть царица? Но Клеопатра - моя жена, и не вчерашняя, ибо это было девять лет назад. Но ты не довольствуешься Ливией? Да, ты такой человек, что, когда ты будешь читать это письмо, я думаю, ты возьмешь Тертуллу, или Терентиллу, или Руффиллу, или Сальвию Титисцену, а может быть, и все вместе. Для тебя не имеет значения, где и почему возбуждаются твои желания" (*Anne refert ubi et in quam arrigas?*).

Каким бы несдержанным ни был Август, он испытывал определенное отвращение к супружеской неверности, которая казалась ему общественной чумой и с которой он тщетно пытался бороться с помощью строгих законов. Когда он позволил себе нарушить свои собственные законы в этом отношении, он не пожалел предосторожностей, чтобы скрыть слабость, которой стыдился и в которой не признавался своим ближайшим доверенным лицам. Так, поэт Овидий поплатился за несчастье стать свидетелем кровосмесительной связи императора с его дочерью Юлией громким позором. У Августа не было причин опасаться неосмотрительности этого верного слуги, который был его соперником или выдавал себя за него; но он не хотел подвергать себя опасности в любой момент увидеть человека, перед которым он опозорился. В юности эти сомнения не мучили его, так как его друзья, по словам Суетония, были заняты только тем, что выискивали замужних женщин и девушек, которых они обнажали перед собой, чтобы осмотреть их, как рабынь для продажи на рынке Торания. Прежде чем быть выбранными и одобренными, эти печальные объекты императорского вожделения должны были выполнить определенные условия, требуемые прихотью Августа, которому были любопытны самые тайные детали их красоты. Именно так толкуют комментаторы слова *conditiones quæsitæ*, которые историк оставил, как бы, под прозрачной завесой. С возрастом пыл Августа к наслаждениям чувств не остыл, но он перестал брать любовниц из числа матерей семейства, которые уже не вызывали в нем прежних желаний, и обратился исключительно к девственницам (*ad vitiandas virgines promptior*); их приводили к нему со всех сторон, и даже жена была готова представить их ему. Такое неистовство не могло продолжаться вечно, и старость положила ему конец. Тогда на смену страсти к женщинам пришла страсть к азартным играм, менее утомительная, но не менее ненасытная, чем другая. Август, играя в кости, все еще улыбался ходу Венеры (три шестерки), как он весело выразился в письме к Тиберию.

Неумеренное пристрастие к девственницам, которое он испытывал во второй половине жизни, пришло к нему лишь на закате его мужественности. Когда он чувствовал себя молодым и энергичным, он жил со своей первой женой Клавдией, которая была еще совсем юной, не претендуя на использование своих прав мужа; ведь она была не менее девственна, чем накануне свадьбы, когда он расстался с ней, чтобы жениться на Скрибонии, вдове двух консулов. Он также отрекся от Скрибонии, поскольку порочные нравы этой матери семейства. В третьем браке он женился на Ливии Друзилле, которую увел у Тиберия Нерона, от которого она была беременна; он постоянно любил ее, несмотря на постоянные измены, которые даже не удосуживался скрывать от нее. Удовлетворенная тем, что ее любят превыше всего, Ливия не считала соперницами всех продажных женщин, сменявших друг друга в объятиях ее мужа. Как бы ни были велики излишества седовласого Августа, в общественном мнении их всегда затмевала молодость. Много рассказывали о таинственном ужине, известном как *Пир двенадцати божеств*, где гости, одетые в костюмы богов и богинь, под влиянием амброзии, которую разливали Геба и Ганимед, имитировали непристойные сцены, которые древняя поэзия поместила на Олимпе. На этой оргии Октавиан изображал Аполлона, и анонимный сатирик увековечил память об этих непристойных проделках в знаменитых стихах: "Когда Цезарь осмелился надеть маску Аполлона и отпраздновать прелюбодеяния богов на пиру, возмущенные боги удалились из обители смертных, а сам Юпитер покинул свои золотые храмы". Этот ужин, подробности которого так и не были обнародованы, совпал с голодом, охватившим Рим: "Боги съели всю пшеницу!" - говорили римляне, узнав, что Олимп ужинал во дворце Цезаря: "Если Цезарь действительно бог Аполлон, - роптали более смелые, - то он - Аполлон-палач". Этому богу поклонялись под именем *Тортора*, в одном из районов города, где продавались орудия пыток, в том числе прутья. По мнению одного схолиаста, это оскорбительное описание, примененное к Августу, указывало на ту роль, которую он сыграл в этом ночном празднике.

Оргии Августа были наивными и невинными по сравнению с теми, что развлекали старого Тиберия. Этот император, чья склонность к пьянству постепенно привела его ко всем самым отвратительным порокам, тем не менее стремился реформировать римские нравы; он ужесточил законы, принятые его предшественником против супружеской измены; он восстановил старый обычай, согласно которому собрание родственников единогласно принимало решение о наказании женщин, нарушивших супружеский обет; Что касается мужей, закрывавших глаза на скандальное поведение своих жен, то он заставил их отречься от этих нескромных женщин с большим шумом; он сослал на необитаемые острова патрицианских женщин, записавшихся в списки проституток, чтобы без опаски предаваться разврату; он изгнал из Рима молодых распутников свободного положения, которые, чтобы получить право выступать в театре или на арене, добровольно просили суд о выдаче им позорной грамоты. Но он не считался со строгими предписаниями своей юриспруденции и, казалось, стремился совершать преступления и проступки, которые никто до него не осмелился бы представить. Его действия в качестве верховного магистрата и образ жизни постоянно представляли собой самые странные противоречия; Однажды в сенате он сурово апострофировал Сестия Галла, распутного и распутного старика, подвергнутого бичеванию Августом, а вскоре после этого, уходя, пригласил себя отобедать в доме этого старого распутника, при условии, что ничего не будет изменено в привычках дома, а трапезу, как обычно, будут подавать обнаженные молодые девушки (*nudis puellis ministrantibus*). В другой раз, занимаясь реформой нравов, он провел два дня и одну ночь за столом с Помпонием Флакком и Л. Пизоном, которых он вознаграждал за их постыдные потворства, назначив одного губернатором Сирии, а другого префектом Рима, и назвав их в своих грамотах "своими самыми восхитительными друзьями за все время". Он карал смертью каждого, мужчину или женщину, кто не поддавался его грязным желаниям немедленно. Именно для

того, чтобы отомстить за подобный отказ, он велел своим доносчикам обвинить прекрасную Маллонию, которая предпочла смерть позору. Во время суда он умолял ее покаяться, но она пронзила себя мечом, назвав его вслух "стариком с непристойным ртом, волосатым и вонючим, как козел". И вот на первых играх, проведенных после этого трагического приключения, все зрители аплодировали, применяя к Тиберию этот отрывок из ателланы: "Как видят старого козла, лижущего коз (*hircum vetulum capreis naturam ligurire*)". Народ прозвал императора *Капринеем*, намекая одновременно на его козлиные повадки и привычное пребывание на острове Каприкея.

Вот как Суетоний описывает отвратительную жизнь, которую вел этот монстр в глубинах своего логова: "Он придумал большую камеру, которую сделал местом своих самых тайных развратных действий. Там отборные отряды молодых девушек и юношей, возглавляемые изобретательницами чудовищной проституции, которых он называл *спинтами* (искрами), образовывали тройную цепь и, взаимно переплетаясь, проходили перед ним, чтобы этим зрелищем оживить его измученные чувства. Для этой же цели он устроил несколько комнат, украсив их картинами и барельефами, изображавшими самые развратные сюжеты; он собрал книги Элефантиды, чтобы не было недостатка в образцах для этого случая (*ne cui in opera edenda exemplar imperatæ schemæ deesset*). В лесах и перелесках он не видел ничего, кроме приютов, посвященных Венере, и хотел, чтобы пещеры и впадины скал постоянно представляли его взору влюбленные парочки в костюмах нимф и сатиров... Он еще больше развратничал, доходя до таких эксцессов, в которые так же трудно поверить, как и сообщить о них: он обучал детей самого нежного возраста, которых называл своими *маленькими рыбками*, - *ut natanti sibi inter femina versarentur ac luderent, linguâ morsuque sensim appetentes, atque etiam, quali infantes firmiores, necdum tamen lacte depulsos, inguini ceu papillæ admoveret*;- жанру удовольствий, к которому его возраст и темперамент склоняли его больше всего. Так, когда кто-то завещал ему картину Паррасия, на которой Аталанта прелюбодействует с Мелеагром, а в завещании была возможность получить вместо картины миллион сестерций (193 750 фр.), то, если предмет был ему неприятен, он предпочел картину и поставил ее, как священный предмет, в своей спальне. Рассказывают также, что однажды во время жертвоприношения он влюбился в красоту юноши, разносившего благовония; он едва дождался окончания церемонии, чтобы предаться своей низменной страсти в уединенном месте, куда уединился и брат несчастного, которого он заметил играющим на флейте; затем, когда они обвинили друг друга в своем позоре, он заставил их обоих разбиться. Физический портрет Тиберия дополнит характеристику его нравов: "Он был толст и крепок, выше среднего роста, широк в плечах и груди, хорошо сложен и пропорционален. Левая рука у него была более ловкой и сильной, чем правая: его суставы были настолько крепкими, что он мог проткнуть пальцем еще зеленое яблоко, а одним движением запястья мог поранить голову ребенка или даже юноши... Его лицо было красивым, но склонным к внезапным прыщам..."

Калигула, еще менее сдержанный, чем Тиберий, которому он учился подражать, нагло выставлял напоказ свои печально известные любовные связи с Марком Лепидом, комедиантом Мнестером и несколькими заложниками, с которыми у него была взаимная торговля (*commercio mutui stupri*). Валерий Катулл, сын консула, однажды упрекнул его в злоупотреблении молодостью (*stupratum à se ac latera sibi contubernio ejus defessa, etiam vociferatus est*); но, грубый и жестокий в своих удовольствиях, он не отличался изысканностью сладострастия, и обжорство, а не похоть, вдохновляло излишества его воображения. Он искал необычного, чудовищного, за исключением любви, которая не была даже предлогом для его блудных походов. Не упоминая о кровосмесительных связях с сестрами и известной страсти к куртизанке Пираллис, - говорит Суетоний, - он не уважал ни

одну женщину из высшего сословия (*non temere ullâ illustriore feminâ abstinuit*). Он обычно приглашал этих дам и их мужей на ужин и там, когда они проходили перед ним, долго и подробно осматривал их, как работороговец. Затем, неоднократно покидая пиршественный зал с понравившейся ему дамой, он вскоре возвращал ее обратно, не скрывая недавних пятен ее распутства, и вслух восхвалял или критиковал эту несчастную женщину, чьи красоты или телесные недостатки он перечислял, как и свои собственные подвиги. Некоторых из них он отрекал от имени их отсутствующих мужей, и эти разводы вносились в общественные записи". Более того, своими изобретательными жестокостями, безумными тратами и безжалостными поборами Калигула как-то заставил людей забыть о своих расстройках. Среди странных и отвратительных налогов, которые он установил в Риме, был "*Вектигаль проституции*": каждая проститутка облагалась налогом по той цене, которую она сама требовала за продажу своего тела (*ex capturis prostitutarum, quantum quæque uno concubitu mereret*). Впоследствии император добавил к этой главе закона, что аналогичная повинность взимается со всех тех, кто жил за счет *lenocinium* и *meretricium*, мужчин и женщин. Понятно, что установление этого налога могло быть только произвольным и необязательным.

Но одним из самых необычных событий правления Калигулы стало основание и открытие публичного дома во дворце цезарей. Этот чудовищный факт, о котором сообщают Дион Кассий и Суетоний, показался некоторым критикам настолько неправдоподобным, что они хотели видеть изменение текста в этом отрывке, который Дион, по их мнению, уверенно скопировал, а Суетоний, по их словам, усилил и поэтизировал его. По мнению этих критиков, речь шла о трипоте, а не о борделе. Дион лишь дополняет рассказ латинского историка о том, что идею императорского борделя Калигула почерпнул у галлов. "Чтобы не было никаких злоупотреблений, которые не были бы реализованы на практике, он основал бордель во дворце: там было построено большое количество камер, украшенных в соответствии с подходящим местом, и матроны и гении занимали эти камеры. Император рассылал своих номенклаторов по площадям и базиликам, чтобы те приглашали молодых людей и стариков к разврату (*in libidinem*). Пришедшие находили деньги, которые можно было занять у ростовщиков, а имена тех, кто исправно платил взносы, забирались, как будто таким образом они подписывались на увеличение доходов Цезаря". Эти подробности, на самом деле, очень туманны и неясны; их можно отнести скорее к игорному притону, чем к борделю, и не понять, какой именно кредит ожидал новичков, которых номенклатурщики набирали на общественной дороге. Хочет ли Суетоний сказать, что цена этой проституции под гарантию императора была настолько высока, что ни у кого не было достаточно денег, чтобы заплатить за нее? Что заставляет нас предположить, что этот так называемый лупанар был не более чем игорным домом, которым управляли матроны и сыновья семьи (*ingenui*), так это то, что Суетоний сразу же добавляет детали, которые могут относиться только к азартным играм (*alea*), в которых Калигула использовал мошенничество и лжесвидетельство, чтобы всегда быть хозяином положения.

Как бы то ни было, если должность префекта сладострастия (*à voluptatibus*), созданная Тиберием, просуществовала до правления Нерона, то императорский лупанар наверняка не пережил Калигулу, который придумал ее и неплохо на ней нажился. Его преемник Клавдий был не менее жесток и кровожаден, но не доходил до таких крайностей бесстыдства. У него было слишком много законных жен, чтобы заводить много любовниц, а те, которых он заводил скорее из каприза, чем по любви, не были достаточно известны, чтобы о них писали в истории. Суэтоний, тщательно фиксировавший браки и разводы Клавдия, осуждая

постыдное распутство (*libidinum probra*) его первой жены Ургуланиллы и ослепительные излишества третьей, Мессалины, сформулировал общее суждение о нравах этого императора: "Он страстно любил женщин, но не имел дел с мужчинами (*libidinis in feminas profusissimæ, marium omnino expers*)". Какими бы ни были другие расстройства Клавдия, они далеко не соответствовали расстройствам Мессалины, которую обессмертил Ювенал (см. знаменитый отрывок в Сатире VI, стр. 22 этого тома), и чье имя стало на всех языках синонимом самой бесстыдной проституции. Тацит рассказывает о преступлениях и дерзостях этой императрицы (Liv. XI), которая осмелилась при жизни императора публично выйти замуж за Силия и отпраздновать этот прелюбодейный брак оргией, в которой она играла роль вакханки. Несмотря на личность куртизанки по имени Лисирка, похожей на Мессалину и способной выдавать себя за нее при осуществлении своей профессии проститутки, мы не будем пытаться доказать, что Мессалина была оклеветана историей и что только роковое сходство принесло ей печальную славу.

Пример Мессалины, похоже, побудил Нерона превзойти своих предшественников в карьере преступлений, связанных с проституцией. Как только он снял маску, скрывавшую его дурные наклонности, он бросился во все излишества, на которые была способна утонченность распутства, и дал удовлетворение всем своим порокам. На первых порах он еще сдерживал себя, предаваясь разврату, похоти и буйным страстям, которые можно было выдать за юношеские ошибки. Как только рассветало, он покрывал голову чепцом вольноотпущенника или плащом погонщика и бегал по кабаре и подозрительным местам; он бродил по улицам, оскорблял женщин, издевался над мужчинами и бил все, что ему сопротивлялось. Он сводил счеты с самыми мерзкими женщинами, с самыми недостойными ленонами; его часто били и иногда били. По его словам, это был искусный способ изучить народ и научиться жить как простой гражданин. Поскольку лупанаи, рабовладельцы, трактирщики и пекари угрожали сломать ему спину, он больше не выходил на улицу без сопровождения вооруженных людей, которые в случае необходимости приходили ему на помощь. Но вскоре он презрел идею скрывать свои моральные качества и стал выставлять их напоказ перед всеми, не заботясь о скандале или обвинении. Так, мы видим, как он обедает на публике, на Марсовом поле или в цирке, и ему прислуживают все проститутки Рима и иностранные флейтисты (*inter scortorum totius urbis ambubaiaiarumque ministeria*).

Мало того, каждый раз, когда он отправлялся в Остию на Тибре или плыл по Баийскому заливу, по всему берегу возникали общезнания и места разврата, где матроны, игравшие роль трактирщиц, тысячей уговоров приглашали его зайти. Он часто останавливался, и его путешествие длилось неделями. Префекта сладострастия ему было недостаточно, поэтому он ввел должность арбитра удовольствий, и именно Петроний, похоже, выполнил эту сложную роль, к удовлетворению Нерона. Он был не только арбитром удовольствий, но и элегантности (*elegantiae arbiter*, говорит Тацит), и Тигеллин не простил ему, что он так искушен в науке сладострастия (*scientiâ voluptatum potiolem*). Тем не менее, мы не можем поверить, что Петроний *Арбумп* одобрял отвратительные дерзости, которым предавался император, без малейших колебаний, как только ему приходила в голову идея. Тацит, Суетоний, Ксифилин, Аврелий Виктор говорили об этих бесчинствах, но они избегали описывать их в деталях и вписывать в эту отвратительную картину самодовольных трусов, которые разделяли императорскую оргию или поддерживали ее мерзости. Суетоний, указав на педагогические занятия Нерона с бездарностями (*ingenuorum pædagogia*) и его прелюбодеяния с замужними женщинами, просто обвиняет его в изнасиловании весталки Рубрии. Более откровенно он говорит о своем гнусном браке со Спором и инцесте с его матерью.

Спор был юношей несравненной красоты; Нерон безумно влюбился в него и пожелал, чтобы Спор был женщиной; он попытался, по отвратительной ошибке воображения, изменить пол юноши, который он изуродовал (*ex sectis testibus etiam in muliebrem transfigurare conatus*). Затем, снабдив его приданым и украсив свадебной фатой, как невесту, он с помпой отпраздновал церемонию бракосочетания, в которой женился на своем Споре (*celeberrimo officio deductum ad se pro uxore habuit*), на глазах у многочисленного собрания, аплодировавшего этому одиозному маскараду. Кто-то из присутствовавших на празднике сказал доброе слово, которое могло дорого ему обойтись: "Это было бы великим благом для человечества, если бы отец Нерона, Домиций, женился на такой женщине! Нерон долгое время был влюблен в Спору, которую он нарядил в костюм императриц и которой не стыдился позволять появляться рядом с собой на публике; с этой милашкой он ездил в Грецию, а по возвращении в Рим появлялся с ней в упряжке во время сигиллярных празднеств, и их видели целующимися в каждый момент (*identidem exosculans*). Что касается его матери, Агриппины, то, по словам Тацита, именно она первой добивалась чувств Нерона, чтобы получить похвалу за непристойную связь; но Нерон, потворствуя этим преступным похождениям, не дал своей сообщнице желанной власти, и вскоре он устал от назойливости, которую привлек в качестве наказания за свой инцест. По словам Суетония, он безумно любил Агриппину, но не смог реализовать свои порочные желания либо потому, что Агриппина обладала умением и силой сдерживать их, либо потому, что его отговорили доверенные лица, заставившие его осознать опасность подчинения властной женщине. Однако он сохранил распутное отношение к своей матери, которое выражалось в нечистых поступках, когда он ехал с ней в одной упряжке. (*Olim etiam, quoties lectica cum matre veheretur, libidinum incestu, ac maculis vestis proditum, affirmant*). Более того, чтобы иллюзия больше походила на реальность, он включил в число своих наложниц куртизанку, поразительно похожую на Агриппину.

Нерон гордился тем, что был поэтом, а поэтические вымыслы доводили его до невероятных капризов эротической ярости: Так, он пытался подражать метаморфозам богов, надевая звериные шкуры и бросаясь, то волком, то львом, то лебедем, то быком, на женщин или мужчин в цепях или на свободе, которых он кусал, царапал, изувечивал их по своему усмотрению (*suam quidem pudicitiam usque adeo prostituit, ut contaminatis pæne omnibus membris, novissime quasi genus lusus excogitaret, quo feræ pelle contectus emitteretur e cavea, virorumque ac fœminarum ad stipitem deligatorum inguina invaderet*). Таким образом, он повторил басню Андромеды, Леды, Ио и многих других современников героических веков. Затем, разгоряченный этими непристойными маскарадами, он убедил себя, что благосклонные боги превратили его в женщину, и отдался своему вольноотпущеннику Диофору, подражая крикам юной, смятенной девственницы. (*Et quum affatim desævisset, conficeretur à Doryphoro liberto, cui etiam, sicut ipsi Sporus, ita ipse denupsit, voces quoque et ejulatus vim patientium virginum imitatus*). Он был убежден, что ни один человек не является абсолютно целомудренным или свободным от какого-либо телесного растления (*neeminem hominem pudicum, aut ulla corporis parte purum esse*), но считал, что большинство умеют скрывать порок и умело его прятать: "Поэтому, - добавляет Суетоний, - он прощал все прочие прегрешения каждому, кто признавался перед ним в разврате". Этот несчастный император вполне заслуживал того, чтобы умереть, рыдая, в объятиях позорного Спора, который не смешивал свою кровь с кровью этого товарища по разврату, которого он ненавидел, ибо тело Нерона было покрыто пятнами и язвами, источавшими дурной запах и являвшимися результатом его деяний. Однако именно его наложница Актея положила его прах, окропив его слезами, в гробницу Домициев.

Гальба, хотя и вел свое происхождение от Пасифаи и ее быка, не обладал ни темпераментом, ни здоровьем, чтобы продолжать огромные излишества Нерона. Он был чрезмерно худым, несмотря на обещание его имени, которое в переводе с галльского означало "*толстый*", и эта худоба свидетельствовала о позорности его привычек: он предпочитал крепких и даже старых мужчин молодым (*libidinis in mares pronioris, et eos, non nisi præduros, exoletosque*). Когда Ицилий, один из его бывших наложников (*veteribus concubinis*), приехал в Испанию, чтобы сообщить ему о смерти Нерона, говорят, что, не довольствуясь непристойными поцелуями на глазах у всех, он сделал ему эпиляцию и взял его с собой в постель (*non modo artissimis osculis palam exceptum ab eo, sed, ut sine morâ velleretur, oratum atque seductum*).

Оттон, не давший Гальбе времени *насладиться молодостью*, как говорили армейские кади, когда ходили с его головой на конце копья, был учеником и потворщиком Нерона; с детства он был блудным и развратным, бегал по дурным местам и пристрастился к всевозможным излишествам. Когда он достиг честолубивого возраста, то, чтобы добиться признания, привязался к одной придворной вольноотпущеннице, у которой было много денег, и даже притворялся влюбленным в нее, хотя она была старой и дряхлой. Именно через этот канал он попал в лапы Нерона, которому оказал позорные услуги. Но он рассорился с императором из-за Поппеи, из-за которой они поссорились и которую Оттон был вынужден оставить по закону сильнейшего. Надо полагать, что с годами его нравы только развращались, а образ жизни можно оценить по описанию его ухоженности, свидетельствующему о его женоподобных вкусах: "Все тело его было покрыто воском, а на почти лысой голове он носил фальшивые волосы, закрепленные и уложенные так искусно, что никто не замечал. Он каждый день с особой тщательностью брил лицо и натирал его мокрым хлебом - эта привычка появилась у него, как только его подбородок покрылся легким пухом, так что у него никогда не будет бороды".

Но Отто, провозглашенный императором в Риме, едва успел устроить несколько тайных оргий во дворце цезарей: он был вынужден выступить в поход против Вителлия, который пришел оспаривать у него империю, и покончил с собой собственной рукой после трех последовательных поражений, хотя его маленький рост и женственная внешность не могли сравниться с такой храбростью. Вителлий, его завоеватель и преемник, в юности опозорился из-за страсти к вольноотпущеннице, чью слюну, смешанную с медом, он глотал как суверенное средство от боли в горле, к которой был склонен. Кроме того, он был воспитан в школе проституции, так как провел детство в Капрее среди фавориток Тиберия, и остался опозорен именем *Спинтрия*, потому что руководил спинтрией старого императора. Достигнув возраста старого быка, как он говорил в шутку, он продолжал порочить себя теми же позорами и стал нечистым знакомым Калигулы, Клавдия и Нерона. Но с тех пор он неистово любил вольноотпущенника по имени Азиатик, который был его непристойным спутником в Капре (*mutua libidine constupratum*) и который все время пытался сбежать от него, но так и не смог заставить себя забыть. Вителлий снова нашел его, то продающим пикет погонщикам, то сражающимся среди гладиаторов, и, как только он снова увидел его, его охватили постыдные воспоминания юности; он снова схватил эту невольную жертву и попытался завоевать его подарками и почестями: он сделал своего Азиатика наместником провинции и рыцарем! Поскольку с возрастом он стал тучным, он принес свою похоть в жертву чревоугодию, заявив, что желудок - самая благодущная и сильная часть тела, в отличие от других, которые слабеют от употребления. Он довел вместимость своего желудка до такой степени, что ел почти без перерыва, когда не спал, и его ненасытное чревоугодие возобновлялось в любое время благодаря привычке не дожидаться рвоты, пока не начнется

работа пищеварения: таким образом, он мог делать четыре приема пищи в день, которые заполняли весь день и часть ночи. Чувства его отяжелели, и он просыпался лишь время от времени посреди этих непрерывных пиров, во время которых он редко взывал к Венере, опустошая огромные чаши и пожирая целые миноги. Его чудовищное телосложение, красное, пузатое лицо, выпирающий живот и веретенообразные ноги свидетельствовали о том, что он провел за столом все свое царствование и не уставал гоняться за мимолетными удовольствиями любви.

После прожорливого императора в Риме появился скупой император, который воздержался от губительных излишеств своих предшественников и не впал в их немилость. Веспасиан, преследуя христиан, не позволил себе поддаться влиянию христианства : он понимал, что достоинство человека требует определенной сдержанности нравов и что глава империи должен подавать пример уважения, которое каждый должен проявлять к общественному мнению. Государственный разум был принципом этой квазихристианской философии, которую Веспасиан воплотил в жизнь; его холодный и строгий нрав позволял ему быть последовательным в вопросах морали. Он боролся с развратом с помощью нескольких мудрых правил и, прежде всего, своего достойного и регулярного образа жизни. Однако после смерти своей жены Флавии Домитиллы он жил в качестве наложницы с бывшей любовницей по имени Ценис, которую освободила Антония, мать Клавдия, и для которой она выполняла функции секретаря; но эта незаконная связь со временем стала столь же респектабельной, как и брак, санкционированный законом, и Ценис в глазах императора занимала место настоящей жены. Сам Веспасиан хранил ей верность не только потому, что любил ее, но и потому, что не любил никого другого. Однако Суетоний рассказывает, что некая женщина притворилась бурной страстью к нему и в конце концов победила его презрение, убедив его, что она неизбежно умрет, если не получит доказательств его нежности. Когда это доказательство было получено, Веспасиан ослабил свою обычную скупость до такой степени, что заставил даму заплатить ему 400 000 сестерций (77 500 фр.) в честь новизны события. Его управляющий спросил его, как эта сумма должна быть внесена в счета императорских расходов: "Положите, - сказал Веспасиан, - *за страсть, вдохновенную императором (Vespasiano, ait, adamato)*". Каким бы целомудренным он ни был в своих нравах, Веспасиан иногда опускался до грубых шуток и не воздерживался даже от самых грязных выражений (*prætextatis verbis*).

Тит, прежде чем стать преемником своего отца Веспасиана, заслужил самую дурную репутацию в Риме, где его жестокость и невоздержанность оттолкнули от него народные симпатии: Он затягивал свои распутства за столом до середины ночи с самыми беспутными из своих спутников; его всегда видели в окружении стаи евнухов или гитонов (*exoletorum et spadonum greges*); Его также обвиняли в хищничестве и открыто говорили, что он будет еще одним Нероном; но он внезапно изменился, как только оказался на троне, и стал править как философ, неосознанно следуя заповедям Евангелия Иисуса Христа: Как и его отец, он не преследовал христиан, которые восхищались им как образцом всех христианских добродетелей. Его оплакивал весь народ, когда он умер преждевременно, заявив, что за всю свою жизнь совершил только один поступок, за который должен покаяться. Суетоний утверждает, что это была связь с Домицией, женой брата Тита, но она всегда заявляла о своей невинности, беря в свидетели богов: "Она не была женщиной, чтобы отрицать такую связь, - добавляет он, - если бы она существовала, она бы скорее первая стала хвастаться ею, как и всеми своими бесчестиями".

Домиция же не отрицала своей прелюбодейной связи с гистрионом Парисом, которого безумно любила, и Домициан, провозглашенный императором, был вынужден отречься от

нее или, по крайней мере, отстранить на время, чтобы удовлетворить общественное негодование. Вскоре он принял ее обратно, признав, что, несмотря на все упреки другой Мессалины, он не может без нее обойтись и что она занимает место сотни любовниц. Однако он дал Домиции соперницу: она была родной дочерью его брата Тита; он соблазнил ее и увел от мужа, еще при жизни Тита; он проявлял к ней самую необузданную страсть и стал причиной ее смерти, заставив сделать аборт, сомневаясь в ее чудовищном отцовстве. Кроме того, он был слишком склонен к любовным утехам, которые он называл *гимнастикой постели* (*libidinis nimiae, assiduitatem concubitus, velut exercitationis genus*, κλινοπαλῆν *vocabat*). Говорят, что он развлекался тем, что покрывал воском своих наложниц, когда не выковыривал мух шилом, и купался в огромных бассейнах с самыми мерзкими проститутками (*nataretque inter vulgatissimas meretrices*). Однако, несмотря на такой либертинизм, Домициан был озабочен реформированием нравов и призвал применить несколько старых полицейских законов, которые вышли из употребления: Так, , пока Клодий Поллион, прозванный Одноглазым, распространял копию автографа, в котором Домициан, тогда еще молодой и пристрастный к постыдным порокам, обещал ему ночь (*noctem sibi pollicentis*), император приговорил нескольких римских рыцарей, осужденных за преступление педерастии, к наказанию по закону Скантиния. Именно он запретил обесчещенным женщинам пользоваться подстилкой (*probosis feminis lecticae usum ademit*) и установил страшные наказания за кровосмешение с весталками; Он приказал похоронить заживо великую весталку Корнелию, у которой было несколько сообщников, и избить их до смерти; другие весталки, сестры Оцеллата и Варронилла, были вольны сами выбирать себе смерть, а их соблазнители отправились в изгнание. Наконец, Домициан, несомненно, стыдясь оглянуться на себя, вычеркнул из списка судей римского рыцаря, который принял обратно свою жену после того, как отрекся от нее и предстал перед судом как прелюбодей.

Но евангельская мораль захлестывала со всех сторон, и язычество, казалось, краснело за свои блудные похождения, которые оправдывались историей ложных богов. Христианская философия проникла в учение Платона, и императоры, гордившиеся тем, что они философы, старались исправить свои пороки и обуздать страсти. Так, старый Нерва, который, по словам Суетония, развратил юность Домициана; Траян, который любил мальчиков, что не осуждает Ксифилин; Адриан, который принес бы империю в жертву своему любимцу Антиною, которого он обожествлял и считал сладострастником во всех смыслах (*quæ adulatorum amore ac nuptarum adulteriis, quibus Adrianus laborasse dicitur, asserunt*); Эти три императора правили как мудрые люди и работали над восстановлением римского общества на фундаменте честности, справедливости, скромности и религии, которая проистекала из новой веры. Антонин Благочестивый и Марк Аврелий были истинно христианскими императорами, и при их славном правлении верилось, что Евангелие станет универсальным кодексом человечества. Но язычество, презираемое в своих материальных наклонностях и закосневшее в своей органической испорченности, должно было сделать последнее усилие при Коммод и Гелиогабале, чтобы втянуть римский мир в последнюю сатурналию Проституции.

---

## ГЛАВА XXIX.

Краткое содержание.- Коммод, император.- Его нескромная юность.- Его возлюбленный Антер.- Как Коммод проводил свои дни и ночи.- Антер убит по наущению префектов претория.- Его триста наложниц и триста синедрионов.- Его чудовищные оргии.- Его

злодеяния.-Как Марсия, наложница Коммода, раскрыла план императора убить ее и многих офицеров императорского дома.-Филокоммод.-Смерть Коммода.-Гелиогабал, император.-Своеобразная слава и позор, оставленные им в истории.-Гелиогабал, верховный жрец солнца.-Македонская роскошь одежды Гелиогабала.-*Semiamire clarissima*.-Малый сенат, основанный императором, чтобы угодить своей матери.Что представлял собой *малый сенат* и для чего он был нужен.- Мерзкие вкусы Гелиогабала.- Непристойные пантомимы, которые он исполнял, и роль, которую он играл сам.- Каких людей он предпочитал в качестве спутников в своих развратных похождениях.- Как он праздновал Флоралы.- *Монобеллии*.- Удовольствие, которое он находил, смешиваясь инкогнито с актами народной проституции - Его симпатия и нежность к проституткам -Вызов, который он сделал всем зарегистрированным куртизанкам и всем профессиональным свахам -Как он вел себя перед этой позорной толпой, над которой он председательствовал, и какой подарок он сделал каждому из присутствующих.Император как куртизанка - Как Гелиогабал праздновал сбор винограда - Законные жены этого императора-гермафродита - Вдова Помпония Басса - Корнелия Паула - Жрица Весты - Муж Гелиогабала - Возница Иерокл - Аврелий Зотикус, известный как *повар*.-Браки богов и богинь -Феерические пиры Гелиогабала -Мелкие лотереи, которые он разыгрывал на этих пирах -Права, которые имели куртизанки в императорском дворце -Смерть Гелиогабала -Александр Север, император -Благотворное влияние его правления -Галлиан, император.-Его разврат.- *Божественный* Клавдий, император.- Аврелиан, император.- Тацит, император.- Пробус, император.- Карин, император.- Его позорная жизнь.- Диоклетиан, император.- Именно во время его правления история римской проституции, похоже, подошла к концу.

Семья Антонинов, посадив на императорский трон двух великих философов, пытавшихся возродить языческий мир с помощью морали, должна была породить печально известного Коммода и угаснуть вместе с Гелиогабалом. Мерзости этих двух последних царствований составляют печальный контраст с прекрасными добродетелями Антонина и Марка Аврелия, которые даже заставили нас забыть об их славных предшественниках Траяне и Адриане. Марк Аврелий предвидел, что его сын Коммод однажды станет похожим на Нерона, Калигулу и Домициана: он жалел, что не умер, не увидев исполнения этого рокового предсказания. Если бы Коммод обладал только дурным нравом, его отец закрыл бы глаза на то, что было обычным фактом молодости и темперамента; так Марк Аврелий терпел развратную жизнь своего приемного сына Луция Вера, которого он связал с империей и знал, что тот предан всем чувственным удовольствиям; Но Луций Вер, предаваясь разврату с танцовщицами, шутами и куртизанками, старался ограничиваться внутренним убранством своего дворца, а наружу выносил лишь пристойные, благородные и почти аскетичные привычки. Излишества его личной жизни никак не влияли на его общественную жизнь, и он мог предстать перед Марком Аврелием, не вызывая скандала из-за собственных пороков, отражавшихся на этом добродетельном императоре.

Коммод же, напротив, не успокоился бы, если бы его порочность не имела тысячи свидетелей и тысячи отголосков: для него было удовольствием и необходимостью унижать себя в глазах всех. Более того, злоупотребление похотью до такой степени возбудило его чувства, что для их удовлетворения он прибег к пролитию крови: он был жесток от природы, и в нем жестокость переросла в зверскую страсть, которая смешалась со всеми приступами эротической ярости. "С самого раннего детства, - говорит Ламприд, опираясь на греческих и латинских историков, ныне утраченных, - он был нескромен, нечестив, жесток, либидинозен и даже осквернял свои уста". (*Turpis, improbus, crudelis, libidinosus, ore quoque pollutus, constupratus fuit*). Однако вскоре после принятия мужественного одеяния, возвращаясь из экспедиции в Египет, куда он сопровождал своего отца, он разделил почести триумфа с

божественным Марком Аврелием. Он отказался от мудрых и достойных наставников, которых ему дали, и окружил себя самыми развращенными людьми: некоторое время их держали вдали от него, но так как от горя, что он их больше не увидит, он заболел, их вернули ему, и с тех пор он больше не сдерживал свою дерзость. Он превратил дворец в таверну и место разврата (*popinas et ganeas in palatinis semper ædibus fecit*); он привлекал туда самых красивых женщин, как рабов, привязанных к борделям, чтобы заставить их служить всем его нечистым прихотям (*mulierculas formæ scitioris, ut prostibula mancipia lupanarium, ad ludibrium pudicitiae contraxit*). Наконец, он жил с гладиаторами и меркантильными женщинами; он преследовал дома проституции и, переодетый евнухом, входил в камеры, чтобы принести воды или прохладительных напитков (*aquam gessit ut lenonum magister*).

Когда Марк Аврелий умер в Риме, Коммод вел войну с варварами на берегах Дуная, где постоянно тосковал по прелестям Италии; поэтому он поспешил покинуть солдат, провозгласивших его императором, и был с восторгом принят римлянами, которые не помнили о порочности его юности, видя его таким красивым и хорошо сложенным: "В его внешности не было ничего женственного, - говорит Геродиан, - глаза были нежными и живыми одновременно; волосы были вьющимися и очень светлыми: когда он ходил на солнце, его волосы издавали такой ослепительный блеск, что казалось, будто они были припудрены золотом". Но эта сияющая красота, равных которой, если верить Геродиану, не было, вскоре увяла в оргиях, где Коммод испытывал не столько свои силы, сколько ненасытные желания; его крепкое телосложение не выдержало постоянных нападков, и вскоре он оказался истощенным, со сгорбленной спиной, дрожащей головой, бугристым цветом лица, красными глазами и слюнявыми губами. В результате нескольких позорных болезней у него даже образовалась опухоль в паху, настолько большая, что она просвечивала сквозь шелковые одежды. В день своего въезда в Рим, когда восторг народа был сосредоточен на его очаровательном лице и привлекательной внешности, он заставил своего возлюбленного (*subactore suo*) Антеруса ехать позади него на колеснице, и на протяжении всей триумфальной церемонии он то и дело оборачивался, чтобы поцеловать этого мерзкого персонажа: их гнусные ласки продолжались посреди театра, под аплодисменты зрителей.

Поначалу Коммод возобновил тот образ жизни, который вел при жизни отца: по вечерам он часто посещал таверны и дурные места (*vespera etiam per tabernas ac lupanaria volitavit*); ночью он пил до рассвета в компании своего Антеруса и других своих фаворитов. Что касается дел империи, то он оставил их Переннису, который поощрял его заниматься только своими удовольствиями и освобождал от бремени правления: так они договорились, когда Коммод потерял Антера, которого префекты претория убили, чтобы избежать тиранических прихотей этого фаворита. Коммод утешался этой потерей, погружаясь в еще более странные удовольствия: он почти не появлялся на людях, жил взаперти во дворце, где собрал триста наложниц, чья красота делала их любимицами его кормилиц, и которых выбирали без разбора из числа матрон и проституток. К этим наложницам он добавил для собственного пользования триста молодых синедемонов, выбранных в равной степени из знати и простонародья и не менее замечательных, чем женщины, совершенством своих телесных форм. Эти шестьсот гостей сидели за его столом и по очереди предавались его нечистым фантазиям (*in palatio per convivia et balneas bacchatur*). Когда его физические силы подводили его, он призывал на помощь всю силу воображения: он заставлял своих наложниц предаваться на его глазах тем удовольствиям, которые он уже не мог разделить с ними (*ipsas concubinas suas sub oculis suis stuprari jubebat*). Эти сладострастные сцены оживляли его измученные чувства, и он снова становился актером этих непристойных вакханалий, где

путались полы, где проституция прибегала к самым ужасным ухищрениям (*nec irruentium in se juvenum carebat infamia, omni parte corporis atque ore in sexum utrumque pollutus*).

Это уже не было, как при Тиберии и Нероне, стремлением удовлетворить огромные материальные страсти; скорее, это было неутолимое стремление развращенного воображения, которое стремилось лишь вернуть жизнь в отказывающие чувства. Коммод, например, изводил свой разум, придумывая самые одиозные сочетания непристойностей в виде фильтров. Изнасиловав своих сестер и родственников, он дал имя своей матери одной из наложниц, чтобы убедить себя в том, что совершает с ней инцест. Он не щадил ни одного из окружавших его друзей и подвергал их постыдным побрякам, не отказываясь от побряжек сам (*omne genus hominum infamavit quod erat secum et ab omnibus est infamatus*). Горе тому, кто позволял себе смеяться или издеваться: он отправлял злонамеренного шутника на съедение зверям. "Ему больше всего нравились, - говорит Ламприд, - те, кто носил имена постыдных частей тела любого пола, и он целовал их лучше всех". (*Habuit in deliciis homines appellatos nominibus verendorum utriusque sexus, quos libentius suis osculis applicabat*). Вариант латинского текста - *oculis* вместо *osculis* - смягчает этот отрывок, создавая впечатление, что он довольствовался тем, что смотрел на них с большим интересом и любопытством, чем на носителей честных имен. Среди своих знакомых он выделил одного вольноотпущенника, которого назвал Ононом (*ονος*, осел) за некую непристойную аналогию с этим животным: он сделал его богатым и назначил верховным жрецом Геркулеса Полевого, чтобы вознаградить его за заслуги. (*Habuit et hominem pene prominente ultra modum animalium, quem Onon appellavit, sibi charissimum*). Сам он был назван Геркулесом сенатом, который уже дал ему прозвища *Благочестивый* и *Счастливым*.

Нельзя без ужаса представить себе развратные действия, запятнанные человеческой кровью, которыми это обожествленное чудовище занималось с каким-то inferнальным гением; он даже не уважал храмы богов (*deorum templa stupris polluit et humano sanguine*). Он любил носить женскую одежду и принимать женские обличья; часто он одевался как Геркулес, в расшитую золотом куртку и львиную шкуру: "Это было смешно и причудливо, - говорит Геродиан, - видеть, как он одновременно демонстрирует женское самообладание и силу героев". На своих пирах он часто смешивал экскременты с самыми изысканными блюдами и, не колеблясь, пробовал их сам, чтобы получить удовольствие от того, что их едят другие (*dicitur sæpe pretiosissimis cibus humana stercora miscuisse, nec abstinuisse gustu, aliis, ut putabat, irrisis*). Гримасы, которые корчили гости, подражая ему, доставляли ему злую забаву, которой он не ограничивался. Однажды он приказал Юлиану, префекту претория, раздеться и танцевать голым, с измазанным лицом, играя на цимбалах, перед наложницами и гитонами, которые аплодировали ему; затем он бросил его в пруд, где его съели миноги. Все его позорные, нечистые и жестокие деяния - словом, все его мастерство гладиатора и развратника - были торжественно занесены в публичные записи Рима (*omnia quæ turpiter, quæ impure, quæ crudeliter, quæ gladiatorie, quæ lenonice faceret*).

В конце концов, этот мерзкий император, избежав нескольких заговоров против своей жизни, был убит по наущению Марции, наложницы, которую он любил больше всех. Марсия тоже любила его, несмотря на его преступления, и следила за его жизнью, как внимательная мать, возможно, скорее из жалости, чем из любви. Коммодус задумал отметить первый день года праздником, на который он отправится в цирк, вооруженный своей булавой и впереди всех гладиаторов. Марция умоляла его не делать этого, и все офицеры императорского дома также умоляли его не подставлять себя под кинжалы убийц. Император, раздраженный противодействием своих самых верных слуг, решил избавиться от них, приговорив к смерти. Он написал имена приговоренных на коре липы, которую забыл под прикроватной

тумбочкой. "При дворе его, - сообщает Геродиан, - был один из тех маленьких детей, которые служат удовольствиям сладострастных римлян, которых держат полуобнаженными и красота которых усиливается блеском драгоценностей. Он безумно любил этого ребенка и назвал его *Филокоммодом*". Ребенок вошел в комнату, нашел на полу список проскрипций и забрал его, как игрушку. Марсия увидела список в руках ребенка и забрала его у него, приласкав: "Мужайся! Комод, не отказывай себе", - кричала она, читая его имя и имена всех прописанных. Вот вам награда за мою нежность и долгое терпение, с которым я терпела вашу жестокость и разврат!... Но нельзя сказать, что человек, всегда утопающий в вине, предупредит трезвую женщину, у которой есть весь ее разум!" И действительно, она сразу же отправилась предупредить тех, кому предстояло разделить ее судьбу, и вылила яд из своей руки в кубок Коммоды, который, угрожая остаться в живых, был задушен рабом Нарциссом, которого Марсия привлекла на свою сторону, пообещав отдаться ему. "Коммод был жесточе Домициана, нечистоплотнее Нерона!" - воскликнул сенат, который потребовал, чтобы труп притащили с крюком к сполариу, где были свалены трупы гладиаторов.

Можно было бы подумать, что Коммод никогда не будет превзойден в анналах проституции, но не учитывать Гелиогабала, который оставил неизгладимое пятно в истории и славу уникальную в бесчестье. Ламприд, написав нечистую жизнь (*impurissimam*) этого чудовища в соответствии с греческими и латинскими современниками, которые писали ее до него, почти стыдился своей работы, хотя он и опустил множество деталей, которые скромность не позволила ему собрать (*quum multa improba reticuerim et quæ ne dici quidem sine maximo pudore possunt*), и хотя он завуалировал под честное слово (*prætextu verborum adhibito*) те, которые он осмелился сохранить в своем отчете, адресованном императору Константину. Геродиан и Ксифилин, которые одни пережили потерю первоначальных историков, сообщают нам некоторые из этих одиозных подробностей, которые Ламприд (другие говорят, что спартанец) не захотел воспроизвести. "Удивительно, - повторяем мы вместе с Лампридом, - что такое чудовище было возведено на престол империи и управляло ею почти три года, не найдя никого, кто мог бы избавить от него римское общество, когда никогда не было недостатка в тираноубийцах - Нероне, Вителлии, Калигуле и других князьях подобного рода". Правление Гелиогабала было поистине последней конвульсией умирающего язычества, которое, умирая, с отчаянием катилось в трясину античного мира.

Гелиогабал, чье первоначальное имя было Авит, взял себе имя, обозначающее его первую должность жреца солнца, а затем принял имя Антонин, поскольку претендовал на происхождение от рода Антонинов, которым империя была обязана Антонину Благочестивому и Марку Аврелию, но которых уже опозорил презренный Коммод. По словам Гелиогабала, его мать Семиимира, жившая как куртизанка и совершавшая всевозможные пакости при дворе императоров (*quum ipsa meretricio more vivens, in aulâ omnia turpia exercebat*), имела постыдную связь с Антонином Каракаллой, плодом которой он и стал. Однако его происхождение оспаривалось теми, кто прозвал его *Вариум*, или Пестрым, из-за множества любовников, разделявших в то время благосклонность его матери. Как бы то ни было, когда Макрин приказал убить Каракаллу, Гелиогабал, опасаясь, что его причастят к убийству императора, которого он считал своим отцом, укрылся в Храме Солнца в неприкосновенности. Именно из этого храма он вышел на следующий год, чтобы быть провозглашенным императором солдатами, которые прозвали его Ассирийцем и Сарданапалом: "На нем были очень роскошные одежды, - рассказывает Геродиан, - покрытые золотом и пурпуром, с браслетами, ожерельем и короной в виде тиары, украшенной жемчугом и драгоценными камнями. Он одевался, как жрецы Финикии, и заимствовал кое-что из роскоши Македонии: он презирал одежду римлян и греков, которая была сделана только из шерсти, и не обращал внимания ни на что, кроме шелковых тканей".

Чтобы приучить римлян к своей варварской роскоши и женоподобной одежде, он задумал нарисовать себя в костюме жреца Солнца и послать этот портрет в Рим, прежде чем приехать туда самому. Но его фигура была ничто по сравнению с его нравом, который пугал самых развратных римлян: *Quis enim ferre posset principem per cuncta cava corporis libidinem recipientem, quum ne belluam quidem talem quisquam ferat?* Гелиогабал дошел до такого предела чувственной развращенности не из-за опьянения властью: империя нашла его таким развращенным и деградировавшим в святилище своего финикийского бога. Поэтому можно сказать, что, став императором, он стал не более порочным и позорным, если не более жестоким. Чего можно было ожидать от жалкого глупца, не имевшего понятия о честности и считавшего главным достоинством жизни то, что он достоин и способен удовлетворить низменные страсти многих (*cum fructum vitæ præcipuum existimans si dignus atque aptus libidini plurimorum videretur*)? Понятно, что христиане представляли этого императора как воплощение дьявола.

Как только сенат собрался в первый раз, он появился там вместе со своей матерью, старой куртизанкой, которую, как вспоминал не один сенатор, он знал во время исполнения ее низменной профессии. Семиамир заняла свое место рядом с консулами и подписала составленный по этому случаю сенат-консульт. Она была единственной женщиной, заседавшей в качестве *клариссимы* в римском сенате. Чтобы угодить своей матери, Гелиогабал также основал небольшой сенат (*senaculus*), состоявший из матрон, которые собирались в определенные дни на горе Квиринал, чтобы обсудить законы о роскоши, касающиеся женщин: Было решено, какую одежду они должны носить на публике; кто должен первенствовать среди них; кого они должны допускать к обычным поцелуям; кто из них должен использовать подвесные повозки; кто - седлать лошадей; кто - ослов; кто - колесницей, запряженной волами или мулами; кто - литаврами, и должны ли эти литагры быть отделаны кожей и украшены золотом, слоновой костью или серебром; форма и украшения обуви, которую каждый класс женщин имел привилегию носить, регулировались сенатом-консультом. Семиамир, казалось, сохранял верховную власть исключительно над своим полом; Гелиогабал - над своим, как если бы он ограничивал свою роль императора командованием людьми. Во время зимы, которую он провел в Никомидии, прежде чем обосноваться в Риме, Гелиогабал дал волю своим постыдным вкусам; настолько, что солдаты, избравшие его, краснели, видя, как их император путается с гнусными гитонами (*omnia sordide ageret, inireturque à viris et subaret*). Находясь в Риме, он старался не менять свой образ жизни. Все его занятия, - говорит Ламприд, - сводились к выбору эмиссаров, ответственных за поиск повсюду и приведение к его двору людей, которые должны были выполнить определенные условия, благоприятные для его удовольствий". Ксифилин объясняет, что это были за условия, которыми природа более щедро одарила немногих привилегированных. Те, кто считался достойным быть представленным императору, появлялись в непристойных пантомимах, которые он исполнял и в которых всегда играл роль баснословной богини. Особенно ему нравилось изображать любовь Венеры, и, чтобы сыграть этот образ, он раскрашивал свое лицо и натирал все тело благовониями. Под видом Венеры он часто повторял главную сцену суда над Парисом: внезапно его одежда падала к его ногам, и мы видели его обнаженным, одна рука перед его грудью, а другая перед знаком его мужественности, который он полностью скрывал, *posterioribus eminentibus in subactorem rejectis et oppositis*.

В театре и цирке Гелиогабал выбирал спутников своих развратных походов из числа самых крепких атлетов и самых перепончатокрылых гладиаторов. Именно здесь он выделил кучеров Протогена, Гордия и Иерокла, которые принимали участие во всех его безобразиях: он воспылал к Иероклу такой страстью, что публично целовал его самым отвратительным

образом (*Hieroclem vero sic amavit ut eidem oscularetur inguina*); он назвал это торжество Флоралами. Во дворце были построены общественные бани, и он не стеснялся купаться среди людей, чтобы лучше выявить для себя те особые качества, которые он любил в людях (*ut ex eo conditiones bene vasatorum hominum colligeret*). Он также обходил перекрестки дорог и берега Тибра, ища тех, кого он называл *монобелами*, то есть полными мужчинами (*viriliores*). Только такие люди пользовались заслугами и почетом (*homines ad exercendas libidines bene vasatos et majoris peculii*). Гелиогабал также возводил в высшие сановники империи людей, которые не пользовались его предпочтениями, кроме как своими огромными мужскими достоинствами (*commendatos sibi pudibulum enormitate membrorum*). На пирах он сажал их как можно ближе к себе и радовался их прикосновениям (*eorumque attrectatione et tactu praecipue gaudebat*); именно из их рук он хотел взять кубок, из которого пил в честь их деяний и своих собственных.

Следуя примеру Нерона и Коммода, он находил бесконечное удовольствие в том, чтобы участвовать инкогнито во всех актах народной проституции: "Прикрывшись шапкой погонщика, чтобы его не узнали, - рассказывает Ламприд, - он за один день посетил, как говорят, куртизанок Цирка, Театра, Амфитеатра и всех районов Рима; если он и не предавался разврату со всеми этими девушками (*sine effectu libidinis*), то все же раздавал им золотые монеты, говоря: "Пусть никто не знает, что Антонин сделал вам этот подарок!" Он был полон сочувствия и нежности к этим несчастным зачинщицам публичного разврата. Однажды он созвал всех куртизанок, занесенных в реестры военизированной полиции, одну из городских базилик, и сам возглавил это странное собрание, в которое были допущены профессиональные сводники, все известные развратники, дети и молодые люди, продавшиеся похоти (*lenones, exoletos, undique collectos et luxuriosissimos puerulos et juvenes*). Прежде всего он предстал в костюме верховного жреца Солнца, чтобы лучше навязать себя этой позорной толпе, и произнес соответствующую речь, начав ее со слова: "*Товарищу*" (*commilitones*), которое повторялось в каждый момент его нескромной речи. Затем он открыл дискуссию по нескольким абстрактным вопросам сладострастия и распутства (*disputavitque de generibus schematum et voluptatum*). Его нескромная аудитория хлопала в ладоши и аплодировала каждый раз, когда встречала какую-нибудь ужасающую фантазию о разврате. Опыренный успехом, он на мгновение выходил из зала и снова появлялся в женской одежде, в тоге и белокуром парике куртизанки, обнажая горло и показывая голую ногу, со взглядами, жестами, поддразниваниями и словами проститутки с перекрестка. В этом наряде он подошел к тем, у кого его прихоть позаимствовала ливрею Меретрика, и доказал им, что знает их ремесло не хуже, чем они сами. Затем, избавившись от заимствованного горла (*papillâ ejectâ*), он принял облик и повадки детей, которых продавали для проституции (*habitu puerorum qui prostituuntur*), и обратился к развратникам, чтобы показать им, что он не менее сведущ, чем они, в их постыдном искусстве. Наконец, он закончил заседание, произнеся новую речь, еще более чудовищную, чем первая, пообещав каждому участнику подарок в три золотые монеты и отдав себя в их молитвы, чтобы боги даровали ему здоровье, бодрость и удовольствие, в которых он нуждался до самой смерти.

Это был не единственный знак особой благосклонности, которую он проявлял к куртизанкам из любви к их профессии. Его часто видели выкупающим на свои деньги всех тех, кто был рабами во власти ленонов, а затем освобождающим их, чтобы они могли продолжать в своих интересах заниматься одиозным ремеслом, которому они научились. Рассказывают даже, что, выкупив за сто тысяч сестерций (19 375 фр.) очень красивую и знаменитую куртизанку, он не прикасался к ней и почитал ее девственницей (*velut virginem coluisse*). Когда он путешествовал, за ним следовали шестьсот карет, наполненных хорошо укомплектованными ленонами, аппаратными, меринами и синедами (*causa vehiculorum erat lenonum, lenarum,*

*meretricum, exoletorum, subactorum etiam bene vasatorum multitudo*). В банях с ним всегда были женщины, и он сам депилировал их. Для бороды он также использовал депиляционную пасту (*psilothro*), предпочитая ту, что уже использовал для депиляции своих жен. Для изготовления бороды он использовал ту же бритву, которой сбривал волосы с позорных частей своих гитонов (*rasit et virilia subactoribus suis novacula manu suâ, qua postea barbam fecit*). "Нет никого, - говорит Ксифилин, - кто мог бы рассказать или выслушать рассказ об отвратительных мерзостях, которые он совершил или претерпел в своем теле". Ксифилин не желает вдаваться в эти подробности, которые Дион Кассий кропотливо собирал и которые греческий язык покрыл некой вуалью, сделавшей их более терпимыми; но оригинальная история Диона Кассия не сохранила правления Гелиогабала, как будто страницы, посвященные этому отвратительному правлению, были вырваны благочестивой рукой. Ламприд также говорит, что в историях этого периода было собрано огромное количество непристойностей, которые он счел нужным обойти молчанием, поскольку они не достойны того, чтобы остаться в памяти людей (*digna memoratu non sunt*): "Он изобрел, говорит он, несколько новых видов разврата и превзошел подвиги древних развратников, ибо знал все приемы Нерона, Калигулы и Тиберия (*libidinum genera quædam invenit, ut spinthrias veterum malorum vinceret, et omnes apparatus Tiberii et Caligulæ et Neronis norat*)."

Мы должны особенно сожалеть об оригинальном тексте Диона Кассия, цитируя этот любопытный отрывок из "Сокращения" Xiphilinus, осторожно ослабленный в переводе президента Кузена: "Гелиогабал отправился в места проституции, прогнал куртизанок и погрузился в самые постыдные сладострастные удовольствия. Наконец, он выделил в своем дворце квартиру для недержания, у дверей которой он стоял обнаженным на манер куртизанок, задерживая занавеску, прикрепленную к золотым кольцам, и зазывал прохожих мягким, женоподобным тоном. К нему были приставлены и другие люди, с которыми он ходил в поисках людей, чей блуд мог доставить ему удовольствие. Он брал деньги с соучастников своих развратных походов и гордился таким позорным заработком, как этот. Когда он находился в компании своих развратников, то хвастался, что у него больше любовниц, чем у них, и больше денег; правда, он безразлично требовал их от всех, перед кем распутничал. Среди них был один, очень выгодного размера, которого он намеревался по этой причине назвать Сезаром". В этом бледном переводе президент Кузен избежал циничной наивности греческого текста, который не должен был щадить чувствительность французских красавцев.

Если чувственные аппетиты Гелиогабала были неумеренными, то его развращенное воображение было еще более сильным и активным. Поэтому с нетерпеливым любопытством он постоянно искал новые способы испачкать свои глаза, уши и душу, а также запятнать скромность других. На пышных пирах, которые он устраивал для своих возлюбленных и гладиаторов, в их руки вкладывали кубки с непристойными формами, перед ними расставляли амфоры и серебряные вазы, перегруженные эротическими изображениями (*schematibus libidinosissimis inquinata*). Вся эта бесстыдная серебряная утварь особенно блистала на торжественных обедах, которые он давал по случаю сбора винограда и на которых развлекался тем, что позорил самых похвальных горожан и самых величественных стариков. Он спрашивал их, чтобы поставить в неловкое положение, проявляли ли они в молодости столько же бодрости, сколько он сам, и задавал эти вопросы с беспрецедентной наглостью (*impudentissime*), (*neque enim unquam verbis pepercit infamibus, quum et digitis impudicitiam ostentaret, nec ullus in conventu, et audiente populo, esset pudor*). Так он намеревался отпраздновать свободу сбора винограда. Он вдруг спрашивал старика с белой бородой и торжественной осанкой: "Верен ли ты культу Венеры (*an promptus esset in Venerem*)?". Если старик краснел от этого дерзкого вопроса: "Он покраснел!" - он кричал: "Дело в порядке (*salva res est*)". Для него молчание и покраснение были равносильны

признанию. Тогда он позволял себе говорить о своих поступках, и если все старики опускали глаза и краснели, он обращался к своим молодым сообщникам, предлагая им дать прямой ответ на поднятый им вопрос: они немедленно подчинялись и пытались повторить пошлость своего господина, который был рад их слушать и который бросал им невежественный вызов. Лесть часто развязывала языки старикам, которые, в свою очередь, хвастались тем, что совершают те же бесчестия и имеют мужей (*qui improba quædam pati se dicerent, qui maritos se habere jactarent*). При этих неожиданных откровениях император ликовал от радости и не подозревал, что эти несчастные притворяются, что у них нет пороков, чтобы угодить ему и развлечь его.

Этот император-гермафродит хотел иметь несколько законных жен и несколько мужей. Сначала он женился на вдове Помпония Басса, которого он приговорил к смерти по обвинению в порицании частного поведения императора. Эта женщина, столь же красивая, сколь и благородная, была внучкой Клавдия Севера и Марка Антонина. Гелиогабал, который с помощью насилия заставил ее принять одиозный союз, вскоре бросил ее ради своих соперниц: "Он искал их не по нужде, - говорит Ксифилин, - а из желания подражать разврату своих любовниц". Затем он женился на Корнелии Пауле, надеясь, по его словам, поскорее стать отцом, "который не был мужчиной", добавляет Ксифилин, как будто для того, чтобы помучить комментаторов. Этот брак был отпразднован играми и народными гуляниями, но вскоре он отрекся от своей новой жены под предлогом того, что на ее теле было пятно. На самом деле причиной отречения был другой брак, который он хотел заключить с большей пышностью, чем предыдущие. Он вошел в храм Весты и вскоре позволил священному огню погаснуть (*ignem perpetuum extinguere voluit*), а сам осквернил святилище кровосмешением. Он похитил весталку Аквилу Северу и нагло женился на ней перед лицом небес, заявив, что дети, рожденные верховным жрецом Солнца и жрицей Весты, несомненно, будут священными и божественными. Но детей от этого кощунственного брака у Гелиогабала было не больше, чем от других, и он вскоре разочаровался в своей весталке, которую сменил на двух или трех женщин, пока не вернул себе Аквилу Северу.

Однако, говоря о его браках с мужчинами, мы вряд ли осмелимся придерживаться перевода Ксифилина, который президент Кузен не осмелился воспроизвести со скрупулезной верностью. Поэтому Гелиогабалус вышла замуж как женщина и называла себя *госпожой и императрицей*. "Он работал с шерстью, иногда надевал сетку и втирал мазь в глаза. Он брил подбородок и устраивал пиршество, заботясь о том, чтобы на нем не волос, чтобы больше походить на женщину, и, лежа, принимал сенаторов, которые приходили его приветствовать. Ее мужем был раб из Карики по имени Иерокл, погонщик телег". Он заметил Иерокла однажды, когда тот, упав с колесницы, показал свои вьющиеся волосы и безбородый подбородок: у Иерокла были обильные светлые волосы, гладкая белая кожа, тонкие черты лица и мерцающие глаза, но эти женоподобные черты сочетались в нем с талией великана и атлетическим телосложением. Гелиогабал приказал увести его, покрытого потом и пылью; затем он установил его в своей спальне, только что из бани, и на следующий день торжественно женился на нем. Ксифилин, вернее, президент Кузен, рассказывает: "Муж плохо обращался с ним, оскорблял и бил с такой жестокостью, что иногда на его лице оставались следы от ударов. Он любил его не слабо и мимолетно, а с сильной и постоянной страстью, настолько, что вместо того, чтобы сердиться на жестокое обращение с ним, он лелеял его с большей нежностью. Он провозгласил бы его цезарем, если бы его мать и бабушка не воспротивились этому нескромному безумию".

Однако у Иерокла появился соперник, который на мгновение нивелировал то доверие, которым он пользовался у императора. Это был Аврелий Зотикус, известный как *Повар*,

потому что отец воспитывал его на кухне, где еще ребенком он поворачивал вертел. Зотикус рано оставил ремесло отца, чтобы стать борцом: он был лучше и энергичнее всех атлетов, с которыми соревновался в цирковых играх. Поставщики Гелиогабала были восхищены выдающимися достоинствами этого крепкого чемпиона и с триумфальной помпой доставили его в Рим. После похвалы Гелиогабала, который с нетерпением ждал его, он был назначен камергером (*cubicularius*) императора. Последний ждал его с нетерпением, которое взорвалось самым непристойным образом, когда нового камергера ввели во дворец при свете факела. "Как только этот бесчестный принц увидел его, - рассказывает Ксифилин, сохраняя в точности условия рассказа Диона Кассия, - он подбежал к нему с сильным покраснением лица; и поскольку Зотик, приветствуя его, по обычаю назвал его *господином* и *императором*, он ответил, повернув голову с нежностью женщины и бросая на него соблазнительные взгляды: "Не называй меня *господином*, ведь я - *дама*!". В тот же час он взял ее с собой купаться и, найдя ее такой, какой она была ему представлена, улегся между ее руками, как его госпожа". Иерокл, завидуя своему сопернику, велел виночерпиям налить ему охлаждающий напиток, который лишил его всех сил и сделал импотентом. Гелиогабал, не подозревая о заговоре, жертвой которого стал Зотик, с тех пор смотрел на него с таким же гневом и презрением, с каким раньше относился к нему с почтением и симпатией. Вскоре он отправил его на корм зверям, а Зотикус в своем позоре был счастлив видеть себя лишенным почестей и изгнанным из дворца, из Рима и из Италии.

Гелиогабалу, который таким скандальным образом играл с институтом брака как с моральной, так и с юридической точки зрения, пришла в голову причудливая идея жениться на богах и богинях. Он начал с того, что дал жену своему финикийскому богу, как будто этот бог нуждался в жене и детях, говорит Ксифилин. Женщиной, которую он выбрал для него, была Паллада, и чтобы совершить этот божественный союз, он велел принести в свою комнату палладиум, эту почитаемую статую, которую римляне считали хранительницей Рима и которую ни разу не сдвигали с места, за исключением тех случаев, когда храм богини горел. Но на следующий день после этого странного и нелепого осквернения, которое он совершил, поместив обе статуи в одну кровать, он заявил, что такая воинственная богиня не подходит для такого мирного бога, и приказал принести в Рим статую Венеры Урании, божества карфагенян, для этого бога. Урания, которая руководила инкубацией существ в таинственной работе природы и олицетворяла луну и других ночных существ, естественно, должна была стать женой Гелиогабала, бога солнца и порождения. Поэтому император пышно отпраздновал их свадьбу, заставив всех подданных империи внести свой вклад в великолепные подарки, которые он преподнес жениху и невесте; сам же, с раскрашенным лицом и наперсниками, он танцевал в шелковой тунике вокруг двух статуй, поставленных рядом на пурпурном ложе и прикованных друг к другу льняными лентами. Это невероятное бракосочетание статуй вызвало бурное ликование в Риме и во всей Италии. Гелиогабал отождествил себя с богом, чье имя он носил; он сделал своим религиозным долгом подчиняться ему и приносить ему в жертву всех богов, даже христиан; он запятнал их храмы своими нечистотами и поместил их изображения в пантеон солнца: именно туда он пришел после своих чудовищных развратных действий, чтобы исполнить свой сан первосвященника. Тем не менее, он не отказывался принимать участие в поклонении другим божествам, особенно если ему предстояло сыграть какую-то роль в тайнах этого культа. Так, его видели мотающим всклокоченной головой среди изуродованных жрецов Кибелы; как и они, он связывал свои гениталии (*genitalia sibi devinxit*) и делал все то, что были склонны делать эти нечистые фанатики. Он также связал себя с причудливыми и непристойными обрядами Исиды, Приапа, Флоры и Котитто.

Ничто не может дать точного и полного представления об этих сказочных пирах, на которых он собирал все, что могли придумать роскошь, расточительность, жадность и каприз для удовлетворения своих страстей, чувств и извращенных инстинктов. Он жил, так сказать, только для того, чтобы открывать новые удовольствия (*exquirere novas voluptates*). Ламприд перечислил некоторые из диких чудес этих трапез, где он всегда сидел на цветах или драгоценных эссенциях, одетый в пурпур или золото, перегруженный драгоценностями, под тяжестью которых, по его словам, он поддавался наслаждению (*quum gravari se diceret onere voluptatis*), а его голову венчала тяжелая восточная диадема. Эти баснословные трапезы продолжались дни и ночи напролет, без перерыва, кроме промежутков, посвященных разврату, как отдых, предоставленный желудку, который не уставал больше, чем пыл чувств. Гости были уже не людьми, а дикими зверями: они старались подражать своему императору, не надеясь сравняться с ним. Император, разгоряченный вином и благовониями, сбрасывал с себя все одежды, увенчивал себя золотыми лучами, вешал на плечи колчан и, обнаженный, с распущенными волосами и натертым ароматическим маслом телом, садился на колесницу, сверкающую драгоценными камнями и металлами, запряженную тремя или четырьмя абсолютно голыми женщинами, которые тащили ее по пиршественному залу. (*Junxit et quaternas mulieres pulcherrimas et binas ad papillam, vel ternas et amplius, et sic vectatus est: sed plerunque nudus quum illum nudæ traherent.*) Его щедрость по отношению сотрапезникам выражалась в гигантских или нелепых подарках, которые судьба часто раздавала наугад; он много смеялся, когда слепая фортуна подбрасывала в руки старого развратника раковину с такими словами, которые были приказом: "Веди себя как мужчина перед императором"; он смеялся еще больше, если по одной из тех случайностей, которые он любил провоцировать, дряхлая старуха становилась любовницей красивого молодого человека. Часто запечатанные билеты, которые его гости доставали из урны, предписывали им выполнить двенадцать трудов Геркулеса или обрекали их на низменные и унижительные услуги. Подобные лотереи, в которых он использовал свою фантазию, иногда приводили к изгнанию, конфискации и даже смерти тех, к кому судьба была не благосклонна. Счастливым был тот, у кого было десять мух, десять яиц, десять паутинок, которые он должен был предоставить или получить! Женщины, иногда проститутки, подобранные на улицах, которые участвовали в этих оргиях и терпели все превратности, обычно делились лучшим и уходили на покой, измученные усталостью, их лица были разложены, тела в синяках, одежда в лохмотьях, но с добычей. Самая несчастная, самая падшая, которую счастливая звезда привела к столу императора, могла похвастаться тем, что на мгновение стала почти императрицей, ибо Гелиогабал получал удовольствие везде, лишь бы ему не приходилось дважды иметь дело с одной и той же женщиной (*idem mulieres nunquam iteravit, præter uxorem*). Наконец, куртизанки Рима имели право приходить и заниматься проституцией в императорском борделе, который был открыт днем и ночью внутри дворца (*lupanaria domi amicis, clientibus et servis exhibuit*). Куртизанки и гитоны рекомендовали себя его отеческой заботе: однажды он велел им раздать седьмую часть запасов пшеницы, накопленных Траяном и Севером в общественных амбарах, которых хватило бы на семь лет голода.

Это чудовище с человеческим лицом опозорило империю за четыре года правления, в течение которых он накопил все экстравагантности, все жестокости, все распутства, все мерзости, способные возмутить природу. Он гордился тем, что подражал Апицию в личной жизни и Нерону, Оттону и Вителлию на троне. Однако ему было всего восемнадцать лет, когда его убили шуты в уборной, где он прятался. Солдаты, сговорившиеся освободить Рим и весь мир от такого императора, расправились и с его сообщниками и заставили их подвергнуться различным пыткам, вырывая внутренности у одних и закалывая других, чтобы, по их словам, их смерть была похожа на жизнь (*ut mors esset vitæ consentiens*).

*Расстоптанный, нечистый*, как называли его те, кто тащил его тело по городской трясине,

не имел себе равных в истории императоров, и, казалось, после него человечество отдохнет под благотворным влиянием Александра Севера, открыв глаза на свет евангельской морали. Но прежде чем христианство, со всех сторон вторгавшееся в языческое общество, положило конец чувственным страстям и установило полицию нравов в правительствах, мы еще видели, как сменявшие друг друга на троне императоры, подобно театральным гистрионам, подавали народу заразительный пример всех излишеств проституции. Почти все они предавались разврату, почти все они предавались чудовищным изыскам разврата. Галлиен, живший только ради своего живота и удовольствий (*natus abdomini et voluptatibus*), иногда подражал Гелиогабалу: он приглашал на свои пиры большое количество женщин, а затем выбирал для себя самых молодых и красивых, оставляя гостям уродливых и старых. Если бы божественный Клавдий, словно для того, чтобы римляне забыли нечистого Галлиена (*prodigiosum*), царствовал как целомудренный и скромный философ; если бы Аврелиан подавлял роскошь законами о роскоши и строго наказывал прелюбодеяние, даже среди рабов; если бы император Тацит запретил устраивать дурные заведения во внутренних районах Рима, запрет, который невозможно было соблюсти (*meritoria intra urbem, stare vetuit, quod quidem diu tenere non potuit*); если бы он закрывал общественные бани на ночь; запретил ли он шелковые одежды и излишества женоподобной роскоши; был ли Пробус действительно достоин своего имени; Карин, предшественник Диоклетиана, был, с другой стороны, по словам Флавия Вописка, "самым развратным из всех людей, самым бесстыдным прелюбодеем и развратителем молодежи, доходившим до того, что сам занимался проституцией (*homo omnium contaminatissimus, adulter, frequens corruptor juventutis, ipse quoque male usus genio sexus sui*).". Его префектом претория был старый сват по имени Матрониан; его секретарем был нечистый человек (*impurum*), с которым он постоянно проводил свой меридиан; его друзьями были самые порочные существа. Он запятнал себя самыми гнусными пороками (*enormibus se vitiis et ingenti foeditate maculavit*) и ничего не уважал (*moribus absolutus*). Но Диоклетиан вымел всю грязь, превратившую дворец императоров в бордель; и Диоклетиан, который был христианином из-за целомудрия своей морали и нравственности своих законов, хотя он жестоко преследовал христиан, Диоклетиан мудрый, строгий, философ, тем не менее имел одиозную смелость сделать проституцию одним из наказаний, которым подвергались христианские девы и матроны! Однако именно при Диоклетиане история римской проституции, похоже, заканчивается.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ И ВТОРОГО ТОМА.

## ОГЛАВЛЕНИЕ ВТОРОГО ТОМА.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

Древность - Греция - Рим.

(ПРОДОЛЖЕНИЕ И КОНЕЦ.)

### ГЛАВА XVII.

Резюме.- Места проституции в Риме.- Их различные категории.- Сорок шесть лупанаров общественного пользования.- Восемьдесят бань первой области.- *Малый женский сенат*, основанный Гелиогабалом.- Лупанары Эсквилинской области, области большого цирка и области храма Мира.- Субурре.- Сводчатые *камеры* большого цирка.- *Сто камер* порта Мисене.-Описание лупанара.-Кельи проститутток.-Вывеска.-Оборудование комнат.- Обценные картины.-Внутреннее убранство камер.-Лупанары богачей.-Происхождение

слова "блуд".-Стабулы или лупанары последнего порядка -Пергулы или балконы - Туртуриллы или голубятни -Казауриум или внемуровый лупанар -Происхождение слова казауриум -Скрупеды или каменистые лупанары.-Meritoria и Meritorii -Ganeæ или подземные таверны -Происхождение слова *lustrum* -Посох лупанара -Leno и lena -Ancillæ ornatrices -Aquarii или *aquarioli* -Bacario -Villicus.Adductores, conductores и *admissarii* -Costume of the meretrices in the lupanars -Festivals held in the lupanars on the occasion of girls entering prostitution for first time, and on the opening of a new lupanar.-Домицианский закон о кастрации - Кастраты, спадоны и тлибии - Мессалина в лупанаре - Цена девственности Тарсии и текущая цена ее услуг - Таблица римского лупанара, составленная Петронием - Заработная плата лупанара - Диссертация о знаке Тарсии - Цена аренды камеры - Квадрантари и диоболары.

## ГЛАВА XVIII.

Резюме.- Когда была установлена легальная проституция в Риме.- Регистрация проституток.- Что говорит Тацит о причине этой регистрации.- Женщины и дочери сенаторов, требующие *licencia stupri*.- Польза, которую государство и общество извлекли из регистрации куртизанок.- Ставка за каждую проститутку, зафиксированная в реестрах эдила.- Клятва куртизанок в руках эдилов.-Почему аттестация проституток проводилась в канцелярии эдила.-Юрисдикция эдила в вопросах проституции.-Полиция улицы.-Бродячая проституция.- Юлия, дочь Августа.-Полиция эдила в публичных домах.-Плебейские эдилы и великие патрицианские эдилы.-Что случилось с эдилом, который пытался силой открыть дверь в дом метиски Мамилии.Различные места, где практиковалась мошенническая проституция . - Общественные бани. - Жена консула в банях Теанума. - Роскошь и коррупция римских бань. - Смешение полов в общественных банях. - Баня Сципиона. - Бальнеатории и алипты. - Разврат при дворе Домициана в общественных банях. - Бесплатные бани для низших классов. - Бани богачей и аристократов. - Терпимость к банной проституции.-Слуги и служанки бань.-Феллатрисы и феллаторессы.-Феллатор Блаттара и феллатриса Таис.- Зоил.-Пантомима Аттеланов.-Кабаре.-Известия, связанные с их посещением.-Описание римской попины.-Стабулум.-Каупоне и диверория.-Посещения домов мэра ночью.-Подвалы пекарен.-Полицейский эдильтер для борделей.Преступления, штрафы и аффективные наказания.- Чему подвергла себя Мессалина, занимаясь *meretricium* в публичном доме.- От установки женщины в плохом месте.- Делегаты мэра.- Время открытия и закрытия публичных домов и других плохих общественных мест.- Женщины-шлюхи в цирке.- Театральная проституция.- Театральные глашатаи.- Бродячая проституция.Внешние стены домов и памятников, поставленные городским советом под защиту Эскулапия, чтобы защитить их от грязи прохожих.- Публичная безнравственность проституток на перекрестках и в переулках Рима.- Катулл нашел свою Лесбию среди этих женщин.- Суд эдила.- Различие, установленное Ульпианом между вызовом и преследованием.- Полномочия, данные законом отцам и опекунам над их сыновьями и подопечными, которые предавались разврату.- Адвенторы - Венаторы - Молодость Алкиноя - Салапумы - Поэт Гораций *putissimum penem* - Семитарии - Adulter, scortator et mœchus - Mœchocinædus et mœchisso - Heliogabalus в борделях.-Сумптурные постановления, касающиеся меркантильных женщин - Костюмы куртизанок - Их обувь - Их прически - Проституткам запрещалось наносить на волосы золотую пудру.-Голубые и желтые волосы - Национальный костюм проституток Тира и Вавилона - Амикулум или бойфренд - Гальбанати, гальбани и гальбана - Митра, тиара и нимб - Происхождение этих трех головных уборов.-Кармента, изобретатель римских карет - Бастерна и литраж - Целла и осьминог - Странствующие лупанары - Закон Оппия.

## ГЛАВА XIX.

Резюме.-Элегантная проституция.-*Хорошие* метрические женщины.-Их любовники.-Разница между великими куртизанками Рима и греческими куртизанками.-Цицерон в Цитерисе.-*Прециозы и фамозы*.-Их любовники.-Священный путь.-Прогулки куртизанок.-Что Ювенал говорит о римских женщинах -Огульня -Портрет Ювенала Сергия, любимца Гиппия - Непристойный *гладиатор* Петрония -Приспешники Венеры *Обратной* -Что Рим называл *дозволенными удовольствиями*.Немой язык *meretricium* -Средний палец - *signum infame* - Почему медиум был обречен на позор у греков -*Охота глазами и воровство ушами* - *Gesticulariæ* -Любовная пантомима -Обычный запас разговорного языка Рима.-Латинский эротический язык -*Брат и сестра* -*Сестра слева и младший брат* -Эротические и сотадиические сочинения или *molles libri* -Тайная библиотека куртизанок и развратников - Развратные книги Греции и Рима, уничтоженные отцами Церкви.

## ГЛАВА XX.

Резюме.- Тайные и постыдные болезни древних.- Импура *Венера*.- Древние авторы избегали говорить об этих болезнях.- Вторжение *азиатской похоти* в Рим.- На какие причины следует отнести к распространению противоестественных пороков среди древних.-Женские половые болезни -Древние врачи отказывались лечить венерические болезни -Почему - Колдуны и шарлатаны -Большая проказа -Малая проказа или *болезнь Венеры*.-Завоз этой болезни в Рим Кнеем Манлием (Cneius Manlius) -*Непристойный морбус (morbus indecens)* - Большинство врачей были рабами и вольноотпущенниками -Почему в древности венерические болезни были окутаны тайной.Существование этих болезней отмечено в *Медицинском трактате* Цельса.- Их описание.- Их лечение.- Рукопись XIII века, описывающая поражения сифилисом.- Появление *эlefантиаза* в Риме.- Асклеиады из Вифинии.- Т. Aufidius.-Musa, врач Августа.-Meges of Sidon.-Ужасающее описание *эlefантиаза*, согласно Aretaeus of Cappadocia.-Аналогия с сифилисом в пятнадцатом веке.- *Campanus morbus* или Кампанская болезнь.-Spinturnicium.-*Fics, marisci* и *chies*.-*Familia ficsa*.-*Rubigo*.-*Самуриаз*.-*Юнона-Флуония*.-Диссертация о происхождении слов *ancunnuentæ, bubonium, imbubinat* и *imbulbitat*.-*Clazomenes*.-Национальные болезни, привезенные в Рим иностранцами.-Греческие врачи.-Эмпирики, антидотарии и фармакополы.-Пневматические врачи.-*Архиастры*.-*Archiatři pallatini* и *archiatři populares*.- Институт архиатров упорядочен и завершен Антонином Благочестивым.-Евтихий, врач *утренних игр*.-Акушерки и *medicæ*.-Эпиграмма Марциала против Лесби.-*Солиум* или биде, и его использование в Риме.-Смерть Феста, друга Домициана.- Лекарства, продаваемые шарлатанами для лечения венерических болезней.- Религиозные суеверия.- Приношения богам и богиням.- Жрецы как врачи.- *Кварцилла* Петрония.- Отвратительная апофтегма *пæдиконов*.

## ГЛАВА XXI.

Краткое изложение.- *Медицинские юристы*.- Происхождение повивальных бабок.- Афинская Агонодицея.- *Сагэ*.- Выставка новорожденных в Риме.- *Суппозитории* или обменники детей.- Происхождение слова *повитуха*.- Аборты.- Юлия, дочь Августа.- Благовония, духи, филтры и проклятия.-Омерзительные практики, с помощью которых *сагэ* пачкали себя для приготовления любовных зелий.-Парфюмер Гратидия.-Ужасные секреты этой волшебницы, раскрытые Горацием, чьей любовницей она была.-Гора Эсквилино, обычная сцена магических призывов и жертвоприношений.-Гратидия и ее сообщник, старый саган, в Эсквилиях.-*Снадобья-афродизиаки* -*Зелье желания* -Состав любовных зелий - *Гиппомен* -Римская парфюмерная смесь -*Никеротиан* и *фолиатум*.-Различные духи - Косметика -Ванна из ослиного молока Поппеи -Куртизанка Акко -Предметы и утварь для

проституции, продаваемые *сагами* и парфюмерами -*Фашинум* -*Фибулы* -Как проводилась инфибуляция -Кастрация женщин -Жрецы Кибелы.

## ГЛАВА XXII.

[illegible]

## ГЛАВА XXIII.

Резюме.- Римский народ, самый суеверный из всех народов.- Либертины и куртизанки, самые суеверные из римлян.- *Кледонистика* любви и распутства.- Неудачные предзнаменования.- Почему непристойные слова были запрещены даже на собраниях развратников и проституток.- *Писсуар* или *горшок*.- Приметы, которые римляне извлекали из звука, который издавала моча при падении в писсуар.-*Matula, matella* и *scaphium* - Общественное двойное значение слова *chamber pot* -Этимология *matula* -Мочеприемники в комессации -Геркулес *Urinator* -Мочеприемники в рукции -*Crepitus*, бог нечестных ветров.Маленький бог Пет -Представления, взятые из звука пуканья -Происхождение термина "весс", которым в народном языке называли девушек -Представления, взятые из чихания -Юпитер и Кибела, боги вечности.-Счастливые предсказания, приписываемые чиханию в любовных делах.-Звон в ушах и внезапные подергивания.-Правая и левая стороны тела.-Предсказания, возникающие при осмотре постыдных частей тела.-Предзнаменования, получаемые от внешних шумов -Скрип кровати -*Lectus adversus* и *lectus genialis* -Кубический джинн -Мерцание лампы -Искусство куртизанок в объяснении предзнаменований - Различные предзнаменования -Удар Венеры.-Император Прокул и сто сарматских девственников -Встреча с собакой -Встреча с кошкой -Особенные суеверия жителей Венеры.- Посты и воздержание, налагаемые развратниками и куртизанками в честь религиозных торжеств. -Клятва Венере. -Суеверные средства, используемые римлянами для определения девственности девушек. -Орех, аллегория брака.

## ГЛАВА XXIV.

Резюме - Почему у куртизанок Рима не было историков или панегиристов, как в Греции - Поэты, которые были спутниками и любовниками куртизанок - Любовь куртизанок - Именно в поэтах мы должны искать элементы истории римских куртизанок - Музы эротических поэтов - Их несчастная старость - Музы эротических поэтов.-Эпикурейская философия Горация -Его

совет Церинфу о любви к матронам -Его сравнение этой любви с любовью куртизанок -Нира, первая любовница Горация.Ориго, Ликорис и Арбускула.- Дебоши патриция Катия.- Его прелюбодеяния.- Любовная связь Горация со старой матроной.- *Служанка* Цинара.- Парфюмер Гратидия.- Ее зелья-афродизиаки.- Публичный разрыв Горация с Гратидией.- Куртизанка Агна и ее любовник Бальбин.- Любовь Горация к мальчикам.Куртизанка Лисия.- Пирра.- Лалаге.- Барина.- Тиндарис и ее мать.- Лидия.- Миртале.- Хлоя.- Филлида, рабыня Ксанфия.- Каким необычным обстоятельством обязан Гораций открытием красоты этой рабыни.- Глицера, бывшая любовница Тибулла, дарит свои милости Горацию. Прощание Горация с любовью.- Певица Лида, последняя любовница Горация.- Великая страсть Горация к Лигурину.

## ГЛАВА XXV.

Резюме.- Катулл.- Непристойность и непристойность его поэзии.- Его любовницы и друзья.- Клодия или Лесби, дочь сенатора Метелла Целера, любовница Катулла.- Воробей Лезби.- Что это был за воробей.-Быстрая страсть Катулла к Лесбии -Разрыв двух любовников - Увольнение Катулла -Наложный брак Лесбии -Катулл снова видит Лесбию в присутствии ее мужа -Уловки Лесбии, чтобы не вызвать ревность мужа.-Куртизанка Квинтия в театре -Версии Катулла против Квинтии -Греческая куртизанка Ипситилла -Рыцарская записка Катулла этой куртизанке -Эпиграмма Катулла завсегдатаям публичного дома, где укрылась одна из его любовниц.-Гнев Катулла на Ауфилену -*Гнилая шлюха* -Преждевременная старость Катулла - Лесбия у смертного одра своего любовника -Проперций -Цинтия или Хостилия -Ее любовь к Проперцию.-Статилий Тавр, содержатель Синтии. -Критика Проперция по поводу любовной связи его госпожи со Статилием Тавром. -Уши Лигдамуса. -Совет Проперция своей госпоже.- Элегии Катулла о привлекательности его любовницы.-Аксиома Проперция.-Амурная ночь с Синтией.-Любовники Синтии.-Его ночи с Исидой и Юноной.-Проперций стонет от поведения Синтии.-Баня в Баисе.-Проперций предается разврату, чтобы забыть свою любовницу - Проперций примиряется с Синтией - Смена ролей - сваха Антиса - ревность Синтии - Лицинья - уловки, используемые Синтией, чтобы обеспечить верность любовника.-Филлис и Тея - Проперций попался в ловушку - Гнев Синтии - Отравитель Номас - Поспешные похороны Синтии - Смерть Проперция - Его прах воссоединился с прахом Синтии.

## ГЛАВА XXVI.

Краткое содержание.- Тибулл.- Его сладострастная жизнь.- Вольноотпущенница Плания или Делия.- Муж этой куртизанки.- Мать Делии защищает любовную связь дочери с Тибуллом.- Платоническая нежность Тибулла.- Рекомендации поэта матери своей возлюбленной.- Любовь Тибулла к Немезиде - Цена услуг этой проститутки - Церинф мешает Тибуллу погубить себя ради Немезиды.-Тибулл влюблен в Нееру - Неера отказывается выйти замуж за Тибулла - Неера берет любовника - Тибулл в отчаянии - Признание в любви Сульпиции, дочери Сервия - Сульпиция дарит свои услуги Тибуллу - Неверность Тибулла - Гликера.-Серьезная любовь Тибулла к этой греческой куртизанке.- Презрение Глицеры.- Смерть Тибулла.- Делия и Немезида на его похоронах.- Корнелий Галл.- Ликорис.- Галл на парфянской войне.- Его поэма к Ликорис.- Возвращение Галла.-Неверность Ликориса - Гентия и Хлоя - Лидия - Ликорис Максимиана, посла Теодориха - Овидий - Коринна - Предположения о настоящем имени этой куртизанки - Муж Коринны - Любовные маневры, которые Овидий советует Коринне.Коринна у Овидия - Ревность и жестокость Овидия - Его отчаяние от того, что он поразил Коринну - Сват Дипсас - Евнух Багоас - Напа и Кипассис, парикмахеры Коринны - Любовная связь между Овидием и Кипассисом - Аборт Коринны.-Овидий возмущен известием об этом одиозном нападении - Коринна спешит вернуть сердце Овидия - холодность Овидия - гордость и злоба Коринны - Овидия выгоняют - Коринна и римский

капитан - стоны Овидия - Коринна стала бесстыдной куртизанкой.-Последнее письмо Овидия к Коринне - Овидий сочиняет поэму *"Искусство любить"* под взглядами и по наущению куртизанок - Его предполагаемая тайная связь с дочерью Августа - Овидий изгнан на берега Эвксинского моря - Смерть Овидия.

## ГЛАВА XXVII.

Краткое содержание.- Марк Валерий Марциал, поэт, потворствовавший распутству Нерона и его преемников.- Огромная популярность *"Эпиграмм"* Марциала.- Ответ Марциала своему критику Корнелию, упрекавшему его в непристойности поэзии.- Кто обычно становился жертвой сарказма Марциала.-Портреты куртизанок.-Лесбия.-Бесстыдное распутство этой проститутки.-Хлоя и ее любовник Луперк.-*Плакальщица семи мужей*.-Таис.-Филенис и ее наложница Диодора.-Ужасная развращенность Филенис -Эпитафия, которую Марциал написал этой позорной проститутке - Галла - Несправедливость Марциала по отношению к этой куртизанке - Эпиграммы, которые он написал против нее - Откуда взялась его ненависть к ней - Старые любовники - Страшный цинизм Филлис.Противоречивые эпиграммы Марциала против этой куртизанки.- Лидия.- Неприязнь и отвращение Марциала к старым проституткам.- Фабула, Лида, Ветустилла и т.д.- Ложные греческие куртизанки.- Целия.- Эпиграмма Марциала против этой так называемой дочери Греции.- Ликорис.- Глицера.- Хиона и Флогис. Как грубо Марциал принял милостивое приглашение к любви, посланное ему Поллой.- Честное исповедание веры, которое он адресовал своей жене Клодии Марцелле.- Его возвращение в Испанию.- Искупительная эпиграмма Марциала.- Его сельский конец.- Петроний.- Его *"Сатирикон"*, картина нечистых нравов императорского Рима.- Эпиграммы Петрония.- Самоубийство Петрония.

## ГЛАВА XXVIII.

Краткое содержание.- Римские императоры.- Пагубное влияние их развращенных нравов.- Строгость законов, касающихся общественной морали, до прихода императоров.- Рыцарь Эбутий и его любовница, куртизанка Гиспала Фекения.- Юлий Цезарь.- Депортации этого императора.-Его любовницы Евномия и Клеопатра -Позор его прелюбодеяний -Цезарь и Никомед, царь Вифинии -Песня римских солдат против Цезаря -Октавиан, император - Его дерзость -Одинокый эпизод тиранических любовных походов Августа.Отвращение Августа к прелюбодеянию - Его кровосмешение с дочерью Юлией - Его неумеренное пристрастие к девственницам - Его страсть к азартным играм - Его жены Клавдия, Скрибония и Ливия Друзилла - *Праздник двенадцати божеств* - Аполлон *палач* - Тиберий, император.- Склонность к пьянству -Странные противоречия между общественной и личной жизнью этого императора -Тиберий *Каприней* -Картина Паррасия -Калигула, император -Его печально известные любовные связи с Марком Лепидом и комедиантом Мнестером.Его страсть к куртизанке Пираллис.-Как этот император обращался с женщинами знатного рода.- *Le vectigal de la Prostitution*.-Открытие борделя в императорском дворце.-*Префект сладострастия*.-Клод, император.-Позорные развратные походы его жен Ургуланиллы и Мессалины.- Нерон, император.- Его юность.- Публичные ужины на Марсовом поле и в большом цирке.- Трактиры на берегу Байского залива.- Петроний, *арбитр удовольствий*.- Отвратительные дерзости Нерона.- Его брак со Спором.-Кровосмесительная страсть к матери Агриппине.- *Метаморфозы богов*.- Гальба, император.- Позор его привычек.- Отто, император.- Его развращенные нравы.- Вителлий, император.- Его излишества.- Его любовь к вольноотпущеннику Азиатик.- Его ненасытное чревоугодие.-Веспасиан, император.- Его нравы.- Тит, император.- Его нескромная юность.- Его образцовое правление.- Домиция и

гистрион Парис.- Домициан, император.- Его депортации.- Нерва, Траян и Адриан, императоры.- Антонин Благочестивый и Марк Аврелий.

## ГЛАВА XXIX.

Краткое содержание.- Коммод, император.- Его пороки и жестокости.- Его нечистые прихоти.- Его возлюбленный Антер.- Как Коммод проводил свои дни и ночи.- Смерть Антера.- Боль Коммода.- Его триста наложниц и триста кинестед.- Его чудовищные оргии.- Его инцест.-Как Марсия, наложница Коммода, узнала о плане императора убить ее и многих офицеров императорского дома.*Филокоммод*.-Смерть Коммода.-Гелиогабал, император.- Уникальная слава и позор, оставленные им в истории.-Гелиогабал, верховный жрец Солнца.- Его мать Семиамира.-Македонская роскошь от одежды Гелиогабала.-*Semiamire clarissima*.- Малый сенат, основанный императором, чтобы угодить своей матери.-Гнусные вкусы Гелиогабала -Каких людей он предпочитал в качестве спутников в своих распутствах -Как он праздновал Флоралы -*Монобелы* -Удовольствие, которое он находил в том, чтобы участвовать инкогнито в актах народной проституции.Его симпатия и нежность к проституткам - Вызов, который он сделал всем зарегистрированным куртизанкам и профессиональным свахам - Как он вел себя перед позорной толпой, которой руководил, и какой подарок он сделал каждой из присутствующих - *Император-куртизанка* - Эротическое удовольствие от его пиров.-Как Гелиогабал праздновал сбор винограда - Легитимные жены этого императора-гермафродита -Вдова Помпония Басса - Корнелия Паула -Жрица Весты -Муж Гелиогабала -Водитель колесницы Иерокл -Аврелий Зотикус, известный как *повар* -Как Иерокл избавился от этого соперника.-Браки богов и богинь.-Феерические пиры Гелиогабала.-Мелкие лотереи, которые он разыгрывал на этих пирах.-Права, которые имели куртизанки в императорском дворце.-Убийство Гелиогабала солдатами.-Александр Север, император.-Благотворное влияние его правления.-Галлиан, император.-Его разврат.- *Божественный* Клавдий, император.- Аврелиан, император.- Тацит, император.- Плохие места запрещены во внутренних районах Рима.- Пробус, император.- Карин, император.- Его позорная жизнь.- Диоклетиан, император.- Именно при его правлении история римской проституции, кажется, заканчивается.

## КОНЕЦ ТАБЛИЦЫ.

Подробное примечание к транскрипции:

Помимо исправления ошибок, явно допущенных печатником, были исправлены следующие ошибки:

- с. 14: "appellait" исправлено на "appelait" ("qu'on appelle stabula"),
- с. 16: перед словами "On appliquait avec raison" закрыты перевернутые запятые,
- стр. 20: инвертированные запятые после слова "aïeule",
- стр. 26: "Pierruges" исправлено на "Pierrugues" ("le docte Pierrugues"),
- стр. 30 и 471: "mœchocinœdus" исправлено на "mœchocinædus",
- стр. 75: "proéminent" исправлено на "proéminent" ("et plus proéminent"),
- с. 86: "commessations" исправлено на "comessations" ("кроме ужинов и comessations,"),
- стр. 98: перевернутые запятые закрыты после "auscipium auribus?",
- стр. 100: закрытие перевернутых запятых после "quam malum dicere)",
- стр. 104: "éclairé" исправлено на "éclairée" ("просвещенная защита"),
- стр. 104: перевернутые запятые после "pagina, vita proba)",

- стр. 126: "ingrédiens" исправлено на "ingrédients" ("обычные ингредиенты"),
- с. 155: "tout" исправлено на "tous" ("во всех случаях"),
- с. 186: заменить "?" на "." ("des joueurs d'osselets."),
- с. 186 и 366: "cinœdes" исправлено на "cinædes" ("портреты cinædes"),
- стр. 195: "uticæ" исправлено на "urticæ",
- стр. 230: закрытие перевернутых запятых после "matulam datis)",
- стр. 234: "pelusiciaca" исправлено на "pelusiaca",
- стр. 237: закрыты перевернутые запятые после "sternuit approbationem)",
- стр. 308: после "ducere veste libet)" поставлены запятые,
- стр. 351: после "numeros sustinuisse novem)" закрыты инвертированные запятые,
- стр. 358: "Alcylle" исправлено на "Ascylte" ("Ascylte et Giton."),
- стр. 362: закрытие перевернутых запятых после "vita proba est)",
- стр. 363: "Parace" исправлено на "Parce" ("Parce tuis igitur"),
- р. 394: "Alcylte" исправлено на "Ascylte" ("Ascylte et Giton,"),
- р. 396: "testamenat" исправлено на "testament" ("надул не одно завещание"),
- стр. 406: "sumpluosum" исправлено на "sumptuosum",
- стр. 409: после слов "par plus d'un opprobre," поставлены запятые,
- р. 409: "sexterces" исправлено на "sesterces", как в бельгийском издании того же года,
- с. 426: "deliagtorum" исправлено на "deligatorium".

Некоторые латинские выражения, содержащие возможные опечатки или имеющие необычное написание, не были исправлены:

- с. 237: "sallisationes" - "salisationes",
- с. 301: "futationes" - "fututiones",
- с. 345: "dominiæque" - "dominæque",
- р. 367: "sejurat" от "se jurat",
- р. 381: "iatu" от "hiatu",
- р. 383: "solecismum" - "solœcismum",
- стр. 464: "plerunque" - "plerumque".

На страницах 195 и 396 цитаты из Петрония написаны по-разному. Первая начинается со слов "Profert Enothea" и не содержит слова "pipere", а вторая начинается со слов "Profert Ænothea".

В греческих словах допущено несколько опечаток:

- с. 65: "μοιχένω" исправлено на "μοιχεύω",
- с. 124: "φαγέδαι να" исправлено на "φαγέδαινα",
- с. 141: "βουβώνι ον" исправлено на "βουβώνιον",
- с. 147: "ἱατρονικης" исправлено на "ἱ ατρονικης",
- с. 207: "κομίση" исправлено на "κομιδη",
- с. 433: "κλυηοπαλεν" исправлено на "κλινοπαλην".